

UNIwersytet WarMińsko-Mazurski w Olsztynie
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

Acta Neophilologica

XVI
2



WYDAWNICTWO
UNIwersytetu WarMińsko-Mazurskiego
OLSZTYN 2014

Kolegium Redakcyjne

Franciszek Apanowicz (Gdańsk), Anna Bednarczyk (Łódź), Józef Darski (Poznań),
Aleksander Kiklewicz (Olsztyn), Joanna Kokot (Olsztyn), Ewa Kujawska-Lis
(Olsztyn), Mikhail Melikhov (Syktywkar), Jolanta Miturska-Bojanowska (Szczecin),
Joanna Nawacka (Olsztyn), Grzegorz Ojcewicz (Szczytno), Joanna Orzechowska (Olsztyn),
Heinrich Pfandl (Graz), Yuriy Kovbasenko (Kijów), Stanisław Puppel (Poznań),
Larisa Soboleva (Jekaterynburg), Klaus Steinke (Erlangen), Ewa Żebrowska (Olsztyn),
Alexander Zholkovsky (Los Angeles), Bogusław Żyłko (Gdańsk)

Recenzenci

Laura Bailey, Wiera Bielousowa, Maria Biolik, Mirosława Buchholtz, Tatiana Bunczuk,
Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, Leonid Bykow, Tomasz Ciszewski, Tadeusz Danilewicz,
Ludmiła Gurlienowa, Krzysztof Hejwowski, Paweł Jędrzejko, Alla Kamalova,
Aleksandra Kędzińska, Aniela Korzeniowska, Ewa Kujawska-Lis, Mikhail Melikhov,
Leontij Mironiuk, Iwona Anna NDiaye, Małgorzata Nitka, Tatiana Nowikowa,
Grzegorz Ojcewicz, Joanna Orzechowska, Walenty Piłat, Helena Pocięcina,
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Walerij Riabinowicz, Irena Rudziewicz,
Andrzej Sitarski, Irina Wiepiewa

Redaktor naczelna

Joanna Orzechowska
e-mail: joanaorzech@gmail.com

Sekretarz redakcji

Joanna Nawacka
e-mail: joanna.nawacka@gmail.com

Redaktorzy językowi

Ewa Lis-Kujawska, Helena Pocięcina

Redaktorzy tematyczni

Językoznawstwo i glottodydaktyka
Alla Kamalova
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo
Iwona Anna NDiaye

Adres redakcji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. fax 89 527 58 47, 89 524 63 69
uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta_Neophilologica

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe

Projekt okładki

Barbara Lis-Romańczukowa

Redaktorzy tomu

Joanna Orzechowska i Joanna Nawacka

ISSN 1509-1619

© Copyright by Wydawnictwo UWM • Olsztyn 2014

Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Nakład 110 egz. Ark. wyd. 17,5; ark. druk. 15
Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 163

Spis treści

Językoznawstwo i glottodydaktyka

Jolanta Chomko, <i>Языковая экспликация концепта рельеф земли в русском языке</i>	5
Alina Filinowicz, <i>Nazwy terenowe powiatu sokólskiego z sufiksem -icha</i>	15
Katarzyna Grabowska, <i>Polonizmy leksykalne w wybranych latopisach białorusko-litewskich</i>	25
Tamara Graczykowska, <i>Uwagi o języku propagandy politycznej w prasie polskojęzycznej wydawanej w ZSRR w okresie międzywojennym (na przykładzie „Trybuny Radzieckiej”)</i>	37
Надежда Самыличева, <i>Словообразовательные неологизмы, созданные на базе ключевых слов эпохи</i>	47
Сергей Феликсов, <i>Грамматическая характеристика лексикографируемых единиц в «Церковном словаре» протоиерея Петра Алексеева</i>	53
Joanna Joachimiak-Prażanowska, <i>Regionalne cechy fonetyczne w międzywojennej kulturalnej polszczyźnie wileńskiej (wokalizm)</i>	61
Magdalena Makowska, <i>Jak pokazać lek? Opakowania leków jako płaszczyzny wizualne</i>	75
Jarosław Wiliński, <i>Metaphors in Written Soccer Commentaries: Evidence from German</i>	87

Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Czesław Andruszko, <i>Сновидения Даниила Хармса. Культурологический аспект</i>	99
Ольга Бараш, <i>Смыслообразующая роль интертекста и автореференции в стихотворении И. Бродского «Полонез: Вариация»</i>	105
Nel Bielniak, <i>Życie na pograniczu w zwierciadle opowiadań Aleksandra Kuprina</i>	113
Iwona Anna NDiaye, <i>„Szlisselburska Odyseja” ... Działalność antypaństwowa i twórczość literacka legendarnej rewolucjonistki Wiery Figner</i>	125
Grzegorz Ojcewicz, <i>„Jedyne, co mnie smuci – to myśli o twojej zgryzocie”. Obozowe listy matki Marii (Jelizawiey Skobcowej) do swojej matki</i>	137

Ewa Pańkowska, <i>Между постмодернизмом и «новым реализмом»: лейтмотивы в избранных произведениях Виктора Пелевина и Захара Прилепина</i>	153
Сергей Преображенский, <i>Польский верлибр в русском представлении</i>	165
Patryk Witczak, <i>Andrzej Niemojewski i Michaił Arcybaszew wobec rewolucji 1905 r.</i>	175
Чеслав Горбачевский, <i>Легенды о полковнике Гаранине в текстах воспоминаний колымских заключённых</i>	185
Екатерина Лескова, <i>«Кары» Ф. Кафки и «Преднамеренное убийство» В. Гомбровича: типы наказания и традиция Достоевского</i>	195
Наталия Кожуховская, <i>Судьбы утопии в цикле Н.В. Гоголя «Миргород»</i>	203
Anna Sakowicz, <i>Часава-прасторавы кантынуум у аповесці Аляксея Карпюка «Белая Дама»</i>	211
Konrad Stefan Rachut, <i>Tłumaczenie jako akt komunikacji międzykulturowej. Na przykładzie tłumaczeń tytułów filmów anglojęzycznych na język polski i język rosyjski</i>	221
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, <i>Русский национальный характер в оценке Чеслава Милоша</i>	229

JEZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA

Jolanta Chomko

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytet w Białymstoku

ЯЗЫКОВАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ КОНЦЕПТА *РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Key words: cognitive linguistics, a linguistic image of the world, concept

В современной лингвистике язык представлен не только как система, внутри которой есть жесткая структура и множество ярусов, единиц и т.д., но как весьма важная для человека форма существования знания, в которой отражена действительность.

Проблемами мышления и познания, хранения и переработки информации занимается когнитивная лингвистика, исследующая соотношение языка и культуры, проявляющееся в способах языкового выражения этнического менталитета. Предметом исследования когнитивной лингвистики является концепт. По мнению Е.С. Кубряковой [*Краткий словарь когнитивных терминов* 1997, 90], концепт как лингвокогнитивное явление – это единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (*lingua mentalis*), всей картины мира, отражаемой в человеческой психике. Концепт как мысленное отражение выделенных сознанием признаков определенной сферы, выступающей «денотатом концепта», является результатом концептуализации [Попова, Стернин 2006, 85]. Концептуализация рассматривается как процесс образования и формирования концептов в сознании, осмысление новой информации, ведущей к образованию концепта. Концепт рождается как чувственный образ, но с увеличением количества закрепленных концептом признаков, с возрастанием уровня абстрактности концепт постепенно «эволюционирует» от чувственного образа к собственно мыслительному [Попова, Стернин 2006, 87–88]. Что касается языка, то он служит не для осуществления мышления, а для выражения, сообщения и обсуждения результатов мыслительного процесса человека. Наличие языковой единицы всегда

свидетельствует о наличии у народа некоего концепта, но для существования концепта как ментальной единицы системная языковая объективация не обязательна [Попова, Стернин 2006, 87–88]. Однако при этом язык выступает одним из способов формирования концептов в сознании человека. Написанное или произнесенное слово является средством доступа к концептуальному знанию. З.Д. Попова и И.А. Стернин считают, что слово – это ключ, «открывающий» для человека концепт как единицу мыслительной деятельности и делающий возможным воспользоваться им в мыслительной деятельности: «Языковой знак можно уподобить включателю – он включает концепт в нашем сознании, активизируя его в целом и «запуская» его в процесс мышления» [Попова, Стернин 2002, 16].

Концепт состоит из знаний, представлений, понятий, ассоциаций, образов и других ментальных категорий, по-разному связанных с семантическими категориями (лексическое значение, значимость, смысл) и языковыми единицами, участвующими в объективации концепта. Каждый концепт индивидуален. Между концептами как единицами мыслительной деятельности существуют связи по концептуальным признакам, которые просматриваются через языковые значения, через единицы, объективирующие концепты в языке. Концептосферы разных народов существенно различаются по составу концептов и по принципам их структурирования. Национальная специфика концептосферы находит свое отражение и в национальной специфике семантических пространств языков. Концепт репрезентируется в языке готовыми лексемами и фразеосочетаниями, свободными словосочетаниями, структурными и позиционными схемами предложений, текстами и совокупностями текстов.

Предметом исследования в настоящей работе является одна из форм языковой экспликации концепта – лексические средства, объективирующие концепт *рельеф земли*. Словом-репрезентантом, вербализующим концепт *рельеф земли* в русском языке, является лексема *рельеф*¹, которая в соответствии со словарной дефиницией понимается как ‘совокупность различных неровностей на земной поверхности – поднятий и понижений суши, дна океанов и морей’. Анализ словарной дефиниции позволяет выделить ядерные признаки данного концепта. В семантической структуре слова-репрезентанта активизируются следующие семы: «понижение земной поверхности», «поднятие земной поверхности», «суша», «дно водоемов».

Национальная специфика рассматриваемого концепта проявляется в том, что знания о формах рельефа, характеризующихся определенными свойствами, репрезентируются в русском языке с помощью большого количества существительных. Согласно данным словарей субстантивная парадигма концепта *рельеф земли* включает 80 лексем, номинирующих разновидности денотата концепта.

Существительными выражающими понятие «место, характеризующееся поднятием или понижением уровня поверхности» в наиболее общем виде являются существительные: *возвышенность* ‘участок земной поверхности, возвышающийся

¹ Весь анализируемый материал был извлечен из Большого толкового словаря русского языка [Кузнецов 2000].

над окружающим рельефом', *возвышение* 'то же, что возвышенность', *высота* 'возвышенное место, холм; возвышенность', *впадина* 'понижение земной поверхности в пределах суши, на дне океанов и морей', *углубление* 'выемка, впадина', *выемка* 'углубление, впадина'.

Поднятия и понижения суши находятся как на поверхности земли, так и на дне водоемов, что находит отражение в семантических компонентах наименований возвышенностей и углублений в земле, характеризующихся признаком 'место нахождения'. Этот признак уточняется семами: «дно водоемов»: *колдобина прост.* 'рытвина, ухаб, а также яма на дне водоема' и *колдобинка уменьш.* к *колдобина*; «дно реки»: *порог* 'каменистое поперечное возвышение дна реки, нарушающее плавность её течения'; «морское дно»: *риф* 'надводные или подводные скалистые возвышения морского дна, опасные для судоходства'.

Признак 'место нахождения' овнещается также существительными, в семантике которых присутствует компонент, указывающий на размещение формы рельефа в разных местах суши. В данную группу номинаций входят лексемы, называющие углубления, находящиеся между возвышенностями: *дефиле спец.* 'теснина, ущелье, узкий проход между возвышенностями или водными преградами', *долина* 'удлиненная впадина между гор или в холмистой местности', *долинка уменьш. разг.* к *долина*, *долинушка ласк. нар.-поэт.* к *долина*, *падь* 'в восточной Сибири и на Дальнем Востоке: узкая глубокая долина, ущелье в горах', *распадок* 'в Восточной Сибири: мелкая ложбина или небольшая боковая долина, выходящая в главную; длинный овраг', *теснина* 'узкий проход, обычно между возвышенностями, ущелье', *трог геол.* 'горная долина крутообразной формы, образованная деятельностью ледника', *ущелье* 'узкая крутосклонная долина (обычно в пределах горной страны), промытая рекой в твердых коренных породах'; находящиеся на дороге: *выбоина* 'яма на дороге, выбитая колесами, полозьями', *колея* 'канавка, углубление, глубокий длинный след, оставленный колесами или полозьями на грунтовой или заснеженной дороге', *ухаб* 'большое углубление, образовавшееся на дороге от частой езды'; находящиеся на вершине вулкана: *кратер* 'углубление на вершине вулкана, у которого при извержении выливается лава'.

Наименования возвышенностей, в свою очередь, содержат компоненты, которые указывают на размещение этих форм рельефа в равнинно-холмистой местности: *курган* 'холм, горка (обычно в равнинно-холмистой местности)'; в низменном болотистом месте: *кочка* 'бугорок на низменном или болотистом месте, поросший травой или мхом'; в пустыне: *барханы* 'песчаные наносные холмы в пустынях и степях, не закреплённые растительностью', в степи: *барханы* 'песчаные наносные холмы в пустынях и степях, не закреплённые растительностью'; на берегу: *дюны* 'прибрежные песчаные холмы, нанесённые и передвигаемые ветром'.

На конкретное место нахождения форм рельефа (Камчатка, Курильские острова, Дальний Восток и Сибирь) указывают наименования: *сонка* 'на Камчатке и Курильских островах: вулкан', *сонка* 'на Дальнем Востоке и в Сибири: небольшая гора с округлой вершиной, курган, холм', *падь* 'в восточной Сибири и на Дальнем

Востоке: узкая глубокая долина, ущелье в горах', *распадок* 'в Восточной Сибири: мелкая ложбина или небольшая боковая долина, выходящая в главную; длинный овраг'.

Очень актуальным признаком концепта *рельеф земли* является классификатор 'форма'. Анализ существительных, номинирующих формы рельефа показал, что большое их количество содержат компонент, описывающий форму возвышенностей и углублений. Данную группу составляют субстантивы, называющие длинные углубления: *балка* 'длинный и широкий овраг (обычно заросший травой, кустарником); ложбина, лощина', *долина* 'удлиненная впадина между гор или в холмистой местности', *долинка* *уменьш. разг.* к *долина*, *долинушка* *ласк. нар.-поэт.* к *долина*, *изложина* 'ложбина, лог', *лог* 'широкий, значительной длины овраг с отлогими склонами', *лощина* 'овраг с пологими склонами', *овраг* 'глубокая длинная впадина на поверхности земли, образовавшаяся от действия дождевых и талых вод', *овражек* *уменьш.* к *овраг*, *распадок* 'в Восточной Сибири: мелкая ложбина или небольшая боковая долина, выходящая в главную; длинный овраг', *ров* 'длинное углубление, вырытое в земле', *ровик* 'маленький ров, канава', *яр* 'глубокий заросший овраг'; широкие углубления: *балка* 'длинный и широкий овраг (обычно заросший травой, кустарником); ложбина, лощина', *изложина* 'ложбина, лог', *лог* 'широкий, значительной длины овраг с отлогими склонами'; узкие углубления: *дефиле* *спец.* 'теснина, ущелье, узкий проход между возвышенностями или водными преградами', *канавка* 'неглубокий и неширокий ров, обычно служащий для спуска или отвода воды', *канавка* *уменьш.* к *канавка*, *падина* *нар.-разг.* 'узкая, глубокая долина, ложбина', *падь* 'в восточной Сибири и на Дальнем Востоке: узкая глубокая долина, ущелье в горах', *расселина* 'глубокое узкое углубление, образовавшееся вследствие разлома земной поверхности, горной породы', *расщелина* 'то же, что расселина', *теснина* 'узкий проход, обычно между возвышенностями, ущелье', *ущелье* 'узкая крутосклонная долина (обычно в пределах горной страны), промытая рекой в твердых коренных породах'; глубокие впадины: *каньон* 'глубокая речная долина с очень крутыми или отвесными склонами', *лощина* 'овраг с пологими склонами', *овраг* 'глубокая длинная впадина на поверхности земли, образовавшаяся от действия дождевых и талых вод', *овражек* *уменьш.* к *овраг*, *омут* *нар.-разг.* 'глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья', *падина* *нар.-разг.* 'узкая, глубокая долина, ложбина', *падь* 'в восточной Сибири и на Дальнем Востоке: узкая глубокая долина, ущелье в горах', *распадок* 'в Восточной Сибири: мелкая ложбина или небольшая боковая долина, выходящая в главную; длинный овраг', *расселина* 'глубокое узкое углубление, образовавшееся вследствие разлома земной поверхности, горной породы', *расщелина* 'то же, что расселина', *яр* 'глубокий заросший овраг'; неглубокие впадины: *изложина* 'ложбина, лог', *канавка* 'неглубокий и неширокий ров, обычно служащий для спуска или отвода воды', *канавка* *уменьш.* к *канавка*, *ложбина* 'неглубокий овраг с пологими склонами', *ложбинка* *уменьш.-ласк.* к *ложбина*; вытянутые в длину возвышенности: *гряда* 'вытянутая в длину возвышенность; ряд небольших гор, холмов, подводных камней и т.п.', *грива* 'продолго-

ватая возвышенность, гряда с пологими склонами, поросшая лесом', *увал* 'вытянутая в длину возвышенность с пологими склонами'; возвышенности и углубления с пологими склонами: *изложина* 'ложбина, лог', *лог* 'широкий, значительной длины овраг с отлогими склонами', *ложбина* 'неглубокий овраг с пологими склонами', *ложбинка* *уменьш.-ласк.* к *ложбина*, *лощина* 'овраг с пологими склонами', *холм* 'небольшая отлогая горка, возвышенность округлой или овальной формы с пологими склонами', *увал* 'вытянутая в длину возвышенность с пологими склонами', *изволок* 'возвышенность, пригорок с некрутым длинным подъёмом и таким же спуском', *грива* 'продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, поросшая лесом'; возвышенности и углубления с крутыми склонами: *каньон* 'глубокая речная долина с очень крутыми или отвесными склонами', *теснина* 'узкий проход, обычно между возвышенностями, ущелье', *трог геол.* 'горная долина крутообразной формы, образованная деятельностью ледника', *ущелье* 'узкая крутосклонная долина (обычно в пределах горной страны), промытая рекой в твердых коренных породах', *крутогор* 'крутая гора, крутой спуск', *утёс* 'значительная возвышенность, состоящая из твёрдой горной породы, со склонами, расположенными почти вертикально, отвесно по отношению к земной поверхности'; углубления с покатыми склонами: *котловина* 'большое углубление, впадина в земной поверхности с покатым спуском со всех сторон', *котловинка* *уменьш.* к *котловина*.

Хотя все формы рельефа земли, называемые анализируемыми существительными, принадлежат к макрорельефу и мезорельефу, то они неоднородны по размеру. Их размеры варьируют в широких пределах: от нескольких десятков сантиметров до сотен и тысяч километров. Номинативное поле исследуемого концепта включает существительные объективирующие признак 'размер'. Носители русского языка, номинируя формы рельефа, отмечают их большой размер: *котловина* 'большое углубление, впадина в земной поверхности с покатым спуском со всех сторон', *гора* 'значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью', *нагорье* 'обширный участок земной поверхности, высоко поднятый над прилегающими пространствами и характеризующийся сочетанием плоскогорий, горных массивов и долин', *плоскогорье* 'обширная возвышенность с равнинной или холмистой поверхностью', *скала* 'значительная возвышенность, состоящая из твёрдой горной породы, имеющая крутые склоны и острые выступы', *утёс* 'значительная возвышенность, состоящая из твёрдой горной породы, со склонами, расположенными почти вертикально, отвесно по отношению к земной поверхности' и незначительный размер: *распадок* 'в Восточной Сибири: мелкая ложбина или небольшая боковая долина, выходящая в главную; длинный овраг', *холм* 'небольшая отлогая горка, возвышенность округлой или овальной формы с пологими склонами', *пригорок* 'небольшой холм, горка', *взгорье* 'небольшая возвышенность, холм', *взгорок* 'небольшая горка, пригорок', *курган* 'холм, горка (обычно в равнинно-холмистой местности)', *горка* – *уменьш.* к *гора*, *кочка* 'бугорок на низменном или болотистом месте, поросший травой или мхом', *бугор* 'холм, горка', *бугорок* *уменьш.* к *бугор*.

Формы рельефа различаются по происхождению. Некоторые из них образовались в результате тектонических поднятий, возникновение некоторых обусловлено выветриванием, некоторые возникли за счет поверхностных текучих вод, сил гравитации, деятельности снега и льда, талых ледниковых вод, морских, озерных и подземных вод. Признак 'способ возникновения' непосредственно закладывается в номинации: *водомина* 'яма, рытвина, образованная потоком воды', *лощина* 'овраг с пологими склонами', *овраг* 'глубокая длинная впадина на поверхности земли, образовавшаяся от действия дождевых и талых вод', *овражек уменьш.* к *овраг*, *промоина* 'впадина в земле, промытая ливнем, образованная потоком воды', *размоина* 'углубление (в земле), размытое водой', *рытвина* 'углубление, промытое водой или выбитое колесами', *ущелье* 'узкая крутосклонная долина (обычно в пределах горной страны), промытая рекой в твердых коренных породах', *расселина* 'глубокое узкое углубление, образовавшееся вследствие разлома земной поверхности, горной породы', *расщелина* 'то же, что расселина', *трог геол.* 'горная долина крутообразной формы, образованная деятельностью ледника', *дюны* 'прибрежные песчаные холмы, нанесённые и передвигаемые ветром', *бурун* 'волнообразные песчаные бугры, наносы', *барханы* 'песчаные наносные холмы в пустынях и степях, не закреплённые растительностью'.

Углубления и возвышенности земной поверхности возникают не только за счет рельефообразующих процессов. Причиной и обстоятельством, предопределившим появление форм рельефа на том или ином участке, может быть также деятельность человека, который для определенных целей роет углубления в земле или создает возвышенности. Признак 'искусственное происхождение' объективируется следующими субстантивами: *канавка* 'неглубокий и неширокий ров, обычно служащий для спуска или отвода воды', *канавка уменьш.* к *канавка*, *ров* 'длинное углубление, вырытое в земле', *ровик* 'маленький ров, канавка', *яма* 'вырытое или образовавшееся в земле углубление', *ямина прост.* 'большая яма', *ямища увелич.* к *яма*, *ямка уменьш.* к *яма*, *вал* 'значительная по протяжению и высоте возвышенность на земной поверхности, искусственно созданная человеком для защитных или хозяйственных целей', *насыпь* 'возвышенность, искусственно созданная человеком из земли, сыпучих отходов производства и т.п.'

Деятельность человека, а точнее его передвижение, является причиной возникновения на поверхности (чаще всего дороге) углублений, называемых существительными, семантические компоненты которых описывают способ возникновения углублений – выбитый колесами или полозьями: *буерак* 'рытвина, выбоина или промоина', *выбоина* 'яма на дороге, выбитая колесами, полозьями', *колдобина прост.* 'рытвина, ухаб, а также яма на дне водоема', *колдобинка уменьш.* к *колдобина*, *колея* 'канавка, углубление, глубокий длинный след, оставленный колесами или полозьями на грунтовой или заснеженной дороге', *рытвина* 'углубление, промытое водой или выбитое колесами', *ухаб* 'большое углубление, образовавшееся на дороге от частой езды'.

Анализ существительных, номинирующих формы рельефа, показывает, что некоторые из них овнешвляют признак 'наличие растительности', так как углубления и возвышенности могут характеризоваться тем, что их склоны и дно покрыты растительностью. Такими номинациями являются: *балка* 'длинный и широкий овраг (обычно заросший травой, кустарником); ложбина, лощина', *яр* 'глубокий заросший овраг', *кочка* 'бугорок на низменном или болотистом месте, поросший травой или мхом', *грива* 'продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, поросшая лесом'.

Земная кора неоднородна по геологическому строению. Это отражается в лексическом значении субстантивов, называющих положительные формы рельефа, которые овнешвляют признак 'вещество, из которого построена возвышенность'. Уточняющими семами, реализующими данный признак, являются: сема «песок»: *дюны* 'прибрежные песчаные холмы, нанесённые и передвигаемые ветром', *бурун* 'волнообразные песчаные бугры, наносы', *барханы* 'песчаные наносные холмы в пустынях и степях, не закреплённые растительностью'; сема «твёрдая горная порода»: *скала* 'значительная возвышенность, состоящая из твёрдой горной породы, имеющая крутые склоны и острые выступы', *утёс* 'значительная возвышенность, состоящая из твёрдой горной породы, со склонами, расположенными почти вертикально, отвесно по отношению к земной поверхности'; сема «однородное геологическое строение»: *массив* 'горная возвышенность, однородная по геологическому строению, имеющая примерно одинаковые размеры в длину и ширину'.

Признаком, объективирующимся существительными, называющими впадины, является также 'наличие воды в углублении'. Этот признак присутствует в содержательной структуре наименований: *ложе* 'углубление в почве, по которому течет водный поток; русло', *лужа* 'углубление на поверхности земли со скопившейся водой', *лужища* *уменьш.* к *лужа*, *омут нар.-разг.* 'глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья', *русло* 'углубление в почве, по которому течет водный поток (река, ручей)'.

Семантические компоненты номинативных единиц: *вулкан* 'конусообразная гора с кратером на вершине, через который из недр земли извергаются огонь, лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород' и *сонка* 'на Камчатке и Курильских островах: вулкан', в свою очередь, указывают на наличие кратера на вершине возвышенности.

К числу субстантивов, репрезентирующих концепт *рельеф земли*, принадлежат также наименования горных цепей, поскольку в некоторых случаях возвышенности выступают не только поодиночке, но могут также образовать горные комплексы, состоящие из коротких хребтов или массивов, расположенных линейно друг за другом и разделенных тектоническими или эрозионными понижениями. Существительные, называющие горные цепи объединяются по признаку 'комплексность'. Данный признак овнешняется номинациями: *хребет* 'ряд гор, тянувшихся в одном направлении, горная цепь', *отрог* 'ответвление основной горной цепи', *кряж* 'цепь невысоких гор', *гряда* 'вытянутая в длину возвышенность; ряд небольших гор, холмов, подводных камней и т.п.'.

Анализ лексического материала позволил раскрыть национальную специфику концепта *рельеф земли*. Этноспецифичность исследуемого концепта проявляется в большом количестве реализующих его номинаций. Данный концепт репрезентируется в русском языке с помощью 48 лексем, называющих углубления, и 32 лексем, называющих возвышенности. Такое количество единиц, номинирующих разновидности денотата концепта, свидетельствует о значимости и ценности концепта *рельеф земли* для национального сознания. В основе наименований форм рельефа, лежит концептуальное содержание данных явлений, основные признаки которых находят отражение в семах соответствующих номинативных единиц. Семантические компоненты анализируемых существительных демонстрируют представления носителей русского языка о формах рельефа, характеризующихся определенными признаками. К таким признакам принадлежат: 'место нахождения', 'форма', 'размер', 'способ возникновения', 'искусственное происхождение', 'наличие растительности', 'вещество, из которого построена возвышенность', 'наличие воды в углублении', 'наличие кратера на вершине возвышенности', 'комплексность'. Признак 'место нахождения' чаще присутствует в содержательной структуре наименований углублений (15 лексем), чем в содержательной структуре наименований возвышенностей (9 лексем). Анализ субстантивов, эксплицирующих концепт рельеф земли, показал, что очень актуальным признаком является признак 'форма'. Номинативные единицы, характеризующиеся этим признаком, маркируются семами: «длинный» (25 номинаций), «глубокий» (10 номинаций), «неглубокий» (5 номинаций), «вытянутый в длину» (3 номинации), «пологий склон» (9 номинаций), «крутой склон» (6 номинаций), «покатый склон» (2 номинации). Признак 'размер' находит отражение, прежде всего, в семантических компонентах номинаций возвышенностей (14 лексем), лишь в единичных случаях объективируется на уровне субстантивов, называющих углубления (2 лексемы). Семантика анализируемых существительных указывает на то, что признаки 'способ возникновения' и 'искусственное происхождение' закладываются, главным образом, в наименования впадин (25 номинаций), реже этот признак овнешняется субстантивами, называющими возвышенности (8 номинаций). Согласно анализу, признак 'наличие растительности' актуализируется очень редко и эксплицируется только четырьмя номинациями. Признаки 'вещество, из которого построена возвышенность', 'наличие кратера на вершине возвышенности' и 'комплексность' реализуются только существительными, называющими положительные формы рельефа, а признак 'наличие воды в углублении', репрезентируется только наименованиями впадин.

Из всего выше сказанного видно, что концепт *рельеф земли* сформировался как результат рационального отражения и осмысления действительности.

Библиография

- Кузнецов С.И., 2000, *Большой толковый словарь русского языка*, Санкт-Петербург.
Краткий словарь когнитивных терминов, ред. Кубрякова Е.С., Москва, 1997.
Попова З.Д., Стернин И.А., 2002, *Язык и национальная картина мира*, Воронеж.
Попова З.Д., Стернин И.А., 2006, *Когнитивно-семантический анализ языка*, Воронеж.

Summary

THE LINGUISTIC EXPLANATION OF THE CONCEPT OF *SHAPE OF SURFACE*

This article deals with the reconstruction of the linguistic picture of the world. The analysis concerns one of the forms of explanation of the concept of “shape of surface” – i.e., lexemes verbalizing this concept. The richness of linguistic resources which verbalize the concept of “shape of surface” testifies to its importance to Russian mentality. Characteristics of the shape of surface, documented by linguistic data, are: “place,” “shape,” “size,” “way of formation,” “presence of vegetation,” “kind of mineral of the hill,” “existence of water in recess,” “existence of the crater,” “ranges.”

Alina Filinowicz

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku

NAZWY TERENOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO Z SUFIKSEM -ICHA

Key words: microtoponyms, toponym form, linguistic hybrid, Polish-Belorussian border territory, Baltic elements

Wśród różnego typu formantów topograficznych zarejestrowanych w mikrotoponimii powiatu sokólskiego na uwagę zasługuje sufiks *-icha*. Jest on charakterystyczny dla nazw geograficznych polsko-białoruskiego pogranicza językowego. W terenowych nazwach własnych Sokólszczyzny formant *-icha* stosowany jest do tworzenia nazw miejsca głównie od nazw osobowych. Mikrotoponimy te określają przynależność do osób, są więc nazwami dzierżawczymi.

Powiat sokólski znajduje się w środkowej części obecnego województwa podlaskiego przy granicy z Białorusią. W przeszłości rejony należące do dzisiejszej Sokólszczyzny pokrywała rozległa Puszcza Grodzieńska. Położona w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, wchodziła w skład dóbr królewskich i administracyjnie należała do powiatu grodzieńskiego w województwie trockim¹. Badany obszar zasiedlony został stosunkowo późno. Na przełomie XVII i XVIII w. procesy osadnicze na Sokólszczyźnie nie były jeszcze zakończone. Jak stwierdza historyk J. Jakubowski: „Miasto powiatowe Sokółka oraz prawie cały obecny powiat sokólski powstały na „surowym korzeniu”, po wykarczowaniu puszczy w wieku XVIII” [Jakubowski 1935, 107].

Teren całej Białostoczczyzny od najdawniejszych czasów był terenem styku plemion bałtyckich i słowiańskich, a w XV–XVII wieku rejonem styku i krzyżowania się fal osadnictwa polskiego (mazowieckiego) z zachodu z osadnictwem białoruskim idącym ze wschodu z rejonu Grodna i Wołkowyska. Nurt osadnictwa białoruskiego zawierał domieszkę ludności litewskiej i potomków dawnej Jaćwieży.

Obecnie powiat sokólski zróżnicowany jest pod względem etnicznym, językowym i konfesyjnym. Mieszkają tu obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, a dawniej byli też

¹ Zagadnienie kolonizacji Białostoczczyzny szeroko omówił J. Wiśniewski w licznych artykułach [Wiśniewski 1977, 7–80; 1964, 115–135].

Litwini. Dzisiaj na omawianym terenie obok gwar polskich występują gwary białoruskie. Gwara białoruska pełni funkcję języka domowego w obrębie rodziny i ewentualnie mieszkańców danej wsi, a polszczyzny używa się w kontaktach zewnętrznych z obcymi, w szkole, w kościele. Ten układ stosunków językowych ulega stopniowym zmianom w związku z wkraczaniem polszczyzny do życia codziennego. W zachodnim pasie zasięgu gwar białoruskich średnie i młodsze pokolenie mówi już wyłącznie po polsku, a gwara białoruska zachowała się częściowo jako środek porozumiewania się ludzi najstarszych. Część mieszkańców wschodnich terenów powiatu jest dwujęzyczna. Rozmieszczenie gwar wschodniosłowiańskich na omawianym obszarze, ważniejsze cechy fonetyczne, morfologiczne i leksykalne tych gwar przedstawione są w *Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny* [1980; 1988, 1993; 1995, 1996, 1999, 2002].

Źródłem materiałowym artykułu są zapisy gwarowe nazw terenowych z obszaru północno-wschodniej Polski zebrane w latach 1961–1969 przez zespół filologów² pod kierunkiem prof. Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej, podczas prac nad rejestracją nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych na zlecenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Urzędzie Rady Ministrów RP. Materiały gwarowe zostały uzupełnione częściowo o własne zapisy zebrane w terenie od miejscowej autochtonicznej ludności.

F. Sławski w I tomie *Słownika prasłowiańskiego* [Sławski 1974, 73] stwierdza, że formant *-icha* jest produktywny tylko w językach wschodniosłowiańskich (głównie w rosyjskim), gdzie tworzy przede wszystkim nazwy istot żywych płci żeńskiej od odpowiednich nazw męskich. W jęz. rosyjskim spotyka się także derywaty odprzymiotnikowe i odczasownikowe, zwykle ekspresywne nomina agentis, np. *spicha* ‘kobieta śpioch’ <spat’ ‘spać’>. W innych językach słowiańskich suf. *-icha* jest wyjątkowy, albo nawet całkiem nieznan, konstatuje Sławski.

R. Grzegorzczkowska i J. Puzynina [Grzegorzczkowska, Puzynina 1979, 90] podają, że sufiks *-icha* w języku polskim jest prawie całkowicie poza zasięgiem języka ogólnego, a spotykane z tym formantem apelatwy należą przeważnie do regionalizmów wschodnich. *Słownik języka polskiego* pod red. W. Doroszewskiego [Doroszewski 1958–69] notuje nazwy żeńskie z nacechowaniem ekspresywnym rubaszno-niechętnym lub żartobliwym: *Cyganicha*, *Kozaczycha*, *kowalicha*, *parobczycha*; nazwę samicy *bocianicha*; nazwy wódek: *buraczycha*, *ziemniaczycha*. Można tu też dołączyć nazwy botaniczne *ognicha* i *rzepicha* oraz jedyną odczasownikową *oblepicha* (reg.).

W ojkonimii i mikrotoponimii formant *-icha* służy głównie do tworzenia nazw miejsca (nomina loci) od nazw osobowych. Zasięg występowania nazw geograficznych z formantem *-icha*, zagęszczenie i produktywność tych nazw na terenie polsko-białoruskiego pogranicza przedstawił M. Kondratiuk [Kondratiuk 1986, 193–197; 1994, 169–184]. Natomiast rozpowszechnienie nazw geograficznych z *-icha* w językach wschodniosłowiańskich najpełniej opracowali M. Biryła i W. Lemciuhowa [Biryła, Lemciuhova

² Mikrotoponimy z ówczesnego powiatu sokólskiego zebrał w latach 1965–1967 M. Wróblewski, a z pow. dąbrowskiego w roku 1967 – M. Kondratiuk.

1973, 50–58; Лемцюгова 1970, 114–115; Паўленка 1978, 66–68]. W funkcji toponimicznej występuje też na Lubelszczyźnie i to głównie w jej wschodniej części³.

W mikrotoponimii pow. sokólskiego formant *-icha* wykazuje znaczną produktywność. W funkcji nazwotwórczej wystąpił 80 razy, w tym 68 razy w funkcji dzierżawczej, zarejestrowano 10 mikrotoponimów w znaczeniu relacyjnym i tylko 2 nazwy zakwalifikowano jako topograficzne. Niżej podano wykaz nazw terenowych z sufiksem *-icha* występujących na omawianym obszarze.

An'oszczycha, gw. *An'oščyxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, łąka, wś Borki, gm. Sup. – N. dzierż. od nazw. *Onoszko*, notowanego w pow. sokólskim⁴ KAB, SNSo: 121. W gwarach akających Białostoczczyzny forma gwarowa nazwiska ma postać *An'oško*.

Ar'amicha, gw. *Ar'am'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, kol., łąka, wś Kumiałka, gm. Jan. – N. dzierż. od n. os. *Aram* ≤ im. *Awram*, *Abram*, im. cerk. *Awraam*, pol. i hebr. *Abraham* BirBa I 19–20.

Aŕ'amicha, gw. *Aŕ'am'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, łąka, wś Rudawka, gm. Jan. – N. dzierż. od brus. n. os. *Auram*, *Awram* = im. cerk. *Awraam*, pol. i hebr. *Abraham* BirBA I 19–20.

Balaban'icha, gw. *Balabań'ixa*, gen. *-ń'ix'i*, loc. *-ń'isi*, łąka, wś Kumiałka, gm. Jan. – N. dzierż. od nazw. *Balaban* notowanego w powiecie sokólskim SNSo: 20.

B'ejnicha, gw. *B'ejńixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*: 1) łąka i las, wś Jezierzysk, gm. Czar., pow. biał.; 2) pole, zarośla, wś Niemczyn, gm. Czar., pow. biał.; 3) łąka, wś Zdroje, gm. Kor. – N. dzierż. utworzona od n. os. *Bein-is*, lit. *Beĩ-noras*, zob. szerzej KonEB 89.

Biarw'icha, gw. *B'arv'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-v'isi*: 1) rzeka, łąka, pole, wś Bierwicha, gm. Sid.; 2) gw. *B'erv'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śe*, rzeka, łąka, wś Siekierka, gm. Sid. – N. relac. od n. rzeki *Bierwicha* – lewy dopływ rzeki Sidry.

Bieniasz'ycha, gw. *B'eńšaŕyxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, wzgórze, wś Ostra Góra, gm. Kor. – N. dzierż. od nazw. *Bieniasz* SNSo:111.

Bierwian'icha, gw. *B'erv'ań'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-ń'isi*, łąka, wś Lipina, gm. Sok. – N. top. od ap. brus. *бервяно* 'kłoc, kłoda, drzewo zrąbane bez gałęzi' BM 86.

Br'oszczycha, gw. *Br'oščyxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śe*, łąka, wś Hałe, gm. Sok. – N. top., może od lit. ap. *brastà* 'płytkie miejsce w rzece, przez które można przejść albo przejechać; bród; mokra grząska droga; topiel, grzędawisko' zob. KonTF 174. Albo n. dzierż. od n. os. **Broszcz*, *Brożek*, **Brożko* ≤ *Ambroży*.

Bur'elicha, gw. *Bur'elixa*, gen. *-x'i*, kol., pole, wś Starożyńce, gm. Lip., pow. aug. – N. dzierż. od nazw. *Burel* występ. w okolicy SNSo: 36, te zaś od lit. n. os. **Bur-el-is* derywowanej od *Būras*, jak lit. nazw. *Bur-aitis*, *-ikas*, *-eikà* KonEB 92.

³ W pracy M. Łesiowa, *Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny*, zarejestrowano 35 mikrotoponimów z formantem *-icha* [Łesiów 1972, 113, 188].

⁴ Nazwiska mieszkańców powiatu sokólskiego wynotowano z *Kartoteki antroponimów Białostoczczyzny* dostępnej u prof. M. Kondratiuka (skrót KAB) oraz ze *Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku*, opracowanego przez Kazimierza Rymuta. Słownik zawiera zestawienie wszystkich nazwisk używanych w Polsce w 2002 roku. Wersja elektroniczna Słownika przygotowana jest w komputerowym programie PDF przez Zakład Onomastyki Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN (Skrót SNSo:, gdzie So: oznacza powiat sokólski, a cyfra po dwukropku informuje o ilości nosicieli danego nazwiska w pow. sokólskim).

B'uślicha, gw. *B'uślixa*, gen. *-ix'i*, loc. *-śi*: 1) pastw., wś Długi Ług, gm. Kor.; 2) kol., pastw., wś Przystawka, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Busiel* (: brus. *бусель* 'bocian', *бусліха* 'samica bociana') BirBA II 71.

Chaci'enicha, gw. *Ха́ц'є́ніха*, gen. *-x'i*, loc. *-ńiše*, łąka, wś Podlubianka, gm. Jan. – N. dzierz. por. brus. n. os. *Хацєня, Хацян* (: brus. *хацєць* 'chcieć, oczekiwac') BirBA II 429 lub st.pol. n. os. *Chocian, Chocień* MałSN 66, 137.

Czerep'icha, gw. *Čerep'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, kol., pole, łąka, wś Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka, pow. biał. – N. dzierz. od nazw. *Czerep* KAB, *Czerepica* SNSo: 3.

Dr'abicha, gw. *Dr'ab'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-b'isi*, łąka, wś Dworzysk, gm. Sok. – N. dzierz. od n. os. *Drab* BirBA II 135, KAB.

Dracz'ycha, gw. *Drač'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, łąka, wś Teolin, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Dracz* (: brus. *драч* 'ptak łąkowy o charakterystycznym terkoczącym głosie, derkacz – *Cres, cres*' lub od *dracz* 'łupieżca') BirBA II 136.

Dzi'adziawicha, gw. *З'а́з'ав'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, łąka w lesie, wś Kumiałka, gm. Jan. – N. dzierz. od brus. n. os. *Dziadzia, Dziadzio* BirBA II 132, KonTF 175.

Giel'ozicha, gw. *G'el'ozixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, kol., pole, łąka, wś Kumiałka, gm. Jan. – N. dzierz. od lit. n. os. *Gelāžius, Gelēž-ė, Gelēžius* (: ap. lit. *geležis* 'żelazo'; *gelāžius* = *gelēžius* 'kował; człowiek zajmujący się handlem wyrobami z żelaza') KonTF 175.

G'olczycha, gw. *G'olčyxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śe*: 1) łąka, wś Sosnowe Bagno, gm. Jan.; 2) gen. *-x'i*, loc. *-śi*, las, wś Trzcianka, gm. Jan. – N. dzierz. od występ. w okolicy nazw. *Golko* SNSo:78.

Gór'ycha, gw. *Gur'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-r'yśe*, pole, wś Usnarz Górny, gm. Szudz. – N. dzierz. od n. os. *Góra, Gora* RymNP 124–125 lub od brus. n. os. *Huryj* KonTF 175.

Gr'emzicha, gw. *Gr'emzixa*, gen. *-x'i*, loc. *-źiśi*, łąka, wś Nowinka, gm. Sid. – N. dzierz. od n. os. *Gremza* BirBA II 119, łot. *Grimza*, lit. *Grīmža*. Zob. szerzej o nazwie KonEB 108.

Haŭr'ylicha, gw. *Haŭr'ylixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, łąka, wś Trofimówka, gm. Jan. – N. dzierz. od im. brus. *Haŭryła, -lo* ≤ cerk. *Gawriił*, pol. *Gabriel* BirBA I 46–49 lub nazw. *Hawryło* KAB.

'Imbrycha, gw. *'Imbryxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, łąka, wś Rozedranka Nowa, gm. Sok. – N. dzierz. od n. os. *Imbra, Imbrych* Rym I 180.

Jan'uszczycha, gw. *Jan'uščyxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, łąka, wś Holiki, gm. Sid. – N. dzierz. od n. os. *Januszko* : *Janusz* : *Jan*.

Jarm'oszczycha, gw. *Jarm'oščyxa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, wzgórze, wś Zabrodzie, gm. Kor. – N. dzierz. od nazw. *Jarmoszko* SNSo: 99.

Jasien'icha, gw. *Jaśeń'ixa*, gen. *-x'i*, łąka, wś Nowowola, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Jaśeń, Jasion, Jesion* (: pol. *jesion*, brus. *ясе́нь* 'gatunek drzewa') Rym I 350.

Jel'enicha, gw. *Jel'eńixa*, gen. *-x'i*, loc. *-ńiśi*, wzgórze, wś Długi Ług, gm. Kor. – N. dzierz. od n. os. *Jeleń* Rym I 345.

Jurgi'elicha, gw. *Jurg'elixa*, gen. *-x'i*, loc. *-śi*, kol., pole, las, wś Dworzysk, gm. Czar., pow. biał. – N. dzierz. od nazw. *Jurgiel* SNSo:69, te zaś od zesław. n. os. *Jurgiel*

≤ lit. n. os. *Jurgēlis, Jūrgelis, Jurgelīs* : *Jūrgis* (: stpol. *Jurga, Jurgi*, wschłow. *Jurij, Gieorgij*, greck. *Georgius*) KonEB 114.

Kamar'ycha, gw. *Kamar'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*, łąka, wś Straż, gm. Sok. – N. dzierz. od n. os. *Kamar, Komar* BirBA II 175, nazw. *Komar* KAB (w gwarach akających *Kam'ar*).

Karab'icha, gw. *Karab'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-še*, łąka, wś Sosnowe Bagno, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Karaba* BirBA II 182, *Karabowicz* SNSo: 16, KAB

Karp'anicha, gw. *Karp'ańixa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*: 1) łąka, wś Szczuki, gm. Jan.; 2) kol., łąka, wś Trofímówka, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Karpan* Rym I 381, nazw. *Karpienia* SNSo:75.

Karp'icha, gw. *Karp'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-še*, wzgórze, wś Malawicze Dolne, gm. Sok. – N. dzierz. od n. os. *Karp* ≤ cerk. im. *Karpij* BirBA I 94–95, nazw. *Karp* SNSo:42.

Kaszal'icha, gw. *Kašal'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*: 1) góra, lasek, wś Makowlany, gm. Sid.; 2) kol., wzgórze, wś Rykaczewo, gm. Kor. – N. dzierz. od nazw. *Koszel* znanego na Białostocczyźnie KAB, nazw. *Koszela* SNSo: 3.

Kawal'icha, gw. *Kawal'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-še*: 1) łąka, wś Soroczy Mostek, gm. Jan.; 2) gen. *-x'i*, loc. *-sí*, pole, wś Teolin, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Kawal* BirBA II 166, nazw. *Kowal* SNSo: 2, KAB.

Każl'icha, gw. *Każl'ixa*, gen. *-x'i*, pole, wzgórze, wś Laudańszczyzna, gm. Such. – N. dzierz. od brus. n. os. *Kazioł* BirBA II 169, nazw. *Kozioł* SNSo: 256.

Ki'erklicha, gw. *K'ėrklix*, gen. *K'ėrklix'i*, loc. *K'ėrkl'isi*, łąka, wś Chwaszczewo, gm. Sid. – N. dzierz. od lit. n. os. *Kirklīs, Kīrkliis* (: lit. ap. *kirklīs* ‘ten, co ciągle krzyczy, gdera, zrzedzi; krzykacz’), zob. szerzej KonEB 118.

Kisial'icha, gw. *K'isal'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-l'isi*, łąka, wś Sitawka, gm. Jan. – N. dzierz. od nazw. *Kisiel* SNSo: 105, KAB.

Klen'icha, gw. *Kleń'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*, wzgórze, las, pole, wś Bogusze, gm. Sok. – N. dzierz. od nazw. *Klejno* SNSo:16, *Klejna* SNSo: 20, n. os. *Klen, Kleń* Rym I 408.

Koŭpacz'ycha, gw. *Koŭpač'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*, droga, wś Rudawka, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Kaŭpak, Kalpak* (: brus. *kaŭnak* ‘rodzaj czapki na głowę; kłosz; pot. o człowieku – tuman, głąb’) BirBA II 193, nazw. *Kolpak* SNSo:59.

Kr'oicha, gw. *Kr'oixa*, gen. *-x'i*, loc. *-še*: 1) zagajnik, wś Sosnowe Bagno, gm. Jan.; 2) łąka, zarośla, wś Trzcianka, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Kroj, Kroik* Rym I 466.

Kroucz'ycha, gw. *Krouč'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*, góra, żwirownia, las, wś Kamionka Nowa, gm. Sok. – N. dzierz. od n. os. *Kraŭczycha* (: brus. *kpaŭč'yx* ‘krawcowa, pot. żona krawca’) BirBA II 216–217, n. os. *Krawiec* SHNB I 182.

Ličw'inicha, gw. *Ličv'inixa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*, pole, wś Borki, gm. Sup., pow. biał. – N. dzierz. od n. os. *Ličwin, Litwin* BirBA II 253–254.

Łukasz'ycha, gw. *Łukaš'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*, górka, las, wś Gliniszcz Wielkie, gm. Sok. – N. dzierz. od im. *Łukasz* BirBA I 110–111.

Madźwi'edzicha, gw. *Maž'v'ėž'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-sí*, łąka, wś Sitawka, gm. Jan. – N. dzierz. od nazw. brus. *Madźwiedź, Miadźwiedź* (: brus. *мядзведзь*, pol. *niedźwiedź*)

BirBA II 291, RymNP 196. Na Białostocczyźnie forma urzędowa nazwiska *Niedźwiedź* ma często gwarową postać *Madźwiedź* KAB.

Marmal'icha, gw. *Marmal'ixa*, gen. -x'i, loc. -sí, łąka, wś Borki, gm. Gródek, pow. biał. – N. dzierz. od n. os. *Marmol*, *Marmoł* Rym II 71. Por. brus. nazw. *Marmyl* (od marmotać, niewyraźnie mówić) BirBA II 276.

Maskal'icha, gw. *Maskal'ixa*, gen. -x'i, loc. -l'isi, łąka, wś Rudawka, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Maskal*, *Moskal* (: *moskal* 'żołnierz armii carskiej') BirBA II 277, SHNB I 251, por. przezwisko *Moskal* Żuk 361.

Maść'icha, gw. *Maść'ixa*, gen. -x'i, loc. -sí: 1) kol., łąka, rzeka, wś Łozowo, gm. Dbr.; 2) gw. *Mość'ixa*, gen. -x'i, loc. -sí, kol., pole, wś Krugło, gm. Dbr.; 3) łąka, pole, rzeka, wś Nierośno, gm. Dbr. – N. relac. od n. rzeki *Mościcha*, gw. *Maść'ixa*, lewego dp. Sidry, ta zaś oznaczała zapewne pierwotnie rzekę, na której był most lub kilka mostów.

Misi'ucicha, gw. *M'is'ucixa*, gen. -x'i, loc. -sí, łąka, wś Studzieńczyna, gm. Jan. – N. dzierz. od nazw. *Misiuta* występującego w regionie białostockim KAB, SNSo:1, które jest derywowane od lit. n. os. *Misi-ūta*, -ūtis (: lit. im. *Misis*, *Misius*, pol. *Michał*). Zob. szerzej KonEB 146.

Pacz'uicha, gw. *Pać'uixa*, gen. -x'i: 1) kol., pole, wś Bachmackie Kolonie, gm. Such.; 2) kol., łąka, góra, wś Kopciówka, gm. Such. – N. dzierz. por. brus. n. os. **Paczuj*, *Paczuj-ka* (: brus. *начыуь* 'usłyszeć, dowiedzieć się') BirBA II 319, n. os. *Poczuj* SHNB II 38.

Patacz'ycha, gw. *Patać'yxa*, gen. -x'i, loc. -sí, góra, kol., wś Kraśniany, gm. Sok. – N. dzierz., od brus. n. os. **Patoka*, **Pataka*, pol. *Potok* Rym II 286.

Pat'apicha, gw. *Pat'ap'ixa*, gen. -x'i, loc. -sí, kol., łąka, wś Kumiałka, gm. Jan. – N. dzierz. od brus. im. *Patap*, ros. *Potapij* BirBA I 134–135, Cit 31.

Piaciul'icha, gw. *P'acull'ixa*, gen. -x'i, loc. -sí: 1) las, wś Kumiałka, gm. Jan.; 2) las, wś Studzieńczyna, gm. Jan.; 3) gw. *P'icull'ixa*, gen. -x'i, loc. -sí, łąka, wś Chwaszczewo, gm. Sid. – N. dzierz. od nazw. *Pieciul* SNSo: 58.

Piatr'ycha, gw. *P'atr'yxa*, gen. -x'i, loc. -sí, łąka, wś Przystawka, gm. Jan. – N. dzierz. od im. *Piatro* : *Piotr* Sud 37.

Sap'oczeczycha, gw. *Sap'oćcyxa*, gen. -x'i, loc. -sí, łąka, wś Hałe, gm. Sok. – N. dzierz. od nazw. *Sopoćko* KAB, SNSo:2.

Silw'onicha, gw. *Śilv'ońixa*, gen. -x'i, loc. -sí: 1) las, wś Grzybowszczyzna, gm. Szudz.; 2) las, wś Usnarz Górny, gm. Szudz. – N. dzierz. od wschł. n. os. *Silwan*, *Silwon*, *Sieliwon* BirBA I 148.

Šatr'ycha, gw. *Šatr'yxa*, gen. *Šatr'yx'i*, loc. *Šatr'yśi*, kol., pole, wś Sadek, gm. Dbr. – N. relac. od n. rz. *Šatrycha*, l. dp. rzeki Kamiennej.

Šatr'ycha Hlyboka, gw. *Šatr'yxa Hlyb'oka*, gen. *Šatr'yx'i Hlyb'okaj*, loc. *Šatr'yśi Hlyb'okaj*, kol., pole, łąki, rzeczka, wś Miedzianowo, gm. Dbr. – N. relac. od n. rz. *Šatrycha*, l. dp. rzeki Kamiennej; człon odróżniający *Hlyboka* odnosi się do rzeczki o głębokim korycie.

Šzaw'ajlicha, gw. *Šav'ajlixa*, gen. *Šav'ajlix'i*, loc. *Šav'ajliši*, łąka, nadleśnictwo, wś Kumiałka, gm. Jan. – N. dzierz. od n. os. *Šzawajło* : *Šzawiel* ≤ lit. n. os. *Šavelis*, *Šaulỹs* (: *šaulỹs* 'strzelec'). Zob. szerzej KonEB 176.

Szkiłondz'icha, gw. *Šk'ilong'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-ši*, kol., łąka, wś Ostrynka, gm. Jan. – N. dzierz. od nazw. *Szkiłqdź* występ. w okolicy KAB, SNSo:139, te zaś od lit. n. os. *Skilándis* (: *skilándis* ‘salceson wędzony’) KonEB 177.

Szpacz'ycha, gw. *Špač'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-ši*, las, wś Borki, gm. Gródek, pow. biał. – N. dzierz. od n. os. *Szpak* BirBA II 479, SHNB II 131.

Tamasz'ycha, gw. *Tamaš'yxa*, gen. *-x'i*, loc. *-še*, wzgórze, wś Siekierka, gm. Sid. – N. dzierz. od im. brus. *Tamasz*, pol. *Tomasz* Rym NP 274–275.

Taukien'icha, gw. *Tauk'eñ'ixa*, gen. *Tauk'eñ'ix'i*, loc. *Tauk'eñ'isi*, pole, wś Wołyńce, gm. Kuź. – N. dzierz. od nazw. *Tolkin* KAB, SNSo: 5, to zaś od lit. *Taukinis* (: *taukinis* ‘tłusty, łojowy’). Zob. szerzej KonEB 185.

Wajc'iłicha, gw. *Vajć'ilixa*, gen. *-x'i*, loc. *-ši*, dół, wś Siekierka, gm. Sid. – N. dzierz. od zeslawizowanej n. os. *Wajcil* (: lit. im. *Vaitil-as* : *Vaitỹs*) lub n. os. *Wajciel* (: lit. n. os. *Vaitel-is* : pol. im. *Wojciech*) KonTF 180.

W'erdzicha, gw. *V'erz'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-z'isi*, pole, las, wś Niemczyn, gm. Czar., pow. biał. – N. dzierz. od nazw. *Werda* (: *werda* ‘okrzyk używany dawniej przez strażników’) SNSo : 15, Rym II 666, n. os. *Werdzija* SHNB II 166.

Wiargi'elicha, gw. *V'arg'elixa*, gen. *-x'i*, oc. *-ši*, wzgórze, wś Makowlany, gm. Sid. – N. dzierz. od n. os. *Wiergiel* ≤ lit. n. os. *Vergelis* : *Vergis* (: lit. *vėrgas*, *veřgas* ‘niewolnik; jeniec, więzień’). W nazwie *V'arg'elixa* *V'a-* ≤ *V'e-* jako rezultat brus. akania KonEB 190.

Wierabj'icha, gw. *V'erabj'ixa*, gen. *-x'i*, loc. *-ši*, wzgórze, wś Sokolany, gm. Sok. – N. dzierz. od n. os. *Wierabiej* (: brus. *вєрабєў* ‘wróbel’) BirBA II 85.

Odnotowano 3 formacje z *-icha* wchodzące w skład wyrażen przyimkowych. Zakwalifikowano je jako nazwy relacyjne lokalizujące.

Dalinka ad Biarwichi, gw. *Dal'inka ad B'arv'ix'i*, gen. *Dal'ink'i ad B'arv'ix'i*, kol., łąka, wś Słomianka, gm. Sid. – I czł. n. top. = ap. gw. *dalinka*; II czł. n. relac., wyr. przyimk. z nazwą rzeki *Bierwicha*.

Pad Bierw'ichaj, gw. *Pad B'erv'ixaj*, gen. *spad B'erv'ix'i* // *Kseng'ońska Har'a*, gen. *-kaj -r'ye*, wzgórze, wś Sidra, gm. Sid. – N. relac., wyr. przyimk. z nazwą rzeki *Bierwicha*.

Pałaski'e da 'Imbrychi, gw. *Pałask'e da 'Imbryx'i*, gen. *ad 'Imbryx'i*, pole, wś Rozedranka Nowa, gm. Sok. – I czł. n. kult. w pl. od gw. *pałas'a*, *pał'oska* ‘wąski dział ziemi ornej’; II czł. n. relac., wyr. przyimk. z n. ter. *'Imbrycha*.

Podstawą derywacyjną formacji z formantem *-icha* są głównie nazwy własne: imiona *Aur'amicha* : *Auram*, *Awram*, im. cerk. *Awraam*; *Haurylicha* : od im. brus. *Hauryła*; *Karp'icha* : im. cerk. *Karpij* lub nazw. *Karp*; *Łukasz'ycha* : *Łukasz*; *Piatr'ycha* : *Piatro* : *Piotr*; *Tamasz'ycha* : *Tomasz*; nazwiska: *Balaban'icha* : *Balaban*, *Bieniasz'ycha* : *Bieniasz*, *G'olczycha* : *Golko*, *Jurgi'elicha* : *Jurgiel*, *Koŭpacz'ycha* : *Kołpak*, *Misi'ucicha* : *Misiuta*, *W'erdzicha* : *Werda* i przezwiska: *Maskal'icha*, *Marmal'icha*.

Hydronimy natomiast mogą być bazą dla nazw przeniesionych na sąsiednie obiekty, bez jakichkolwiek zmian językowych, np. *Bierwicha*, rzeka, lewy dopływ Sidry i *Bierwicha* – nazwa łąki; *Mośc'icha*, rzeka, lewy dopływ Sidry i *Mośc'icha* – kolonia

i pole; *Szatr'ycha*, rzeka, lewy dopływ rzeki Kamiennej i *Szatr'ycha* – pole, kolonia oraz *Szatr'ycha Hłyb'oka* – kolonia, pole, łąki. Powyższe przykłady są nazwami relacyjnymi ponowionymi.

Zarejestrowano zaledwie 2 nazwy z formantem *-icha* utworzone od apelatywu, zakwalifikowao je jako nazwy topograficzne: *Bierwian'icha* : ap. brus. *бервяно* ‘kloc, kłoda, drzewo zrąbane bez gałęzi’; *Br'oszczycha* – zapewne od lit. ap. *brastà* ‘płytkie miejsce w rzece, przez które można przejść albo przejechać; bród; mokra grząska droga; topiel, grzęzawisko’.

Zróznicowane pod względem etnicznym i językowym procesy osadnicze badanego terenu znalazły swoje potwierdzenie w nazwach terenowych. Bazę leksykalną dla omawianych nazw stanowią antroponimy i apelatywy polskie, białoruskie i litewskie. Podstawa derywacyjna i formant toponimiczny analizowanych nazw mogą należeć do jednego języka lub pochodzić z różnych języków, np. polskiego i białoruskiego, polskiego i litewskiego, litewskiego i białoruskiego. Są to więc formacje jednolite językowo i nazwy hybrydalne [Kondratiuk 2002, 73–79]. Wśród mikrotoponimów derywowanych od podstaw pochodzenia bałtyckiego⁵ nazw z sufiksem *-icha* odnotowano 15. Są to: *B'ejnicha*, *Br'oszczycha*, *Bur'elicha*, *Giel'ozicha*, *Gr'emzicha*, *Jurgi'elicha*, *Ki'erklicha*, *Misi'ucicha*, *Szatr'ycha*, *Szatr'ycha Hłyboka*, *Szaw'ajlicha*, *Szkiłondz'icha*, *Taŭkien'icha*, *Wajc'ilicha*, *Wiargi'elicha*.

Badany teren, znajduje się na obszarze gwar wschodniosłowiańskich, a gwary powiatu sokólskiego są naturalnym przedłużeniem na zachód białoruskiego dialektu południowo-zachodniego (jego podgrupy grodzieńsko-baranowickiej [Мяцельская, Блінава 1991, 193–194]). Do specyficznych cech białoruskich odnotowanych w mikrotoponimii Sokólszczyzny można zaliczyć:

- zjawisko akania, tj. wymowa etymologicznego nieakcentowanego [o] jak [a] w pozycji przed akcentem. Przedakcentowe [o] brzmi jak [a] niezależne od jakości samogłoski akcentowanej: *An'oszczycha* : *Onoszko*, *Kawal'icha* : *Kowal*, *Kaszal'icha* : *Koszel*, *Kaźl'icha* : *Kozioł*, *Maskal'icha* : *Moskal*, *Maśc'icha* : rz. *Mościcha*, *Sap'oczcycha* : *Sopoćko*, *Taŭkien'icha* : *Tolkin*.
- zjawisko jakania, tj. wymowa nieakcentowanego [e] po spółgłoskach miękkich jak [ʔa] w pierwszej sylabie przed akcentem: *Biarw'icha* : rz. *Bierwicha*, *Kisial'icha* : *Kisiel*, *Wiargi'elicha* : *Wiergiel*.
- wschodniosłowiański akcent swobodny i ruchomy w odróżnieniu od akcentu polskiego na przedostatniej sylabie: *Aŭr'amicha*, *B'uślicha*, *Chaci'enicha*, *Dzi'adziawicha*, *G'ołczycha*, *Haŭr'ylicha*, *Jan'uszczycha*, *Jarm'oszczycha*, *Jel'enicha*, *Ličw'inicha*, *Madźwi'edzicha*, *Silw'onicha*, *Sap'oczcycha*.
- zachowanie białoruskiej głoski dźwięcznej szczelinowej tylnojęzykowej [ɣ] lub gardłowej [h] zamiast polskiej spółgłoski zwartej dźwięcznej [g]: *Szatr'ycha Hłyb'oka*, *Haŭr'ylicha*.

Cechy językowe mikrotoponimów pokrywają się ze współczesnym zróznicowaniem dialektalnym terenu.

⁵ Analizę językową mikrotoponimów pochodzenia bałtyckiego oparto na pracy prof. Michała Kondratiuka, *Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego* [Kondratiuk 1985].

Bibliografia

- Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny*, 1980, red. Glinka S., Obrębska-Jabłońska A., Siatkowski J., t. I, Wrocław.
- Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny*, 1988, 1993, red. Glinka S., t. II–III, Wrocław.
- Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny*, 1995, 1996, 1999, 2002, red. Maryniakowa I., t. V–VIII, Warszawa.
- Biryła M.V., Lemejuhova V.P., 1973, *Anamastyčnyja slovautvaralnyja elementy va ushodne- i zachodneslavjanskich movach (Adantrapanimičnyja ajkonimy)*, Mińsk.
- Grzegorzczukowa R., Puzynina J., 1979, *Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime*, Warszawa.
- Jakubowski J., 1935, *Powiat grodzieński w XVI w.* // Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, z. III, Kraków.
- Kondratiuk M., 1985, *Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego*, Wrocław.
- Kondratiuk M., 1986, *Bałtycko-słowiańskie hybrydy nazewnictwa z formantami -i(z)na, -szy(z)na, -icha na terenie Białostoczczyzny // Formacje hybrydalne w językach słowiańskich*, red. Warchoń S., Lublin, 193–197.
- Kondratiuk M., 1994, *Toponimiczny formant -icha w gwarach polsko-białoruskiego pogranicza // W kręgu kultury białoruskiej*, red. Piłat W., Olsztyn, 169–184.
- Kondratiuk M., 2002, *Nazwy komponowane słowiańsko-bałtyckie w toponimii północno-wschodniej Polski // Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe*, red. Kondratiuk M., t. IV, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności” Białystok 20–22 VII 2001, Białystok, 73–79.
- Лемцюгова В.П., 1970, *Беларуская аіканімія. Лінгвістычны аналіз назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці*, Мінск.
- Łesiów M., 1972, *Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny*, Lublin.
- Мяцельская Е., Блінава Э., 1991, *Беларуская дыялекталогія. Практыкум*, Мінск.
- Паўленка М.А., 1978, *Нарысы па беларускаму словаўтварэнню. Жаночыя асабовыя намінацыі ў старабеларускай мове*, Мінск.
- Słownik języka polskiego*, 1958–1969, red. Doroszewski W., Warszawa.
- Sławski F., 1974, *Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański*, t. I, Wrocław.
- Wiśniewski J., 1964, *Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII wieku // ABS*, t. I, Białystok, 115–135.
- Wiśniewski J., 1977, *Osadnictwo wschodniej Białostoczczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne // ABS*, t. XI, Wrocław, 7–80.

Objaśnienie skrótów

- BiRBA – Biryła M. V., 1966, 1969, 1982, *Беларуская антрапанімія*, t. I–III, Мінск.
- BM – *Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы*, 1999, Мінск.
- Cit – Citko L., 2001, *Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI wieku*, Białystok.
- KAB – Kartoteka antroponimów Białostoczczyzny dostępna u prof. Michała Kondratiuka.
- KonEB – Kondratiuk M., 1985, *Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego*, Wrocław.
- KonTF – Kondratiuk M., *Toponimiczny formant -icha w gwarach polsko-białoruskiego pogranicza // W kręgu kultury białoruskiej*, 1994, Olsztyn, 169–184.

- MaISN – Malec M., 1982, *Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych*, Wrocław.
- RymNP – Rymut K., 1991, *Nazwiska Polaków*, Wrocław.
- Rym – Rymut K., *Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny*, Kraków 1999–2001, t. I–II.
- SHNB – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L., 1997–1998, *Słownik historycznych nazw osobowych Białostoczczyzny (XV–XVII w.)*, t. I–II, Białystok.
- SNSo: *Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku*, opracował K. Rymut. Słownik zawiera zestawienie wszystkich nazwisk używanych w Polsce w 2002 roku. Skrót So oznacza powiat sokólski, a cyfra po dwukropku informuje o ilości nosicieli danego nazwiska w pow. sokólskim.
- Żuk – Żuk E., *Przydomki i przezwiska w gminie Nowy Dwór // Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim*, 1995, red. Kondratiuk M., Białystok, 357–364.

- gm. Dbr. – gmina Dąbrowa Białostocka
- gm. Grd. – gmina Gródek
- gm. Jan. – gmina Janów
- gm. Kor. – gmina Korycin
- gm. Krn. – gmina Krynki
- gm. Kuż. – gmina Kuźnica
- gm. Lip. – gmina Lipsk
- gm. Nowd. – gmina Nowy Dwór
- gm. Sid. – gmina Sidra
- gm. Sok. – gmina Sokółka
- gm. Sup. – gmina Supraśl
- gm. Szudz. – gmina Szudziałowo
- pow. aug. – powiat augustowski
- pow. biał. – powiat białostocki
- pow. sok. – powiat sokólski

Summary

PLACE NAMES OF THE SOKÓLSKI DISTRICT WITH THE SUFFIX *-ICHA*

This article focuses on the microtoponyms of the Sokólski district formed by the addition of the suffix *-icha*. The author describes the productivity of the suffix with regards to place names of possessive, relational and topographic forms. The formative roots of microtoponyms, such as: names, surnames, and nicknames are presented. Moreover, the semantic and formative analyzes are conducted. The derivation base and the toponym form of the analyzed names may come from one or more languages, such as: Polish and Belorussian, Polish and Lithuanian, Lithuanian and Belorussian. Therefore, these are homogenous formations as well as hybrids.

Katarzyna Grabowska

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku

POLONIZMY LEKSYKALNE W WYBRANYCH LATOPISACH BIAŁORUSKO-LITEWSKICH

Key words: old Belorussian chronicles, borrowing of words, formal semantic borrowings, semantic calques, structural calques

Zapożyczenia stanowią jeden z ważniejszych sposobów rozszerzenia zasobu leksyki każdego języka. Najczęściej są wynikiem wpływów kulturowych, społeczno-politycznych lub ekonomicznych. Mogą wynikać również z potrzeby nominacji nowych realiów, zjawisk i przedmiotów, które nie posiadają swej nazwy w języku zapożyczającym [Citko 2010, 20; Булыка 1972, 3].

Geograficzna bliskość oraz ekonomiczne i polityczne więzi sprzyjały kontaktom pomiędzy językiem polskim a językami wschodniosłowiańskimi. Najstarsze polonizmy znalazły swe udokumentowanie w XIII-wiecznym *Latopisie Halicko-Wołyńskim* [Getka 2009, 261]. Wraz z przyjęciem unii w Krewie więzi między Wielkim Księstwem Litewskim, a Rzeczpospolitą zacieśniły się, co zaowocowało zwiększeniem ilości leksyki pochodzącej z języka polskiego w różnych gatunkach zachodnioruskiego piśmiennictwa [Міхневіч 1994, 216]. Jak zauważają badacze, początkowo wpływom polszczyzny najbardziej poddał się język urzędowy WKL, co odzwierciedlają dokumenty pochodzące z tego okresu. Wraz z upływem czasu użycie polonizmów staje się coraz powszechniejsze w piśmiennictwie WKL [Булыка 1972, 5–6].

Wśród starobiałoruskich rękopiśmiennych zabytków znaczące miejsce zajmują latopisy, które są jednym z najstarszych gatunków literackich na gruncie wschodniosłowiańskim [Ярмоленка 2010, 140]. Tradycja latopisarstwa ma swoje początki w piśmiennictwie Rusi północno-wschodniej oraz Kijowskiej. Latopisy ruskie miały formę dorocznych zapisów, często stanowiły utwory kompilowane, w skład których mogły wchodzić fragmenty wcześniejszych latopisów oraz żywoty świętych, posłania, różnego rodzaju dokumenty. W białorusko-litewskim latopisarstwie obserwuje się stopniową ewolucję gatunku w stronę narracyjnej powieści-kroniki. Taką formę przybrał pierwszy oryginalny utwór zachodnioruskiego kronikarstwa, jakim jest *Latopis wielkich książąt*

litewskich [Чамярыцкі 1997, 9]. Istotna zmiana w porównaniu z piśmiennictwem Rusi zachodzi również w zakresie doboru materiału, w którym coraz ważniejszą rolę zaczynają odgrywać wydarzenia rozgrywające się na terytorium WKL oraz stopniowe odejście od tradycji cerkiewnosłowiańskiej poprzez wzbogacenie języka o miejscowe elementy gwarowe [Микитась 1978, 97–103; Жураўскі 1961, 106–116].

Dotychczas odnaleziono 22 białorusko-litewskie latopisy, które badacze podzielili na trzy redakcje, (tzw. своды): krótką (składającą się z ogólnoruskiej części oraz *Latopisu wielkich ksiąg litewskich*), poszerzoną (która została wzbogacona o *Kronikę Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego*, natomiast usunięto z niej część ogólnoruską) i pełną (reprezentowaną przez *Kronikę Bychowca*) [Чамярыцкі 1969, 16–17]. Częścią wspólną, zawartą we wszystkich redakcjach, jest *Latopis wielkich ksiąg litewskich*, który opisuje prawie sto lat historii WKL od śmierci Giedymina do śmierci księcia Witolda.

Przedmiotem badań w niniejszym artykule są teksty dwóch zachodnioruskich latopisów należących do różnych redakcji. Pierwszym z nich jest zaliczana do pierwszej redakcji *Kronika Supraska*. Zabytek powstał w 1519 roku, zaś odnaleziono go w 1822 roku w bibliotece supraskiego monasteru. Język zabytku wykazuje jeszcze silny związek z tradycją cerkiewnosłowiańską, zwłaszcza w ogólnoruskiej części będącej kompilacją wcześniejszych kronik ruskich. Drugim utworem, poddanym analizie jest *Latopis Krasieńskich*. Swą nazwę zawdzięcza miejscu, w którym był przechowywany do momentu zaginięcia w czasie II wojny światowej, a mianowicie Bibliotece Krasieńskich w Warszawie [Улащик 1980, 10]. Reprezentuje on drugą redakcję latopisów białorusko-litewskich. Różnica w czasie pomiędzy powstaniem obu zabytków nie jest duża, ponieważ przypuszcza się, iż *Latopis Krasieńskich* został zapisany w połowie XVI wieku [Чамярыцкі 1969, 137].

Celem badań było wyodrębnienie zapożyczeń leksykalnych z języka polskiego w analizowanych latopisach oraz prześledzenie zmian w doborze słownictwa, które nastąpiły w późniejszym chronologicznie zabytku. W związku z tym analizie zostały poddane tylko te fragmenty zabytków, które są zawarte zarówno w *Kronice Supraskiej*, jak i w *Latopisie Krasieńskich*. Są to: *Latopis wielkich ksiąg litewskich*, *Opowieść o Podolu* oraz *Pochwała Witolda*.

Wszystkie wymienione wyżej fragmenty tekstu zostały zapożyczone z pierwszej redakcji latopisów białorusko-litewskich. Jak zauważa Wiaczesław Czamiarycki, w *Latopisie Krasieńskich* zachowała się najwcześniejsza wersja drugiej redakcji. Zapożyczone fragmenty nie zostały jednak wiernie przepisane przez białoruskiego kronikarza. Uległy one znacznemu opracowaniu, wiele informacji opuszczono, niektóre miejsca w tekście zostały skrócone, inne rozbudowane. Tekst uzupełniono również niewielkimi wstawkami [Чамярыцкі 1969, 137–141].

W zakresie doboru słownictwa również są zauważalne znaczne zmiany. Nowy redaktor świadomie poprawił styl i leksykę pierwszej redakcji przybliżając ją do żywego języka białoruskiego XVI wieku [Чамярыцкі 1969, 143]. Może o tym świadczyć porównanie

odpowiednich fragmentów w obu zabytkach¹: „И с того пиру князь Скиригаило такъ поѢхаль за Днепр к Милолавичемъ и тамо **разболися**. (...) болов 7 днеи, **преставися в среду**” [S, 103] / „И с того пиру таки поехал в ловы за Днепр к Милославовичом, и там в ловех **разболелся** (...) болел же князь Скиригаило сем днеи и **вмер в среду**” [K, 81v]; „князь велики Витовт **приде** к Вилни, хотя засести, а княгиня великая **бѣ** Анна тогды у Городне” [S, 100v] / „князь Витовт **поехал** до Вилни, хотячи Вилню заѢсти, а княгиня Витовтова Анна **была** тогды в Городнѣ” [K, 79v].

Obecność zapożyczeń z języka polskiego również pełniła podobną funkcję. Z upływem czasu polszczyzna coraz silniej oddziaływała bowiem na język starobiałoruski [Булыка 1972, 5–6], co znalazło swe odzwierciedlenie w leksyce *Latopisu Krasieńskich*.

W niniejszym artykule za zapożyczenia leksykalne przyjęto uznawać wszystkie jednostki leksykalne będące rezultatem wpływu języka polskiego na badane zabytki. Termin ów obejmuje zapożyczenia leksykalne właściwe oraz kalki wyrazowe i semantyczne [Walczak 1999, 72; Karaś 1996, 47]. Za pożyczki z polszczyzny przyjęto traktować nie tylko rodzime polskie słownictwo, ale również wyrazy, które przez polskie medium przeszły do języka starobiałoruskiego (są to przeważnie słowa łacińskiego i niemieckiego pochodzenia [Огиенко 2012, 69–70]).

Największą grupę zapożyczeń wyekscerpowanych z tekstów obu latopisów stanowią **zapożyczenia leksykalne właściwe** (inaczej określane mianem formalnosemantycznych). Znacząca część tych zapożyczeń powtarza się zarówno w *Kronice Supraskiej*, jak i w *Latopisie Krasieńskich*. Poniżej zostały przytoczone wybrane przykłady zapożyczeń formalnosemantycznych wraz z ich kontekstem źródłowym zaczerpniętym z obu zabytków: (*арци*)*бискупъ* – „присла арцибискупа к Вилни” [S, 97v], „прислал арцибискуп бискупа до Вилни” [K, 78]; *гиншьть* – „учти и удари разльичными дарми: (...) и гиншьты во седлах золотых снастех” [S, 104v], „И вчтивъши его размаитыми дары (...) и гиншты в золотых седлах” [K, 82v]; *дедѢчи* – „А то си три браты, татарскыя князи, отчичи и дедѢчи Подолскои земли” [S, 104v], „А тыи тры браты, татарские князи, отчичи и дѢдичи Подолское земли были” [K, 82v]; *дорадитися* – „князи и панове и вся земля, дорадивъшися и взяша из Ляховъ Казимера королевича” [S, 84], „князи и пановѣ и вся земля, дорадившися, и взяли собѣ (...) Казимира королѣвича” [K, 90]; *копа грошеи* – „четвертка жита тогды была под две копе грошей” [S, 82v], „четвертка жита была по тры копы грошей” [K, 89v]; *зброя* – „наредилися во изброи и со луками, и со стрелами” [S, 83v], „со всим своим двором в зброях и вѣженуть в город у Вилню” [K, 74v]; *коруна* – „Князь велики Витовѣт хотель на себе положити коруну” [S, 73], „корунованъ бысть того королевства коруною” [S, 73], „хотѣл был на себе коруну взложити” [K, 85v]; *костель* – „начаша костелы ставити по всеи Литовьскои земли” [S, 97v], „почали костелы ставити по всеи земли

¹ Skróty w nawiasie oznaczają zabytek, z którego pochodzi cytat: S – *Kronika Supraska*, K – *Latopis Krasieńskich*; numeracja stron jest zgodna z numeracją przyjętą w 35 tomie *Полного собрания русских летописей*, z którego zostały zaczerpnięte oba teksty latopisów.

Литовьскои” [К, 78]; *маршалокъ* – „и маршалко прускый поидеть ратию” [S, 93], „маршалок пруский поидеть на помоч ратию к великому князю Ялгаилу” [К, 75v]; *местичи*² – „и местичи, и черныя люди целовали пана Андрѣя на всемь томъ” [S, 83], „И владыка смоленский, и князи, и бояры, и мѣстичи смоленские, и чорныи люди присягнули на томъ” [К, 89v]; *миля* – „За польтары мили от Вильни начоваль в Рудомени и поиде к городу” [S, 74v], „и соимутся на Вели воиска выше Ковна двѣ мили” [К, 76]; *мистръ* – „Сущо же ему в Нимцах в Марине городѣ в мистра” [S, 96v], „и утечеть до Немець к мистру до Марина городка” [К, 77v]; *мурованны* – „И приде ко Креиву, и стояша два дни, взяша Креиво мурованны и сожже” [S, 75], „А тогды у Подолской земли нѣ было еще ни одного города мурованого а ни деревяного” [К, 82v]; *панъ* – „корол в тые города во двадцати тысячах пану Спытку заставил” [S, 107], „пана Спытка татаровѣ убили” [К, 83v]; *пани* – „пани Спытковая стала вдовою” [S, 107v], „Ино тепер пани Спытковая вдовою zostала” [83]; *презволение* – „князь Юрѣи (...) со князя великого Олгирдивым презволениемь и с помочию” [S, 104v], „жонкам двѣма призволено было ходити до комнатъ” [К, 77]; *пѣнезь* – „еси намъ [дал]половицю Подольской земли во двадцати тысячах пѣнезехъ” [S, 107v], „даи ми половину земли Подольское в пѣнезехъ” [К, 83v]; *рада* – „Рада же литовьская великого княжения, князи и панове и вся земля, пана Долькгирда из города ис Каменца созвали на раду к собѣ и до рады не допустивши самого иняли и огърабили” [S, 108], „ляховѣ пана Довкгирда с Каменца созвали к собѣ на раду, и до рады не допустивши самого обрали и забили” [К, 84]; *скарбъ* – „не рушив есмо ни скарбов его, ни стадъ” [92], „князь великий Керстутеи отпустить его (...) со всим его скарбомъ” [К, 75]; *соимъ* – „почаль со немьци себе соимы чинити” [S, 90], „и почнет тот Воидило з немьцы соимы чинити и записыватся листы” [К, 74]; *староста* – „по всим городом подольским свои старосты осадил” [К, 83], „по всимъ городомъ князь великий Витовт свои старосты посажалъ” [S, 106v]; *стольнечьныи, столечныи* – „посадиша его со честию на стольнечьномъ граде на Вилне” [S, 84], „посадили его с честию на столечном городѣ на Вилни” [К, 90]; *учинити* – „Князю великому Кестутию велми нелюбость учиниль и жалость” [S, 90], „А князь вѣликий Витовт покору свою учинил” [К, 77v]; *чи* – „Чи лепшей датися имъ в руки” [S, 83v], „Чи лепши тобѣ датся и руки черни” [К, 89v].

Analiza obu tekstów wykazała rozszerzenie zakresu użycia przymiotnika *польский*, który stopniowo zastępował powszechny w języku staroruskim przymiotnik *лядский* [Золтан 1984, 74]. W *Kronice Supraskiej* słowo *польский* wchodzi wyłącznie w skład tytułu królewskiego, natomiast w pozostałych przypadkach tekst zabytku jest wierny staroruskiej tradycji, por.: „Князь велики Витовтъ Кестутевичъ созваша к собе короля польского Владислава” [S, 72v], „А король польский Владислав и бысть у великого князя Витовта” [S, 73] / „и сталь бы в них кролемъ во Кракове на всеи земли Лядской” [S, 97v], „а во Вилню послалъ корол старосту своего лядского” [S, 100]. Nieco inaczej przedstawia się funkcjonowanie tego przymiotnika w *Latopisie*

² Ze staropolskiego ‘mieścic’, por. [Золтан 1984, 76].

Krasińskich. W zabytku jego użycie rozszerza się na określenie państwa polskiego, por.: „И теж Ческое крoлевѣство и Угорское, и Полское вѣликую честь держали над славным господарем” [K, 86], „вѣликому князю Яггаилу, держачи ему столецъ Полского крoлевѣства” [K, 86]. W chronologicznie późniejszym zabytku dwukrotnie odnotowane zostało również zapożyczenie *поляк*, aczkolwiek przeważa użycie staroruskiego rzeczownika *ляхъ*: „приехавши, ляховѣ пана Довкгирда с Каменца созвали к собѣ на раду” [K, 84], „И на тую ж осень князь вѣликии Жикгимонт собрал силу многую литовскую и ляхи” [K, 88], „взяли собѣ з Ляхов князем вѣликим Казимира” [K, 90] / „хотѣл был на себе коруну взложити, и его неприятели поляки не перепустили ему коруны” [K, 85v], „И почали поляки слати послы” [K, 78]. Tekst *Kroniki Supraskiej* również w tym przypadku nawiązuje do staroruskiej tradycji, por.: „И начаша ляхове слати с Кракова” [S, 97], „приѣхавши ляхове, пана Дольггирда (...) созвали на раду к собѣ” [S, 108].

Porównanie odpowiednich fragmentów *Kroniki Supraskiej* oraz *Latopisu Krasińskich* pozwoliło ujawnić szereg polonizmów, które występują wyłącznie w późniejszym zabytku. Część nowych polonizmów w *Latopisie Krasińskich* pojawia się w przerezegowanych fragmentach zapożyczonych z I redakcji, które uległy rozbudowaniu:

бурсникъ – „въехал Дашко в город з бурсники своими” [K, 85v] / „Дашко со други своими веха” [S, 69v]; **Възвестоване (матки божї)** – „Того же году на Възвестоване матки божї” [K, 85] / „Тогды был Благовещение” [S, 66v]; **въмовити** – „И въмовивши то и пошли татар воевати” [K, 84] / „И поидоша татар воевати” [S, 56v]; **жолнеръ** – „а жолнеров королевых побили” [K, 85v] / „а приставов королевых и Витовтовых посеколь” [S, 69v]; **забити** – „пана Довкгирда с Каменца (...) обрали и забили, и Каменец засѣли” [K, 84] / „пана Дольггирда из города ис Каменца (...) иняли и ограбили, и Каменец засѣли” [S, 108]; **завжды** – „корол полскый Владислав завжды ему помощь давал” [K, 86] / „королу же Владиславу всегда даючи помощь” [S, 79v]; **зостати** – „пани Спытковая вдовою зостала” [K, 83v] / „а пани Спытковая стала вдовою” [S, 107v]; **зыскати** – „вѣрнулися опять у свое князство Литовское зыскавши битвы Резанское” [K, 82] / „возвратишася с побѣдою восвоися” [S, 104]; **иж** – „нѣведаючи ему того, иж таковое дѣло сталося есть” [K, 75] / „ко сыну своему гонца послеть (...) што такая дѣла сталася” [S, 91v]; **коштовныи** – „многие коштовные дары подаеть ему” [K, 82], „гостей честив и даровал размаитыми дары коштовными” [K, 86] / „И учти князя великого Витовта многими дарми” [S, 104], „ропусти князеи великих и послы царевы со многими дарми” [S, 73v]; **ланцухъ** – „иншие люди под стену головами клали, ланцухи вѣликими подимаючи хоромы” [K, 78] / „Сбираху и запираху во избыах и зажигаху, а другии велики храмы очепы подимаху” [S, 98]; **месциане** – „намовил месциан виленских” [K, 75v] / „наговориль местить великих” [S, 93]; **мешкати** – „Князю вѣликому пак Витовту, там мѣшкаючи в Нѣмцах” [K, 77v], „И мешкали вси тыи гости” [K, 86], „Там князь вѣликии мешкал у Киевѣ” [K, 87] / „Сущо же ему в Нимцах в Марине городѣ” [S, 96v], „тыи короли и велици князи и послы быша у великого князя Витовта” [S, 73]; **мокрость** ‘słota’ – „в тот час вѣлика

мокрость дождю падеть на землю” [К, 88v] / „И божиим повеление паде на землю моча велика” [S, 76]; **(з)мувовати** – „тыи княжата, розсекши лѣс, на том мѣсте город змуровали Камень, а с того вси Подолекие муровали” [К, 83]; **намовити** – „намовил месщан виленских” [К, 75v] / „а наговориль местить великих” [S, 93]; **на тых мѣст** – „на тых мѣст князь великий Ягаило дасть правду князю великому Керстуты” [К, 75], „на тых мѣст вѣрнулся до Киева” [К, 81v] / „князь великий Ягаило великому Витовту (...) што николи противу его не стояти” [S, 92], „вхав город во Киев болень, болев 7 дней” [S, 103]; **отчизна** – „князь великий Витовт собрал свою рать своее отчизны” [К, 76]; **поспол** – „Как полки поспол ступилися и начнуть битву” [К, 79], „И поступили воиска поспол” [К, 79v] / „Яко иступишася полци” [S, 99v], „И ступивѣшимся полком” [S, 101]; **препросити** – „князь вѣликий Ягаило препросит князя вѣликого Витовта” [К, 77v] / „князь велики Ягаило, перезвав его со Немець, и даль ему Луческъ” [S, 97]; **присяга** – „присягу межи собою на том дали” [К, 73v], „присягу свою переступили” [К, 89v] / „правду межи себе на томъ дали” [S, 89], „целование переступили” [S, 83v]; **присягнути** – „чорный люди присягнули на томъ” [К, 89v] / „черныя люди целовали пана Андрѣя на всемъ томъ” [S, 83]; **призволено** – „жонкам двѣма призволено было ходити до комнать” [К, 77] / „жонце двѣ ходили (...) в камнату” [S, 96]; **приянь** – „Тогда пак князь Януш мазовецький, забывши добра и приязни тѣтя своего” [К, 76], „тогда тые княжата Корятовичи (...) вошли у приязнь со атаманы” [К, 82v] / „Князь пакъ Янушь, зять его, забыв добра приде князю великому Ягаилу” [S, 93v]; **слонце** – „слонце потемнѣло, страх был вѣликий на землю Рускую” [К, 85]; **статки** ‘*rzeczy*’ – „отпустить его (...) со всеми статки” [К, 75] / „отпусти его (...) со всемъ его” [S, 92v]; **столець** – „держачи ему столець Полского королевства” [К, 86] / „держачи стол Краковского королевства” [S, 79v]; **теж** – „тому теж с ним (...) живучи” [К, 86] / „тому с ним (...) живуци” [S, 79v]; „учини теж мнѣ честь” [К, 83v] / „учини ми тую честь” [S, 107]; **шлюбу** – „не хотячи оставити шлюбу брата своего” [К, 74] / „не остави брата своего” [S, 89v].

Staroruskiemu obrzędowi *крестного целования* przeciwstawia się pojęcie *присяга*, które można traktować jako egzotyzm służący do nominacji zachodnioeuropejskiego zwyczaju. Jak zauważają badacze [Золтан 1984, 104–105] słowa ‘*przysięga, przysięgać / przysięc*’ były bardzo powszechne w staropolskich zabytkach końca XIV – XV wieku i pod wpływem języka polskiego zastąpiły *крестное целование* [Kochman, Sznigier 1984, 95–104]. W *Kronice Supraskiej* przy opisie epizodów rozgrywających się w Smoleńsku konsekwentnie stosowane jest pojęcie *крестное целование*, por.: „переступив крестное целование” [S, 99v], „поча приводити ко целованию смольнянь” [S, 83], „владыка смоленский Семион (...) целовали пана Андрѣя на всемъ томъ” [S, 83], „в среду здумаша смольняне, (...) пана Андрѣя согнати силою с города, а целование переступили” [S, 83v]. Pojęcie *крестное целование* jest zastąpione słowem *правда* we wszystkich fragmentach odnoszących się do ksiąg litewskich, por.: „великий Ягаило правду наборзде загубиль” [S, 93], „князь Скиригаило такожъ правду дал великому

князю Витовту” [S, 94v], „обадва поЃде в рать ко Яглу³, надияся на тьи правды. Князь же великий Ягаило переступил” [S, 95v]. W analogicznych fragmentach *Latopisu Krasin'skich* wszędzie pojawia się słowo *присяга*: „а он с нами в докончани будучи и в присязѢ, и переступил свою присягу” [K, 78v], „почал смолян приводити к присязе” [K, 89v], „владыка смоленский (...) присягнули на том” [K, 89v], „здумали чорныйи люди смоляне (...) пана АндрѢя сослати силою з города, а присягу свою переступили” [K, 89v] / „князь великий Ягаило (...) наборздеи присяги своее забыл” [K, 75v], „князь Скиргаило присягу дал князю великому Витовту” [K, 76v].

Wszystkie zapożyczenia zgromadzone na postawie analizy fragmentów tekstów *Kroniki Supraskiej* i *Latopisu Krasin'skich* można podzielić, w zależności od znaczenia, na kilka grup semantycznych. Do najliczniejszych należą:

1. Nazwy czynności i procesów: *дорадитися, въмовити, забити, зостати, зыскати, мешкати, намовити, препросити, присягнути, учинити*.
2. Słownictwo określające osoby ze względu na pełnioną funkcję, przynależność do danej grupy społecznej: *бурникъ, дедичъ, жолнеръ, маршалокъ, местичи (месциане), мистръ, панъ, пани, поляк, староста*.
3. Leksyka związana z funkcjonowaniem państwa: *грошь, коруна, отчизна, пѢнезь, рада литовская, столечныйи, столецъ, соимъ*.
4. Terminologia chrześcijańska: *арцибискупъ, бискупъ, Възвестоване матки божи, костель*.

Pod względem przynależności do części mowy najbardziej reprezentatywną grupę wśród zapożyczeń formalnosemantycznych stanowią rzeczowniki, co potwierdza ustalenia badaczy języka zajmujących się tym zagadnieniem [Баханькоў, Жураўскі, Суднік 1970, 92; Karaś 1996, 330]. Znacznie mniejszą liczebność wykazują czasowniki i przymiotniki. W analizowanych zabytkach odnotowano również jednostkowe przykłady imiesłów, przysłówków i przyimków.

Kolejną grupą zapożyczeń wyekscerpowanych z latopisów są **kalki wyrazowe (semantyczne)**. W rezultacie semantycznego kalkowania zapożycza się jedynie leksykalne znaczenie, które zostaje przykazane za pomocą rodzimego wyrazu. Prowadzi to do rozszerzenia zakresu znaczeniowego danego słowa w języku przyjmującym [Гарбунь 2009, 41–42; Karaś 1996, 55]. Temu zjawisku sprzyja bliskość obu języków oraz posiadanie wspólnego zasobu słownictwa prasłowiańskiego niejednokrotnie cechującego się rozbieżnością znaczeń. Jednocześnie owa bliskość języków utrudnia rozpoznanie kalk semantycznych [Citko 2010, 17; Witkowski 1992, 264].

Oba teksty dokumentują niewielką ilość kalk semantycznych. Należy zauważyć, iż w późniejszym *Latopisie Krasin'skich* odnotowano więcej przykładów tego rodzaju zapożyczeń: *жаденъ* – „сынов у него жадного нѢ было, толко одна дочка была у него, на имя Ядвига” [K, 77v] / „сынов в него не было, толко одна дочка, именем Ядвига” [S, 97]; *листъ* – „почнет [...] записыватся листы а стояти противку князя великого Керстуя” [K, 74], „писал лист до брата своего” [K, 81]; *мѢсто*

³ Tak w rękopisie.

– „гдѢ тепер Каменецкое мѣсто лѣжить” [К, 83], „оттолѣ поидеть Швитригаило к Жеславлю, и Жеславля одного дня добыл, и мѣсто зжог” [К, 88], „князь Андрѣи полоцькыи приде (...) на Литовску землю и повоевал, пожъже много мѣсть и сел” [S, 98]; **поняти** (pol. ‘pojąć za żonę’) – „понял бы у них королевну Ядвигу собѣ жоною” [К, 78], „понял за себѣ королевую” [К, 78], „поняль за себе кролевну Ядвигу, и корунованъ бысть того королевства коруною” [S, 97v]; **речь** (pol. ‘rzecz’) – „на день выходило им оброку по пятисот бочок меду а по пятисот яловищ (...) а инших рѣчей личбы нѣтъ” [К, 86].

Ciekawie przedstawia się w obu zabytkach użycie zapożyczenia *листь*. Zauważalne jest przeciwstawienie sobie wschodniosłowiańskiego pojęcia *грамота* dla oznaczenia oficjalnych dokumentów w *Kronice Supraskiej* oraz jego polskiego ekwiwalentu konsekwentnie stosowanego w *Latopisie Krasińskich*: „з немъцы соимы чинити и записыватся листы а стояти противку князя великого Керсутя” [К, 74] / „почаль со немъци собе соимы чинити и записыватися грамотами противу великого князя Кестутя” [S, 90], „Ты мнѣ не вѣрил, о се тыи листы, што записалися немцы на нас с князем Ялгаилом” [К, 75] / „Ты мнѣ не вѣриль, а се тые грамоты, записалися были на нас” [S, 92], „тыи листы найдеть у него, што з немцы ся записал” [К, 74v] / „грамоты и надеть, што з немъци записался” [S, 91v]. Така zamiana leksyki w odpowiednich fragmentach *Latopisu Krasińskich* może świadczyć o silniejszym zakorzenieniu się słowa *листь* w zasobie XVI-wiecznego słownictwa języka białoruskiego. *Kronika Supraska* odnotowuje obecność tego zapożyczenia wyłącznie w zwrocie *кклеитовный листъ*; w jednym przypadku tylko kontekst wskazuje na znaczenie ‘list żelazny’: „он прислал к князю Костентину кклеитовный листы, со великою твердостью и прося его, штобы к нему приѣхаль” [105v], „князь Костентин на клегиитовных листех к польскому королю Ђздил” [105v] (...) и опять на тых же листѣх отехал до Подольской земли” [106].

Ostatnim rozpatrywanym rodzajem zapożyczeń z języka polskiego są kalki **strukturalne frazeologiczne**. Powstają one w wyniku kopiowania morfologicznej struktury polskich jednostek leksykalnych, w których elementy składowe języka-dawcy zostały zastąpione białoruskimi [Karaś 1996, 55]. W porównaniu z kalkami semantycznymi zabytki dokumentują większą liczbę tego rodzaju zapożyczeń. Są to następujące zwroty:

быти в послушенствѣ – ‘być posłusznym’ [Maýenowa, Pełowski 2000 t. XXVIII, 54] – „князь Корибут Олкгирдович нѣшто почнѣтъ на то радити и не в послушенствѣ быти у князя вѣликого Витовта” [К, 80v], „Одоевские князи у великом послушенствѣ были у вѣликого князя Витовта” [К, 86v]; **братъ присягу** – ‘odbierać przysięgę, być obecnym przy przysiędze’ [Urbańczyk 1975 t.VII, 348] – „князь великыи Витовт отказал: Присягу у вас беру” [К, 76v]; **гнѣв мѣвати** – ‘mieć gniew’ (na kogo, na co?) [Maýenowa, Pełowski 1973 t. VII, 454–455] – „князь вѣликыи Витовт, на которую землю гнѣв мѣвал” [К, 86]; **до живота** – ‘do żywota’ do śmierci, dożywotnio [Reczek 1968, 677; Linde 1860 t. 6, 1214] – „были и до живота своего в тои правде” [S, 89], „были в тои справедливости, оли ж до живота своего” [К, 73v]; **личбы нѣтъ** – ‘Liczby nie masz, nie było’ [Maýenowa, Pełowski 1979 t. XII,

237], zwrot „liczby nie mie(wa)ć” – „на день выходило им оброку по пятисот бочок меду (...) а инших рѣчей личбы нѣт” [K, 86]; *на имя* – „только одна дочка была у него, на имя Ядвига” [K, 77v]; *побити на голову* – ‘pobić na głowę’ zwyciężyć – „побили москвич наголову” [K, 90v]; *покоры учинити* – ‘pokoę uczynić’ [Maeyenowa, Replowski 1998 t. XXVI, 355] – „не всхоте покоры учинити и челомъ ударити великому князю Витовту” [S, 102]; *порану* – wgr. przyimkowe „po ranu” – ‘przed południem, rankiem, rano, w porze porannej’ [Maeyenowa, Replowski 1997 t. XXV, 64] – „потом князь вѣликий Витовт пришел под Каменецъ и начовал, и порану Каменца добыл” [K, 83]; *учинити честь* – ‘cześć uczynić’ [Maeyenowa, Replowski 1967 t. IV, 153] – „учини ми тую честь, даи ми Подольскую землю” [S, 107]; „учини теж мнѣ честь” [K, 83v].

Oba zabytki dokumentują również obecność zapożyczonej z języka polskiego konstrukcji składniowej z przyimkiem *do* + dopełniacz w funkcji okolicznika miejsca. Konstrukcja ta jest niezwykle produktywna w *Latopisie Krasieńskich*, por.: „за один день приженеть з **Городна до Вилни до отца своего**” [K, 75] / „за одинь день приженеть из **Городна ко отцю своему**” [S, 92], „утечеть до **Немецъ**” [K, 77v] / „утечеть во **Немьци**” [S, 96v], „вѣрнулся до **Киева** нѣмоцон” [K, 81v] / „вха в **город во Киев** болень” [S, 103]. Powyższe cytaty potwierdzają zamianę wschodniosłowiańskich konstrukcji *v* + *biernik* oraz *κ* + *celownik* wyekscerpowanych z *Kroniki Supraskiej* ich polskim odpowiednikiem we fragmentach pochodzących z *Latopisu Krasieńskich*.

Analiza zapożyczeń leksykalnych w tekstach dwóch zachodnioruskich latopisów wykazała, iż w późniejszym zabytku powstałym w połowie XVI wieku wpływ języka polskiego zaznacza się zdecydowanie wyraźniej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż autor II redakcji świadomie wprowadził zmiany w leksyce i stylu fragmentów zapożyczonych z I redakcji latopisów, tym samym dostosowując je do ówczesnego języka białoruskiego. W analizowanych zabytkach (znacznie intensywniej w *Latopisie Krasieńskich*) polonizmy niejednokrotnie zastępują rodzimą leksykę wschodniosłowiańską, co może wynikać również z indywidualnych cech językowych kronikarza. Dwujęzyczność redaktora latopisu mogła sprzyjać przenoszeniu nawyków myślowych z jednego języka na drugi, czego rezultatem było zwiększenie udziału zapożyczeń [Citko 2010, 20]. Kolejną, równie ważną przyczyną obecności zapożyczeń leksykalnych, była potrzeba nominacji nowych przedmiotów, zjawisk, realiów, które nie posiadały do tej pory swoich określeń w językach wschodniosłowiańskich.

Wśród udokumentowanych w zabytkach pożyczek leksykalnych najliczniejszą grupę stanowią zapożyczenia formalnosemantyczne. Kalki strukturalne i semantyczne znajdują swe poświadczenie w mniejszej ilości przykładów, aczkolwiek należy podkreślić zdecydowany wzrost ich udziału w *Latopisie Krasieńskich*. Jak zauważają badacze [Karaś 1996, 330], to właśnie kalki są przejawem głębszego wzajemnego oddziaływania języków. W porównaniu do *Kroniki Supraskiej* znajdującej się jeszcze pod znacznym wpływem tradycji staro-cerkiewno-słowiańskiej, leksyka *Latopisu Krasieńskich* poświadcza rozwój coraz silniejszej w języku starobiałoruskim tendencji sięgania do zasobu słownikowego polszczyzny.

Bibliografia

- Citko L., 2010, *O zapożyczeniach leksykalnych z polszczyzny w języku latopisów starobiałoruskich* // Białostockie Archiwum Językowe, Nr 10, Białystok, 11–22.
- Getka J., 2009, *Prosta mowa końca XVIII wieku. Język „Nauk parafialnych” (Początek 1794)*, Warszawa.
- Karaś H., 1996, *Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów*, Warszawa.
- Kochman S., Sznięgiez Cz., 1984, *Czy ros. przysiąga jest polonizmem?*, Uniwersytet Gdański: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego: Filologia rosyjska, T. 12, Gdańsk, 95–104.
- Walczak B., 1999, *Zapożyczenia leksykalne: teoria i metodologia badań*, Polszczyzna północno-wschodnia, T. 2., Białystok.
- Witkowski W., 1992, *Rosyjskie zapożyczenia semantyczne z języka polskiego*, Z polskich studiów slawistycznych, Seria VII, Warszawa, 263–270.
- Баханькоў А.Я., Жураўскі А.І., Суднік М.Р., 1970, *Гістарычная лексікалогія беларускай мовы*, Мінск.
- Булька А.М., 1972, *Даўнія запазычаныя беларускай мовы*, Мінск.
- Гарбунь Л., 2009, *Семантические полонизмы в русском приказном языке первой половины XVIII века* (rozprawa habilitacyjna), Вильнюс.
- Жураўскі А.І., 1961, *Да пытання аб асноўных тыпах старажытнай беларускай літаратурнай мовы*, „Працы Інстытута АН БССР”, Мінск, 106–116.
- Золтан А., 1984, *Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV в.* (rozprawa doktorska), Москва.
- Микитась В.Л., *Західноруські, або литовсько-руські, літописи* [витяг з підручника: М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом, 1978, *Давня українська література*, Київ, 97–103]; www.litopys.org.ua/psrl3235/lytov34.htm [17.10.2014].
- Огиенко И.И., 2012, *Иноязычные элементы в русском языке*, Москва.
- Улащик Н.Н. (ред.), 1980, *Полное собрание русских летописей*, XXXV т., Москва.
- Чамярыцкі В.А., 1997, *Беларускія летапісы і хронікі*, Мінск.
- Чамярыцкі В.А., 1969, *Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў*, Мінск.
- Ярмоленка Э.В., 2010, *Лексічныя асаблівасці Слуцкага летапісу* // *Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць*, ред. Прыгодзіч М.Р., Мінск, 140–145.
- Беларуская мова. Эцыклапедыя*, 1994, рэд. Міхневіч А.Я., Мінск.
- Słowniki**
- Булька А.М., 1993, *Слоўнік ініцамоўных слоў*, Мінск.
- Гістарычны слоўнік беларускай мовы*, 1982, Т. 1–29, Мінск.
- Фасмер М., 1986, *Этимологический словарь русского языка*, Т. 1–4, Москва.
- Цыганенко Г.П., 1989, *Этимологический словарь русского языка*, Киев, Издательство «Радянська школа».
- Черных П.Я., 1999, *Историко-этимологический словарь современного русского языка*, Т. 1–2, Москва.
- Шанский Н.М., 1963, *Этимологический словарь русского языка*, Т. 1., Вып. 1, Москва, Издательство Московского университета.
- Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В., 1971, *Краткий этимологический словарь русского языка*, Москва.
- Шапошников А.К., 2010, *Этимологический словарь современного русского языка. В двух томах*, Москва.
- Boryś W., 2005, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków.

- Brückner A., 1927, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków.
- Linde S.B., 1860, *Słownik języka polskiego*, T. 6, Lwów.
- Reczek S., 1968, *Podręczny słownik dawnej polszczyzny*, Wrocław-Warszawa-Kraków.
- Słownik polszczyzny XVI w.*, 1966 i nast., red. Mayenowa M.R., Peplowski F., T. I-XXVIII , Wrocław.
- Urbańczyk S. (red.), 1975, *Słownik staropolski*, t. VII, z. 5 (45), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Summary

LEXICAL POLONISMS IN SELECTED BELORUSSIAN-LITHUANIAN CHRONICLES

This article focuses on the analysis of lexical borrowings from the Polish language occurring in two Western-Ruthenian chronicles: the first Belorussian-Lithuanian compilation the Supraśl Chronicle and the Krasieńskis Chronicle, which researchers classify as the second Belorussian-Lithuanian compilation. In the article formal-semantic borrowings have been analyzed as well as semantic and structural calques. The comparison of excerpts from both texts has revealed that the Polish language had more influence over the lexis of the Krasieńskis Chronicle.

Tamara Graczykowska

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UWAGI O JĘZYKU PROPAGANDY POLITYCZNEJ W PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ WYDAWANEJ W ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PRZYKŁADZIE „TRYBUNY RADZIECKIEJ”)

Key words: propaganda, the Polish press, the interwar period, Moscow

Punktem wyjścia do rozważań był artykuł prof. J. Bralczyka *O języku polskiej propagandy politycznej*¹, który dotyczył polszczyzny okresu powojennego i kształtowania się specyficznego języka propagandy politycznej (przy czym analiza opierała się głównie na zjawiskach leksykalnych oraz – w mniejszym stopniu – fleksyjnych).

Niektóre cechy przekazów propagandowych przedstawione w/w artykule nasunęły mi pewne skojarzenia z językiem polskojęzycznej prasy wydawanej w dwudziestoleciu międzywojennym w Rosji radzieckiej, a szczególnie z polszczyzną „Trybuny Radzieckiej”, która ukazywała się w Moskwie w latach 1927–1938.

W niniejszym artykule chciałabym porównać wybrane cechy języka powojennych gazet wydawanych w Polsce, na podstawie danych zawartych w tekście J. Bralczyka z 1986 r. (materiał ten sygnuję literą B i podaję stronę) oraz późniejszej publikacji z 2007 r.² (materiał ten sygnuję literą Br i podaję stronę) z językiem „Trybuny Radzieckiej” wydawanej w Moskwie (materiał językowy pochodzący z „Trybuny Radzieckiej” opatruję dokładną lokalizacją).

Jak zauważa J. Bralczyk, „Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych kształtował się już pewien typ języka propagandy politycznej (z wyraźnymi wpływami radzieckimi), typ szczególnie obfitujący w sformułowania ostre i jednoznaczne, nieco może zbyt krańcowo ujmujące wiele zjawisk politycznych” [Bralczyk 1986, 347].

Jak kształtowała się sytuacja językowa w Rosji radzieckiej we wczesnym okresie porewolucyjnym? Czy w prasie polskojęzycznej w ZSRR (na przykładzie „Trybuny

¹ Bralczyk 1986.

² *O języku propagandy i polityki*.

Radzieckiej”) w dwudziestoleciu międzywojennym są również widoczne wpływy radzieckie?

Aby odpowiedzieć na te pytania i pokazać język propagandy politycznej, chciałabym w ogólnym zarysie przedstawić sytuację Polonii w ZSRR w okresie międzywojennym.

Wobec ludności polskiej stosowano założenia tzw. leninowskiej polityki narodowościowej, tzw. autochtonizacji, polegającej na wychowaniu radzieckiego patriotę mówiącego językiem narodowym. Została ona uchwalona w 1921 r. na X Zjeździe RKP (b) [Gregorowicz 1996, 591]. W ramach polityki narodowościowej władze radzieckie planowały przyznanie narodom nierosyjskim szerokich praw językowych i kulturalno-oświatowych [Patek 2001, 297].

W 1924 r. powstały pierwsze rady narodowościowe na Ukrainie i Białorusi. Ponieważ były one wrogie polskiej tożsamości narodowej, w ich skład wchodziła mniej niż jedna trzecia ogółu Polaków zamieszkujących dany rejon [Patek 2001, 297]. Polskie rady wiejskie zakładano tam, gdzie mieszkało więcej niż 500 Polaków. W radach tych obsługiwano ludność polską w języku ojczystym [Szydłowska-Ceglowa 1997, 252–254]³.

Należy podkreślić, że autonomia nie miała zabezpieczać interesów Polonii, a jedynie stworzyć instytucje, które będą polskim odcinkiem międzynarodowego frontu walki klas (autonomia miała być „narodowa w formie, a klasowa w treści”) [Lizak 1990, 15].

We wrześniu 1925 r. powołano pierwszy polski rejon narodowościowy im. J. Marchlewskiego, tzw. Marchlewszczyznę na Ukrainie, a w roku 1932 drugi rejon im. F. Dzierżyńskiego – tzw. Dzierżyńszczyznę na Białorusi [Lizak 1990, 15].

Dzięki autonomii nastąpił rozwój szkolnictwa i oświaty. Rozbudowywano sieć polskich szkół podstawowych⁴. Język polski był językiem urzędowym w administracji, milicji, sądownictwie, organizacjach partyjnych i społecznych [Szydłowska-Ceglowa 1997, 252–254]. W ramach autonomii działało również polskojęzyczne sądownictwo⁵, rozwijała się polska prasa⁶, wydawano polskie książki⁷.

Plany radzieckiego eksperymentu polonijnego w pewnym stopniu odnosiły się również do ośrodków miejskich. Największym miejskim skupiskiem polonijnym w okresie międzywojennym był Leningrad. Jednak ze względu na nikły udział inteligencji wśród mieszkających tu Polaków (większość wyjechała do Polski) oraz brak poparcia ze strony władz radzieckich, Leningrad utracił swoją pozycję lidera. Kolejnym ośrodkiem

³ Polskie rady wiejskie zostały stworzone po to, jak pisze M. Iwanow, aby przekonać Polaków, że nie każda „rosyjska” władza jest wrogiem, a dawna polityka rusyfikacyjna caratu już nie istnieje. Dlatego władze terenowe miały m.in. zwracać się do chłopów-Polaków w języku polskim [Iwanow 1991, 138].

⁴ Na Ukrainie było 89 szkół polskich z 289 nauczycielami i 83 polskie czytelnie. Funkcjonowało 85 punktów likwidacji niepiśmienności [Iwanow 1991, 125]. Wyższe wykształcenie można było zdobyć w Polskim Instytucie Wychowania Społecznego w Kijowie, w Polskim Instytucie Pedagogicznym w Mińsku i w Polskim Technikum Pedagogicznym w Leningradzie. Polacy studiowali również na Polskim Wydziale Komunistycznego Uniwersytetu Mniejszości Narodowych Zachodu, gdzie wykładali czołowi polscy komuniści (m.in. J. Marchlewski, J. Leszczyński-Leński, S. Bobiński) [Szydłowska-Ceglowa 1997, 252–254].

⁵ Pod koniec lat 20. w ZSRR funkcjonowało 10 takich sądów, z czego 7 na Ukrainie i 3 na Białorusi [Patek 2001, 298].

⁶ O prasie polskiej i centralnej gazecie „Trybunie Radzieckiej” zob.: [Graczykowska 2008, 137–142].

⁷ Szerzej o polskiej działalności wydawniczej w ZSRR w okresie międzywojennym zob.: [Stępień 1973, 244–257].

miejskim była Moskwa. W drugiej połowie lat 20. działało tam Biuro Polskie KC WKP(b). W latach 30. rola ośrodka moskiewskiego została stopniowo ograniczona [Paczkowski 1977, 129], a kierownictwo prac polonijnych przeniesiono do Kijowa i Mińska [Iwanow 1991, 152].

Należy podkreślić, że zarówno polskie szkolnictwo, sądownictwo oraz wszelkie organizacje społeczno-kulturalne podporządkowane były partii bolszewickiej. Nadrzędnym celem ich działalności było propagowanie wśród Polaków poglądów i postaw całkowicie negujących polskie wartości, kształtujących niechęć do religii. Prowadziło to do wynaradawiania i sowietyzacji ludności polskiej ZSRR [Patek 2001, 298].

Radziecki eksperyment polonijny miał doprowadzić do wychowania idealnego radzieckiego Polaka – mówiącego po polsku obywatela ZSRR, radzieckiego patriotę przesiąkniętego nienawiścią do swojej historycznej ojczyzny [Iwanow 1999, 26]. W przyszłości charakter jego związków z krajem miał być uzależniony od przemian ustrojowych, które miały się dokonać w Polsce (miała się ona stać państwem socjalistycznym) [Sierocka 1966, 11–12].

Jak słusznie zauważyła J. Mędelska, „Niewątpliwie gest ten [autonomia] miał ułatwić nowej władzy indoktrynację polityczno-ideologiczną rzesz nierosyjskiej ludności ZSRR, niemniej rzeczywistość stwarzała pewne możliwości rozwijania ojczystej kultury i języka, których nie można było zaprzepaścić” [Mędelska 2008, 277]⁸.

Język polski, którym posługiwali się Polacy mieszkający w Rosji radzieckiej w dwudziestoleciu międzywojennym, nie był tworem jednolitym.

We wczesnym okresie porewolucyjnym z jednej strony kształtowała się polszczyzna mówiona, w której występowała znaczna liczba rusycyzmów (głównie były to cytaty, kalki semantyczne oraz słowotwórcze). Była ona w powszechnym użyciu, przenikała do masowo wydawanych druków, materiałów propagandowych, broszur. Z drugiej strony powstawał specyficzny język polski, którym posługiwali się głównie komuniści stanowiący kadrę kierowniczą Polonii radzieckiej⁹. Był to język bardziej staranny, w którym unikano m.in. wyrazów obcego pochodzenia, rusycyzmów niebędących sowietyzmami. Z założenia miał być to język ogólnopolski, jednocześnie ściśle odwzorowujący radziecki język rosyjski. Najpierw przenikał on do bardziej prestiżowych polskich wydawnictw radzieckich, np. „Kultury Mas” (w redakcji był m.in. B. Jasiński, T. Dąbał), używała go polska inteligencja komunistyczna na zebraniach partyjnych, zjazdach, akademiach. Z czasem język ten objął swym zasięgiem całą prasę polskojęzyczną, wydawnictwa książkowe itd. [Mędelska 2008, 278]¹⁰.

Niewątpliwie taka polszczyzna występuje w „Trybunie Radzieckiej”, centralnej gazecie polskiej wydawanej w ZSRR w okresie międzywojennym. Pierwszy jej numer ukazał się w 17 kwietnia 1927 r., ostatni – w październiku 1938 r. Był to „Tygodnik

⁸ Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że część ludności pochodzenia polskiego była niepiśmienna, zob.: [Sierocka 1963, 12].

⁹ Choć była ona nieliczna (ok. 12 tys. osób), okazała się bardzo aktywna politycznie, zob.: [Ruchniewicz 2004, 508].

¹⁰ Zob. też: [Graczykowska 2007; Graczykowska 2009].

Ilustrowany, Społeczny, Polityczny i Literacki”, początkowo organ Centralnego Biura Polskiego przy KC WKP(b)¹¹. W pierwszym numerze pisma pisano:

„Redakcja (...) będzie dążyć bodajby do częściowego urzeczywistnienia nauki Lenina o zadaniach prasy proletariackiej. Główne zadanie «Trybuny Radzieckiej» – to wychowanie szerokiego polskiego aktywu. «Trybuna Radziecka» będzie zmierzać do tego, aby stać się organizatorem i drogowskazem tego aktywu w jego żmudnej i codziennej pracy nad budową nowego życia wśród ludności polskiej Związku Republik Radzieckich, nowego życia opartego na podstawach socjalistycznych. «Trybuna Radziecka» będzie przed wszystkim zwracać uwagę na rozwój pracy Biur Polskich partyjnych i oświatowych, zwłaszcza na Ukrainie i Białorusi Radzieckiej” [„Trybuna Radziecka” 1927, nr 1, 1].

Już w 1997 r. Barbara Szydłowska-Ceglowa zaapelowała, aby dotrzeć do prasy polskiej wydawanej w Rosji radzieckiej, materiałów propagandowych i okolicznościowych oraz wszelkich prac ukazujących się w tamtym okresie. Dzięki analizie tych źródeł można byłoby opracować słownik nowomowy, poprzednika tej, której używały władze PRL. „Jest to osobliwy fragment historii języka polskiego”, a jego zbadanie jest ważne „dla dziejów polszczyzny w specyficznych warunkach – w kraju totalitarnej władzy rozciągniętej na wszystkie dziedziny kultur narodowych podległych jej nacji” [Szydłowska-Ceglowa 1997, 258].

Chciałabym teraz przejść do analizy materiału językowego wyekscerpowanego z „Trybuny Radzieckiej” i porównania go z przykładami języka tekstów propagandowych z powojennej prasy polskiej.

Propaganda jest specyficznym przekazem, który kreuje pewien świat – zazwyczaj inny od realnie istniejącego. Przy czym jest to świat, w którym podkreślane są następujące cechy: ważność, powszechność, bliskość, konieczność, słuszność, spójność, postęp i trwałość, tworzące określony system wartości (Br 87). Są one realizowane za pomocą wypracowanych formuł, określonego doboru słownictwa (np. słowa-klucze), sloganów oraz form gramatycznych.

Jak było powiedziane wyżej, jedną z cech propagandy powojennej jest prezentowane zjawisk o walorze powszechności. Kategoria ta realizowana jest poprzez użycie określonych przymiotników (np. *każdy, wszystkich, wszelki, cały, pełny, powszechny, najpowszechniejszy, szeroki, szerszy, coraz szerszy, ogólnonarodowy, gremialny; wszechstronny, kompleksowy, jednolity*), rzeczowników (np. *miliony, rzesze, masy, szeregi, wiele*) czy czasowników (np. *upowszechnić*) (Br 142), które zawsze mają pozytywną konotację (por.: *powszechny zasięg, najszersze kręgi*). Te same wartości są akcentowane w wyrażeniach: *sprawa ogółu, cele ogólnonarodowe, całe społeczeństwo, cały naród, szerokie rzesze* (B 340). Według J. Bralczyka, wyraz *każdy* apeluje do jednostki i wprowadza proces identyfikacji, wyraz *wszyscy* odwołuje się do silniej zarysowanej już więzi duchowej,

¹¹ Od roku 1928 był to „Tygodnik Robotniczy”, organ Biura Polskiego Wydziału Agitacji, Propagandy i Prasy przy KC WKP (b). Od roku 1929 – „Gazeta Robotnicza”, organ Biura Polskiego Wydziału Agitacji, Propagandy i Prasy przy KC WKP (b). Od 1930 roku – „Gazeta Robotnicza”. Od roku 1931 – „Gazeta Robotnicza”, wydawnictwa „Prawdy”, organu KC WKP (b). Od 1931 roku, numeru 82 – „Gazeta Codzienna”, wydawnictwa „Prawdy”, organu KC WKP (b). Od 1934 roku – „Centralna Polska Gazeta Codzienna”, a od 1935 roku – „Centralna Gazeta Polska” [Sierocka 1968, 51].

a słowo *cały* mówi wręcz o jedności (Br 145). W „Trybunie Radzieckiej” konteksty z przymiotnikiem *powszechny, szeroki, każdy, wszystek i cały* pojawiają się bardzo często, por.: *Powszechne nauczanie ogarnęło wszystkie dzieci* – 32/7/1¹²; *Wygłosić referat (...) o konieczności powszechnego szczepienia przeciwko (...) dżumie* – 29/52/1; *nasz aktyw młodzieniarSKI ma szerokie pole działalności* – 27/20/2; *rozwinąć szeroką kampanję o stalinowski nabór siły roboczej* – 31/108/2; *owoce mojej pracy idą na rzecz szerokich mas* – 34/218/2; *To agrominimum musi poznać każdy kolektywNIK* – 31/173/3; *Każdy wyborca otrzyma dwa biuletyny* – 37/158/2; *Każdy brygadjer powinien zebrać przynajmniej 50 propozycji robotniczych* – 30/35/1; *każdy komsomolec wziął na siebie zobowiązanie nauczania trzech niepiśmiennych* – 29/1/4; *każdy pełnomocnik powinien (...) znać każdego aktywistę, parobka i niezamożnika* – 28/25/3; *Wszyscy robotnicy zdali egzamina na techminimum* – 38/50/3; *Niemal wszyscy jednostkowcy zakończyli siew kultur nadwczesnych* – 33/119/2; *Wszyscy czerwoarmieści (...) podpisali się na pożyczkę „Pięciolatka w 4 lata”* – 30/99/2; *cały system społeczności radzieckiej jest szeroką, rozwiniętą formą kontroli robotniczej* – 28/32/5; *Zwancewa zna cały nasz kraj* – 37/126/3.

Powszechność ukazywana jest w „Trybunie Radzieckiej” również poprzez stosowanie wyrazów *masy, masowy*, por.: *Masy pracujące oczekuje okres najstraszniejszych cierpień* – 27/6/9; *pracujące masy wiejskie* – 31/67/4; *Markso-leninowskie wychowanie masy partyjnej jest hasłem trzecim* – 32/7/1; *W imieniu wielotysięcznych mas czytelników – gorące pozdrowienie (...) politpracownikom* – 30/104/1 oraz *Związek Radziecki otrzyma pierwszy na świecie nadszybki masowy transport kolejowy* – 33/232/3; *sport paraszutyStyczny przekształcił się u nas w masowy sport młodzieży* – 34/191/2; *urządzamy masowy pochód na 100 składanych bajdarkach* – 38/58/3. Obok nich mogą występować jeszcze wyrazy *miliony, szeregi*, które pozytywnie określają liczebność zbiorowości (Br 148), por.: *Miljony młodzieży robotniczej (...) studjują w wieczorowych wyższych uczelniach* – 37/121/2; *Wokół masy bolszewickiej grupują się miliony robwiejskorów* – 32/103/1; *Z każdym dniem rosną szeregi armji robkorowskiej* – 32/103/2; *Pracujący ZSRR wstępujcie w szeregi walczących bezbożników* – 30/42–43/2¹³.

Kolejną cechą tekstów propagandowych jest kategoria ważności. Osiąga się ją głównie za pomocą przymiotników (np. *główny, zasadniczy, podstawowy, węzłowy, kluczowy, szczególny, decydujący, czołowy, przewodni, wiodący, kierowniczy, ważny, istotny, przełomowy, doniosły*) oraz rzeczowników (np. *znaczenie, rola, waga*) (Br 127–128). Podobne słownictwo spotykamy w „Trybunie Radzieckiej”, por.: *Szczególna uwaga musi być zwrócona w latach najbliższych na (...) pomoc państwową i współdzielczą* – 27/1/15; *Przed nią stoją dwa główne zadania* – 30/1/1; *Czołowe kolektywy przewykonaly normę siewu buraków* – 32/108/1; *rok 1932 powinien być rokiem decydującym w walce o węgiel* – 32/2/1; *Do ważnych zadań huty należy produkcja przedmiotów powszechnego użytku* – 33/196/2.

¹² Zachowuję pisownię oryginału. Cyfry oznaczają kolejno: rok wydania „Trybuny Radzieckiej”, numer, stronę.

¹³ Por. też: [Seliszczew 1928, 104].

W tekstach o charakterze propagandowym istotne jest wprowadzanie, a w zasadzie narzucanie, znaku wartości, który nie podlega zakwestionowaniu [Głowiński 1990, 10]¹⁴. Najprostszą metodą wartościowania jest zastosowanie określonych przymiotników. Niewątpliwie taką funkcję pełni przymiotnik *śluszny* (pojawia się on zwłaszcza w zwrocie *jedyna śluszna droga* – B 350). Odnajdujemy go kilkakrotnie w „Trybunie Radzieckiej”, por.: *Zawdzięczając ślusznej linii partii ze 160 gospodarstw (...) 132 należy do kolektywów* – 30/53/2; *Lecz śluszny cios wymierzony zaskokowcom „lewicowym” (...) nie daje nikomu prawa traktować (...) dyrektywy partii, jako powód do folgowania w walce przeciwko religii* – 30/120/3.

Szczególnie miejsce w polskiej propagandzie politycznej przełomu lat 40. i 50. zajmują sformułowania pejoratywne, a zwłaszcza wyrażenia ze słowami *wróg*, *wrogi* (B 347). Wiele takich przykładów możemy też znaleźć w „Trybunie Radzieckiej”, por.: *tym zażarciej atakuje wróg klasowy* – 32/266/1; *tylko złośliwy wróg (...) może nie przyznawać sukcesów Związku Radzieckiego* – 27/30/3; *Oso-awjachemowcy powinni walczyć z wrogiem klasowym* – 33/95/3 (3 wyst.) oraz *Polityczny i bytowy rozkład, pijaństwo – to główna metoda wrogiej roboty wśród młodzieży* – 37/121/1.

W Rosji radzieckiej każdy sprzeciw wobec władzy był przejawem walki klasowej [Iwanow 1991, 325]. Wszelkie odstępstwo od przyjętego kursu politycznego było traktowane jako przestępstwo i ostro napiętnowane¹⁵, a ich autorów nazywano „wrogim elementem”. Szczególnie często piętnowano przeciwników kolektywizacji, a jego głównym przedstawicielem był *kułak* ‘bogaty chłop’ (używano również w tym znac. słowa *gbur*), por.: *Wzmocnijmy atak przeciwko gburom-kułakom* – 29/33/1; *Należy pociągnąć do odpowiedzialności kułaków i liżyłapy kułackie* – 32/78/3; *Won z kolektywu! – tak trzeba odpowiedzieć kułakowi* – 32/12/2.

W polskiej prasie powojennej nawoływano do czujności, do walki z imperializmem, przyklejano etykiety *ślugusów*, *zaprzedańców*, *wrogów*, mówiono o *wrogiej propagandzie*, *atakach imperializmu*, *sabotażu*, *dywersji* (B 348). Podobnie było w Rosji radzieckiej, por.: *prowadzą swą kontrewolucyjną robotę (...) wszelacy agenci otoczenia kapitalistycznego* – 37/114/1; *śluszny cios wymierzony zaskokowcom „lewicowym”* – 30/120/3; *Nowy atak imperialistów (...) na związki zawodowe w Indjach* – 30/33/4; *wstępujcie w szeregi walczących bezbożników dla walki z religią jako oporą (...) imperjalizmu!* – 30/42–43/2; *wzmagająca się robota podkopowa i prowokacyjna faszystowskich agentów (...) świadczy o rosnącym niebezpieczeństwie* – 37/23/2; *Podkopowa robota ofensywy polskiej* – 38/104/3; *kułacki sabotaż dostaw zboża* – 37/115/2; *Kim są*

¹⁴ Bezpośrednia ocena dominuje nad znaczeniem. Najważniejsze jest to, aby wyrażenia były aksjologicznie wyraziste, aby narzucały dychotomiczne podziały (np. *dobrze – źle, nasze – obce*) [Głowiński 2010, 174]. Według J. Bralczyka, istnieje nawet pewien rodzaj słowniczków wyrażen pozytywnych z ich tłumaczeniem na negatywne (np. *pomoc – agresja, porozumienie – knowania, przywódca – prowodyr, rząd – reżim*) [Bralczyk 1986, 95].

¹⁵ M.A. Seliszczew, autor książki o funkcjonowaniu języka propagandy i agitacji w warunkach rewolucyjnych (będącej jednym z pierwszych opracowań tego typu tekstów), zwraca uwagę, że w stosunku do tzw. wrogów państwa radzieckiego (głównie do emigracji rosyjskiej, dyplomatów innych państw, przedstawicieli innych niż radziecka partia), używano mocnych sformułowań, np. *белогвардейская сволочь* (o rosyjskiej emigracji), *социал-предатели* (o socjalistach mieńszewikach) oraz *мерзавцы, гад, паразит* i podobne [Seliszczew 1928, 83–85].

sabotażnicy? – 28/21–22/2; *organizacja sabotażnicza otrzymała około 700 000 rubli* – 28/29/3; *Socjalzdrada panoszyła się jak nigdy* – 29/8/2.

Kolejnym przejawem propagandy socjalistycznej jest wyrażanie stosunku do wiary i religii. W prasie polskiej wyrazy takie jak *bezbożnik*, *ateista*, które wcześniej miały wydźwięk negatywny, w okresie pierwszych lat powojennych zyskują zabarwienie ironiczne, a słowa *wiara*, *katolik* nie uległy właściwie pejoratywizacji (B 346–347). Natomiast w polskojęzycznej prasie radzieckiej słownictwo związane z religią ma zdecydowanie pejoratywne konotacje, por.: *Walka z klechami i sektantami* [tytuł] – 29/4/2; *Zawalidrogów-religionistów i księżulka do surowej odpowiedzialności* [tytuł] – 30/9/3. Jako biegun przeciwny, godny naśladowania, pokazywani są ludzie walczący z wiarą i religią, por.: *wciągnięcie do pracy masowej antyreligijników -inteligentów* – 30/53/3; *Pracujący ZSRR wstępujcie w szeregi walczących bezbożników dla walki z religią* – 30/42–43/2; *Na naradzie były omawiane zadania szturmowe na froncie antyreligijnym* – 30/4/3; *dzieci (...) organizują „wiktoryny” antyreligijne* – 32/7/2.

Według J. Bralczyka, wiele wyrażeń nie weszło do oficjalnego języka PRL. Po wojnie nie pojawiają się w prasie polskiej takie wyrazy jak: *Sowiety*, *sowiecki* oraz *bolszewicki*, *bolszewik* i in. (B 346). Słowa te z okresu międzywojennego zachowały negatywne zabarwienie. Aby zatrzeć niepozytywne, niepożądane konotacje jakie w polskiej świadomości wywoływały te wyrazy, przymiotnik *sowiecki* przełożono na *radziecki*, a pozostałych unikano [Głowiński 1990, 18]. W „Trybunie Radzieckiej” mamy sytuację odmienną. Przymiotnik *sowiecki* ma zabarwienie neutralne, a może nawet, jak słusznie zauważyła J. Mędelska, melioratywne nacechowanie emocjonalne [Mędelska 2008, 281]¹⁶ por.: *sumienie jego (...) zostało poruszone przez „piatiletkę” sowiecką* – 30/42–43/1; *Wtargnięcie pograniczników estońskich na terytorjum sowieckie* – 38/21/4; *Spartakjada ma za zadanie (...) przedemonstrować klasowo-rewolucyjne oblicze sowieckiej kultury fizycznej* – 28/25/6; *sztuka sowiecka (...) zetknąwszy się z masami robotniczymi za rubieżą porywa je i zachwyca* – 37/116/3; *Współzawodnictwo socjalistyczne na polskiej wsi sowieckiej dotychczas rozwija się bardzo słabo* – 30/1/1; *gospodarki sowieckie winny rozszerzyć obszar zasiewów co najmniej o 2,5%* – 30/1/3 oraz *Wokół masy bolszewickiej grupują się miliony robwiejskorów* – 32/103/1 (10 wyst.); *W wielu miejscach brak rzeczywiście bolszewickiego „jedinonaczalja”* – 33/196/1; *spotyka robotnika-bolszewika Czibisowa* – 37/158/4; *organizacja bolszewików zorganizowała specjalny seminar* – 37/126/3; *Nić (...) życia starego bolszewika-nielegalnika (...) została tak nagle przerwana* – 35/14/2.

Również takie wyrazy jak *komunista*, *rewolucja*, *proletariat*, które za rządów sanacyjnych miały zdecydowanie negatywne zabarwienie, po II wojnie światowej występują w prasie polskiej z pozytywną konotacją (B 346). Tak też jest w „Trybunie Radzieckiej”, por.: *komuniści walczą o uchwały naszej partji* – 34/33/3; *liczą około 6 tysięcy komunistów* – 34/39/2; *Katorżne wyroki na komunistów włoskich* – 30/123/4; *komunardzi*

¹⁶ J. Mędelska badając słowniki przekładowe J. Krasnego wydane w Moskwie w 1931 i 1933 r. zauważyła pełną synonimiczność przymiotników *sowiecki* i *radziecki*, które występują jako odpowiednik ros. *советский*. Również wyrazy *sowietyzacja*, *sowietyzować* mają odmienne od dzisiejszego neutralne zabarwienie (według słownika oznaczają odpowiednio ‘wprowadzenie systemu sowieckiego’, ‘wprowadzać system radziecki’, ‘podlegać wpływom radzieckim, stawać się zwolennikiem systemu radzieckiego’) [Mędelska 2008, 28].

postanowili zwiększyć obszar zasiewny o 50 ha – 32/118/3 oraz Rewolucja lutowa oddała władzę w ręce burżuazji – 32/60/1; należy przygotować się do obchodu Rewolucji Październikowej we wsi – 27/116/2; nowa prowokacja (...) jest atakiem na nadchodzącą rewolucję światową – 27/7/9.

Kolejną cechą tekstów o charakterze propagandowym jest stosowanie szablonu¹⁷. Dzięki temu, że pewne treści są przekazywane w sposób wcześniej ustalony i określony, przekaz szablonowy jest zrozumiały dla odbiorcy, chociaż mniej interesujący. Jedną z przyczyn szablonizacji języka jest fakt, że tekst nie jest skierowany wprost do „szerokiego odbiorcy” czyli zwykłego czytelnika. A wręcz przeciwnie. Przekaz ten ma być dobrze oceniony przez „władze zwierzchnie” i ma pokazać wyrobienie ideologiczne autora, znajomość frazeologii propagandowej (B 351–352). Propagandowe frazeologizmy najczęściej pojawiają się w nagłówkach, w śródtytułach, w partiach wytłuszczonych. Można wyróżnić dawne (klasyczne) frazeologizmy związane z ideologią komunistyczną (np. *klasa robotnicza, podziały klasowe*) oraz niezwiązane z tą ideologią (np. *rola ludu, sumienie narodu*). Do współczesnych frazeologizmów zaliczają się rodzime ideologiczne (z konotacją pozytywną – *dalszy postęp, siła przewodnia*, z konotacją negatywną – *podżegacze wojenni, siewcy nienawiści*). Występują też frazeologizmy współczesne obce ideologicznie (pozytywne – np. *wolny świat, prawa człowieka*, negatywne – *komunistyczne zagrożenie*) (Br 59–63). „Trybunie Radzieckiej” również nieobca jest frazeologia propagandowa. Mamy tu przykładowo: *Nasza odpowiedź podżegaczom wojny (...) – 30/72/3*.

Jedną z kolejnych cech języka propagandy jest manipulowanie eufemizmami i hiperbolami. Kiedy mowa jest o naszych kłopotach, zdarzeniach niepomyślnych, to wówczas stosowane są eufemizmy, które mają wpłynąć na złagodzenie negatywnych skutków omawianych zjawisk, nastawić odbiorcę przychylnie do rzeczywistości (np. mówi się np. o *kłopotach przejściowych, trudnościach wzrostu*). Przy opisie wykorzystywane są słowa mało nacechowane lub bez negatywnej konotacji (np. *trudności, kłopoty, komplikacje, braki, zaniedbania*) (Br 44–45). Gdy mowa o kłopotach przeciwnika pojawiają się natomiast hiperbole (np. *ekonomiczny kryzys*) [Głowiński 1990: 15] i wykorzystywane jest następujące słownictwo: *fiasko, bankructwo, klęska* (Br 45). Podobnie sytuacja wygląda w „Trybunie Radzieckiej”, por.: *Na czym polegała podstawowa przyczyna naszych trudności przy zapasowaniu zboża? – 28/31/6; przy najbliższej kompanji zbożowej nie będziemy mieli tych trudności zapasowania zboża – 28/31/7; należy powszechnie usunąć braki kosowicy ubiegłego roku – 33/119/1 oraz Burżuazyjni politykanci w obliczu bankructwa i rozkładu tych partji (...) znajdują ratunek w stworzeniu nowych – 28/23/7*.

W przekazie propagandowym popularnym zabiegiem stylistycznym jest wykorzystywanie ekspresywnej wartości zaimków *my* oraz *nasz*. Podkreślają one utożsamianie się nadawcy ze zbiorowym odbiorcą, wspólnotę ich interesów, służą umacnianiu przekonania w odbiorcy o jego aktywnym i emocjonalnym uczestnictwie w życiu całego narodu. Należy podkreślić, że w tekstach propagandowych absolutną przewagę wykazuje zaimek *my* (druga osoba liczby mnogiej *wy* praktycznie nie jest stosowana). Jego użycie

¹⁷ O powstawaniu szablonów i ich szerokim stosowaniu wspomina już w 1928 r. A. M. Seliszczew, por.: [Seliszczew 1928, 25].

wynika z przekonania każdej władzy, że ma prawo wypowiadać się w imieniu całego społeczeństwa (Br 151). Dodatkowo zaimek *my* u odbiorcy wytwarza poczucie przynależności grupowej (Br 220). W polskiej prasie powojennej często występowały następujące frazy: *nasza ojczyzna, nasz ustrój, nasza partia* (B 339–340) oraz *nasza epoka, nasze dni, nasze losy* (Br 157). Dużą frekwencją tekstową wyrażań z zaimkiem *nasz* mamy w „Trybunie Radzieckiej”, por.: *Nasz wojskowy fotokor tow. Edward Bardziński* [podpis pod zdjęciem] – 30/22/4; *W tej dziedzinie nasz aktyw młodzienarski ma szerokie pole działalności* – 27/20/2; *Nasz młody przemysł lotniczy produkuje motory swojej własnej konstrukcji* – 27/13/5; *Nasz wiejkor napisał kilka korespondencji do gazety ściennej* – 27/32/7; *Rejon nasz ma wyrwy w tej dziedzinie* – 32/88/3; *Nasi znakomici stachanowcy fabryk i pól wpisali się wspaniale do księgi walki* – 38/1/1; *Dotychczas nasi wuzowcy z tej pracy mieli często mechaniczne podejście* – 27/3/10; *nasi komunardzi nie mieli ogrodów* – 35/25/3; *naczelników (...) zna cały nasz kraj* – 37/126/3 (3 wyst.). W „Trybunie Radzieckiej” odnajdujemy też liczne zdania z zaimkiem *my*, por.: *My się spytamy, a ile przełożyłeś kilometrów rur kanalizacyjnych?* – 33/20/3; *My, robotnicy, powinniśmy przedewszystkim zorganizować parobków* – 30/15/1; *My, robotnicy (...) witamy braci w walce klasowej* – 29/44/1.

Przedstawione cechy tekstów propagandowych nie wyczerpują tematu. Porównując język „Trybuny Radzieckiej” z polską prasą powojenną można stwierdzić, że rozważania prof. J. Bralczyka pokazują uniwersalność pewnych mechanizmów w procesie komunikowania politycznego na przestrzeni dziejów Polski i polszczyzny.

„Trybuna Radziecka” to doskonały przykład swoistego żargonu politycznego, tak typowego dla wszystkich gazet komunistycznych wydawanych w dwudziestoleciu międzywojennym w ZSRR. Jak pisał A. Życki, „Czytając prasę sowiecką tamtych lat, niezależnie czy są to dzienniki centralne, prasa republikańska, czy też lokalna ma się nieodparte wrażenie, że cały czas śledzimy to samo pismo” [Życki 2006, 262].

Bibliografia

- Bralczyk J., 1986, *O języku polskiej propagandy politycznej // Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień*, red. Kurkowska H., Warszawa, 336–354.
- Bralczyk J., 2007, *O języku propagandy i polityki*, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
- Głowiński M., 2010, *Nowomowa // Współczesny język polski*, red. Bartmiński J., Lublin, 173–182.
- Graczykowska T., 2007, *Rusycyzmy i sowietyzmy w tekstach Tomasza Dąbala (przedstawiciela polskich komunistów przebywających w okresie międzywojennym w ZSRR) // Język, historia, polityka*, red. Laskowska E., Jaracz M., Bydgoszcz, 39–49.
- Graczykowska T., 2008, *Wpływ sytuacji politycznej na jakość polszczyzny tygodnika „Trybuna Radziecka”, wydawanego w ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym // Język, społeczeństwo, wartości*, red. Laskowska E., Benenowska I., Jaracz M., Bydgoszcz, 137–149.
- Graczykowska T., 2009, *Osobliwa leksyka w książce Tomasza Dąbala „Polacy Związku Radzieckiego”*, *Linguistica Bidgostiana* VI, 64–72.
- Gregorowicz S., 1996, *Polacy w Rosji i w ZSRR // Nowa encyklopedia powszechna PWN*, t. 5, Warszawa, 591.
- Iwanow M., 1991, *Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939*, Warszawa-Wrocław.

- Iwanow M., 1999, *Między polskością a żydowskością. Polska autonomia kulturalna w Związku Sowieckim*, // Lewandowski J., Goleman W., *Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej*, Lublin, 23–39.
- Lizak W., 1990, *Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917–1939*, Szczecin.
- Mędelska J., 2008, *Nowe, radzieckie realia odzwierciedlone w Moskiewskim słowniku rosyjsko-polskim, wydany w latach 30. ubiegłego wieku* //, *Język społeczeństwo, wartości*, red. Laskowska E., Benenowska I., Jaracz M., Bydgoszcz, 275–285.
- Paczkowski A., 1977, *Prasa polonijna w latach 1870–1939. Zarys problematyki*, Warszawa.
- Patek A., 2001, *Polska diaspora w Rosji Radzieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich* // *Polska diaspora*, red. Walaszek A., Kraków, 293–316.
- Ruchniewicz M., 2004, *Polacy w Rosji i Związku Radzieckim* // *Wielka encyklopedia PWN*, red. Kalisiewicz D., t. 23, Warszawa, 508.
- Sierocka K., 1963, *Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 1929–1937)*, Warszawa.
- Sierocka K., 1966, *Z kulturalnych i literackich dziejów lewicy polskiej w ZSRR w okresie 20-lecia międzywojennego*, Warszawa.
- Sierocka K., 1968, *Polonia Radziecka 1917–1939. Z działalności kulturalnej i literackiej*, Warszawa.
- Stepień M., 1973, *Polska książka w ZSRR w latach 1918–1939*, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej XXIII, nr 1/2, 244–257.
- Syczow A., 1992, *Некоторые особенности употребления оценочных средств в газетно-публицистической речи*. Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej, t. 20, Warszawa, 163–167.
- Szydłowska-Cegłowa B., 1997, *Język polski w Rosji porewolucyjnej i ZSRR (do roku 1935)*, *Język Polski LXXVII*, z. 4–5, 251–258.
- Życki A., 2006, *II Rzeczpospolita w publicystyce sowieckiej. Polityka, gospodarka, stereotypy*, Ostrołęka-Warszawa.
- Селищев М. А., 1928, *Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)*, Москва.

Summary

THE POLITICAL PROPAGANDA LANGUAGE IN THE POLISH PRESS PUBLISHED IN THE INTERWAR PERIOD (BASED ON “TRYBUNA RADZIECKA”)

This paper discusses the linguistic characteristics of political propaganda texts written in Polish, extracted from “Trybuna Radziecka,” a central Polish weekly published in Moscow in 1927–1938 and edited by Polish left-wing intelligentsia, living in this period in the USSR as political émigrés.

The propaganda creates the world which is different from the real one and this world is always tendentious, up to point of being fictitious.

The author attempts to demonstrate that many linguistic characteristics are common to all periods of Polish propaganda. The Polish press published in Moscow in the interwar period initiated the creation of the political socialist Polish post-war propaganda.

There are seven fundamental properties which constitute the persuasive dimension of propaganda texts: importance, universality, proximity, necessity, legitimacy, coherence, progress, and permanence.

The persuasive function of propaganda texts is achieved by such words as *sluszny* [legitimate], *podstawowy* [fundamental], *zasadniczy* [principal], *kluczowy* [key], *masy* [the masses], *każdy* [everyone], *wszyscy* [all], *powszechny* [universal] etc.

Надежда Самыличева

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ, СОЗДАННЫЕ НА БАЗЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ЭПОХИ

Key words: word-formative neologisms, valuation dominants, mass-media

При изучении активных процессов словообразования большую роль играют так называемые «ключевые слова эпохи». Как отмечают исследователи, «окказионализмы нередко создаются для того, чтобы показать подлинную сущность того или иного явления» [Земская 2000, 132-133].

«Ключевые слова» порождают целые группы однокоренных слов (словообразовательные гнезда и словообразовательные парадигмы). Активность «ключевых слов» влияет не только на их словообразовательный потенциал, но и на связи с другими словами, актуализируя те или иные отношения между словами в лексической системе языка. По определению Е.А. Земской, «ключевыми» следует считать «слова, обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе социального внимания» [Земская 2000, 92]. Ключевые слова можно рассматривать как оценочные доминанты современной действительности, проявление языковой личности.

Одним из важнейших компонентов языковой картины мира являются «ценностные доминанты, совокупность которых и образует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке» [Карасик 2002]. Оценочные доминанты, представляя ориентацию коммуникантов, тесно связаны с содержательным аспектом коммуникации и системой ценностных представлений, бытующих в обществе. Ценности в значительной степени определяются идеологией, общественными институтами, верованиями, потребностями. Существенным для понимания происходящих процессов и их результатов, отслеживаемых в языке, признается их связь с изменениями общественного сознания, идеологической переориентацией общества, сменой системы общественных ценностей, его концептуально-мировоззренческих парадигм, находящихся свое отражение в том, что принято называть языковой картиной мира [Червинский 2010, 14]. Смена или корректировка системы общественных ценностей находит отражение в идеологически заряжаемых

лексемах, представляющих собой в этом случае конденсируемые, сжатые воплощения, сгустки, узлы мировоззренческих, политических ориентиров, оценок и предпочтений [Червинский 2010, 17].

Культурные доминанты в языке объективно выделяются посредством выборки и изучения лексических и фразеологических единиц, прецедентных текстов из разных источников. Одним из вспомогательных средств изучения культурных доминант в языке исследователи считают также внутреннюю форму слова [Карасик 2002], которая играет особую роль в выражении культурно окрашенного прагматического смысла. Показателем и выразителем определенных ценностных установок в обществе, по-видимому, являются и новообразования, созданные на базе ключевых слов.

Так, в современных деривационных процессах активно участвует ключевое слово *мания*. При помощи этого элемента, например, активно образуются различные онимы: *Суши-Мания* (магазин), *Тур-Мания* (туристическая фирма) *SMS-Мания* (услуга сотовых компаний), *Бизнес-Мания* (компьютерная игра). Среди окказиональных единиц можно отметить также такие, как *телемания*, «*инфомания*» «*барбимания*» «*кредитомания*», «*банкомания*». Приведенные новообразования «представляют собой сложные слова, потому что элемент *мания* функционирует в русском языке как самостоятельное слово... Слова со второй частью *-мания* создаются в современной публицистике легко, по требованию контекста...» [Земская 2009, 47]. При помощи элемента *мания* обозначают различные пристрастия, иногда даже фанатизм, который является распространенной болезнью нашего времени.

Социальные антипатии находят отражение в новообразованиях с постпозитивным иноязычным компонентом *фобия*: *американофобия* *путинофобия*, *олимпиадофобия*.

Выделяется группа новообразований, компоненты которых эквивалентны полнозначным словам языка [Ращибурская 2006]. Превалирование экономических, рыночных отношений в современной реальности сказывается и на расширении лексического состава в этом направлении. Так, активно участвует в окказиональном аппозитивном сложении лексема *бизнес*. Среди многочисленных примеров можно выделить тематические группы. Одна из групп – обозначение лиц по роду деятельности: *бизнес-бабушки*, *бизнес-мама*, *бизнес-девушка*. Другая тематическая группа – лица, организации, связанные с бизнесом: *бизнес-общественность*, *бизнес-структуры*, *бизнес-броня*. Третья тематическая группа – сфера человеческого взаимодействия: *бизнес-интересы* *бизнес-связи*.

Среди общих культурных тенденций можно отметить всеобщую популяризацию отдельных явлений и реалий, что привело к появлению новообразований с препозитивной частью *поп-* (*популярный*), которая сочетается редко с неодушевленными и чаще с одушевленными существительными: *поп-катастрофа*, *поп-иерархия*, *поп-идол*, *поп-принцесса*, *поп-бабушка*.

При анализе фактического материала, можно заметить, что зачастую «ключевыми» становятся не только целые лексемы, но и отдельные аффиксы, аффиксоиды.

Например, популярными являются новообразования, образованные при помощи аффиксоида **-филия**, исконное значение которого «любовь, склонность к чему-либо»; однако сейчас данный элемент функционирует, актуализируя значение медицинского термина, обозначающего болезненную жажду или влечение к чему-либо: «диктаторофилия», «властефилия», «компьютерофилия».

Анализируя новообразования, можно заметить, что в речи с высокой частотностью функционируют единицы, созданные путем сложения с опорным компонентом префиксоидом **нарко-**: *наркодиллер, наркобарон, наркопритон*. Особенно интересны следующие окказиональные новообразования: *нарко-живопись, наркокультура, нарко-искусство*, – которые заключают в себе несовместимые, с точки зрения логики, этики и эстетики, понятия. Подобные потенциальные слова свидетельствуют о распространенности этого явления в разных сферах нашей жизни. Эту мысль подтверждает и новая лексема *наркодарование*: *К сожалению, в этом году можно выделить отдельную номинацию «юное наркодарование года». Летом была задержана 12-летняя борская цыганочка Аленка, пытавшаяся продать 200 с лишним граммов героина... (Комсомольская правда – Нижний Новгород, 30.12.2008)*. Экспрессивность данной единицы достигается и за счет присоединения к книжному слову *дарование* со значением «высокая степень одаренности, большие способности к чему-либо; талант, дар» [СТСРЯ 2006] элемента *нарко-* («первая часть сложных слов, вносящая значение наркотика, наркотический» [ТСРЯ 2008]) терминологического характера.

Масштабность и глобальность проблемы, связанной с наркотиками, породили ряд окказионализмов, обозначающих различные группы лиц: «*нарковозы*», «*наркоартель*», «*наркокоммуны*». К экспрессивным новообразованиям с префиксоидом *нарко-* относятся и лексема *наркотрафик*: *Некоторое время назад до журналистов «ЛС» дошла информация о том, что в селе Шарапово Шатковского района была разгромлена перевалочная база наркотрафика (Ленинская смена, 20–26.01.2011)*. И данный префиксоид, и указанные новообразования заключают в себе оценочный компонент, поскольку журналист, пишущий по данной тематике, не может остаться равнодушным к подобной проблеме.

Можно говорить и о ключевых словах с префиксоидом **теле-**, поскольку они уже прочно вошли в наш обиход (например, *теледебаты, телеверсия, телеконференция, телемагазин* и т.д.) и зафиксированы словарями, в частности подобные образования присутствуют в «Толковом словаре русского языка начала XXI века» под редакцией Г.Н. Складневской. При помощи префиксоида *теле-* продолжают создаваться новые единицы. Чаще всего данный префиксоид присоединяется к неодушевленным именам существительным: *Выдав на гора премьеру очередного юмористического шоу «Нибенименехило», «Первый канал», похоже, окончательно утвердился в статусе Первого развлекательного [...] Однако телеоткрытия не случилось... (Новое дело, 27.01–02.02.2011); «Чтобы сделать хороший фильм о медиках, необязательно копировать «Хауса!» Так считает исполнитель главной*

роли в сериале «Доктор Тырса», который сравнивают со знаменитым западным **телеблокбастером** (Комсомольская правда, 11.01.2011).

Однако при помощи данного аффиксоида образуются также одушевленные имена существительные: *«теленижегородец», теледива*.

В последнее время во всем мире значительная роль отводится так называемым **нанотехнологиям** применительно ко всем отраслям деятельности. Такая ситуация потребовала появления новых наименований с префиксоидом **нано-**: *Принять нанотаблетку. Россия начнет разрабатывать свои инновационные лекарства* (Российская газета, 24.01.2013). Иногда сами журналисты отзываются о новообразованиях, созданных при помощи ключевых элементов: *Все только и говорят про нано-что-то-там, и мне хочется поучаствовать в общем веселье. Но я ничего не понимаю в спорах о том, существуют ли нанотехнологии и сколько денег отмывается на подобных проектах. Не могу внести свой вклад в наноскандалы и разоблачение нанодельцов. Не способен даже знать нанопургу про нанобудущее. (Все эти слова с приставкой «нано» мною не выдуманы, а взяты из Интернета) <...> И все-таки для гуманитариев найдется своя ниша во всей этой нановакханалии – ведь, к счастью для нас, слово «нано» давно живет своей интересной жизнью, никак не связанной с физическими исследованиями. Вот этой-то языковой нанореальности и посвящены мои наномысли. Сегодня «нано» – передний край словообразования [...]. Похоже, эту приставку можно присоединить к любому слову – и будет толк* (Русский репортер, 22–29.05.2008). Оказиональные слова, образованные при помощи префиксоида **нано-** по стандартным словообразовательным моделям, активно создаются в речи и порой могут закрепляться в языке как неологизмы (*нанороботы, наноконплекс* и др.).

Таким образом, социальная ориентированность и оценочный характер подобных новообразований, созданных на базе «ключевых слов», передают специфику языковой картины мира различных представителей современного российского социума. Умелое использование журналистами словообразовательных средств в процессе словотворчества актуализирует имеющиеся у адресата культурологические знания и способствует акцентированию его внимания на значимых общественных проблемах.

Библиография

- Земская Е.А., 2000, *Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия*, Москва: Языки русской культуры.
- Земская, Е.А., 2009, *Словообразование как деятельность*, Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».
- Карасик В.И., 2002, *Культурные доминанты в языке // Языковой круг: личность, концепты, дискурс*, Волгоград: Перемена. <http://philologos.narod.ru/ling/karasik.htm>.
- Рацибурская Л.В., 2006, *Сложные новообразования в современных СМИ и проблема их лексикографической фиксации // Русская академическая неография (к 40-летию научного направления): Материалы Международной конференции*, Санкт-Петербург: Лема.

Современный толковый словарь русского языка, в 3 т., 2006, ред. Ефремова Т.Ф., <http://www.efremova.info>.

Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика, 2008, ред. Складревская Г.Н., Москва: Эксмо.

Червинский П.П., 2010, *Идеологический компонент в толковании лексического значения // Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Summary

WORD-FORMATIVE NEOLOGISMS CREATED ON THE BASIS OF THE KEYWORDS OF AN EPOCH

This article considers the peculiarities of word-formative neologisms created on the basis of the keywords of an epoch. As “key elements” of words, affixes are regarded. Word-formative activity of such “key elements” allows one to identify the specifics of the linguistic picture of the world of the modern language.

Сергей Феликсов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКОГРАФИРУЕМЫХ ЕДИНИЦ В «ЦЕРКОВНОМ СЛОВАРЕ» ПРОТОИЕРЕЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА¹

Key words: the history of Russian lexicography, P.A. Alekseev, church vocabulary, 18th century, grammar

В *Церковном словаре* в качестве толкуемых представлены все грамматические классы слов: знаменательные – существительное (более 5000 слов), прилагательное (более 1000 слов), местоимение (более 20 слов), числительное (около 10 слов), глагол (более 1000 слов), причастие (более 200), деепричастие (1 слово), наречие (около 250 слов); незнаменательные – предлог (8 слов), союз (14 слов), частица (3 слова), а также слова, традиционно относящиеся в грамматике к классу междометий (2 слова)². Как видно, большая часть толкуемых слов в *Церковном словаре* выражена именем существительным, что является одним из показателей энциклопедичности сочинения П.А. Алексеева.

¹ *Церковный словарь*, составленный протоиереем Петром Алексеевичем Алексеевым (1727–1801 гг.), является первым в истории отечественной лексикографии многоаспектным словарем, в полноте своей отражающим основной состав конфессионально-терминологической системы православного вероучения, сложившейся в русском языке к XVIII веку на основе церковных текстов. Со времени своего появления *Церковный словарь* выдержал четыре издания. Первое издание вышло в 1773 году, оно содержит более 4400 словарных статей. В 1776 году выходит *Дополнение к Церковному словарю*, насчитывающее более 3900 словарных статей, а в 1779 году – *Продолжение Церковного словаря*, содержащее около 1600 словарных статей. Во втором издании, осуществленном в 1794 году, Алексеев привел в один азбучный порядок и дополнил вышедшие ранее части *Церковного словаря*, оно включает в себя около 9800 словарных статей. Последующие издания Словаря были осуществлены после смерти его автора. Третье издание было подготовлено трудами корректоров Московской Синодальной типографии в 1815–1816-м годах, оно включает более 10400 словарных статей. Четвертое издание Словаря было осуществлено двумя членами Российской Императорской Академии: Д.М. Соколов, являвшийся Казначеем Академии, осуществил печатание Словаря до буквы «С», после его смерти в 1819 году работу по изданию завершил Непременный Секретарь Академии – П.И. Соколов, это издание включает более 15300 словарных статей. Издания *Церковного словаря* были одобрены к печати Конторой Святейшего Правительствующего Синода и Митрополитом Московским Платоном (Левшиним). Подробнее о *Церковном словаре* П.А. Алексеева см.: [Феликсов 2010].

² Данные приведены по второму изданию *Церковного словаря* [Алексеев 1794].

Заголовочные существительные в *Церковном словаре* в большинстве случаев приводятся в форме и.п. ед. ч. (*панагия, паперть, патерик*)³, но также встречаются в форме: а) и.п. мн. ч. (в т.ч. *Pluralia tantum*) (*вериги, агнцы, поминки*); б) косвенных падежей (*виною, ведче, дню*) и дв.ч. (*детца, пиргове*); в) в уменьшительной форме (*оконце, птичище, телица*). Существительные во мн. ч., дв. ч, зв. п. последовательно характеризуются указанием на свою грамматическую форму (*БЛАЖЕНСТВИЯ* (мн.ч. числа), *ГОРДЕ, зват. пад. от имени горд*; *ГЛУСЕ* (двойств. число). Кроме того, у ряда существительных отмечены отдельные грамматические признаки – род, число, падеж (*ДАРОВЕ, множеств. числа именительный падеж*; *ОБЛАЧЕНИЕ, ния, средн. р., ПОДВОИ* (*воев муж. рода, множ. числа*)).

П.А. Алексеев не следует традиции, заложенной в европейской лексикографии, а также в славянских лексиконах Памвы Берынды, Федора Поликарпова в оформлении словарной формы глаголов в форме 1 л. ед.ч. наст. вр. В «*Церковном словаре*» в качестве исходной формы для глаголов предпочитается инфинитив (*бдети, величатися, соборствовати*). В отдельных случаях в одной словарной строке приводятся глаголы несовершенного и совершенного вида (*возвещати или возвестити*), а также глаголы-конверсивы (*входити и исходити*). Помимо употребления формы инфинитива, в качестве заголовочных в некоторых случаях в Словаре выступают личные формы глагола (*алчу, благодю, бяху*).

Глаголы, представленные в инфинитиве, имеют образцы спряжения, в частности приводятся формы 1 и 2 л. ед. ч. наст. вр. (*вразумляти и вразумити* (*вразумляю, ляеши*)). К глаголам, употребленным в форме 1 л. ед. ч. наст. вр., в некоторых случаях приводится форма 2 л. ед. ч. наст. вр., а также форма инфинитива (*алчу* (*алчеши, алкати*); *емлю* (*емлещи, яти*)). В отдельных случаях отмечены варианты в образовании личных форм глаголов (*искупити* (*упую, и купляю, упущи, и ляеши*)). В Словаре дается подробная характеристика архаичным формам, образованным от глагола *быти*, последовательно характеризуются глаголы в форме повел. накл., специальными пометами сопровождаются включенные в Словарь безличные глаголы (*ДОСТОИТЬ, гл. безличный*). Кроме того, характеризуются некоторые другие реликтовые глагольные образования с указанием на отдельные грамматические категории – наклонение, время, лицо, число (*СВИЕШИ, второе лице будущего времени, единств. ч.*; *ИСПИЕТА, двойствен. число, изъявит. образа, будущ. времени*).

Заголовочные прилагательные используются в полной и краткой форме И.п. ед. ч. м. р. (*дориносимый, православный, млад*). Кроме того, наблюдаются случаи помещения в одной словарной строке краткой и полной форм (*юродивый или юродив*). В некоторых случаях прилагательное приведено в форме превосходной или сравнительной степени (*велегласнейший, блаженее*).

Заголовочные причастия приводятся в форме И.п. ед. ч. м. р. (*глаголемый, поспешествуемый*), в некоторых словарных статьях, как и в случаях с прилагатель-

³ Здесь и далее в статье примеры приводятся по первому и второму изданию *Церковного словаря*: [Алексеев 1773; Алексеев 1776; Алексеев 1779; Алексеев 1794].

ными, наблюдается помещение в одной словарной строке краткой и полной форм (*отчаяваем, или отчаяваемый*).

У прилагательных и причастий, помимо исходной формы – И.п. ед. ч. м. р., приводятся окончания ж. и ср. р. (*адамантовый, вая, вое; божимый, мая, мое*). Отмечается грамматическая форма прилагательных, употребленных в сравнительной и превосходной степени (БЛАГОЗНАМЕННЕЙШИЙ, *уравнител. степень*); БЛАЖЕННЕЕ, *уравнит. степени*). Кроме того, грамматическую характеристику получают отдельные прилагательные, употребленные в краткой и притяжательной форме (ДОМОВИТ, *прилаг.*; ПАВЛ, *имя притяжательное от имени Павел, усечено употребленное вместо Павлов, и значит*). Указание на грамматические признаки получают и некоторые причастия (ВНЕМШИЙСЯ, *прич. страд.*).

В *Церковном словаре* нашел отражение процесс субстантивации имен прилагательных и адъективации существительных, о чем свидетельствует комментарий, положенный к некоторым словам (ЛЮТАЯ, *тех мн. числ. средн. род. В церковных книгах приемлется сие речение вместо существительного*; ПРЕЛЮБОДЕЙ, *инде взято именем прилагательным* Матф. 12. 39.).

Нормативным целям Словаря, а также стремлению возможно полнее раскрыть особенности словарного состава и грамматического строя славянского языка отвечает показ особенностей управления некоторых имен существительных, прилагательных и особенно часто – глаголов (*обуздатель (чего); промыслительный (чего); соборовати (кого)*).

Местоимения, приводимые в Словаре в качестве заголовочных, в основном даны в формах косвенных падежей дв. ч. (*ваю, ею, нама*), а также других чисел (*ми, тую, ким*), иногда с предлогом (*за ся; на ны, на нь*) и составные (*мя самого*). В Словаре дается подробное грамматическое описание реликтовых форм личных местоимений, к которым в некоторых случаях приводятся русские соответствия (ВАМА, *двойственного числа местоимение второго лица дательного и творительного падежа, т.е. вам*). Кроме того, характеризуются отдельные формы вопросительных, возвратных, указательных местоимений (КИМ, *творит. падеж., единств. числа от имени, КТО*).

Большую группу слов, приведенных в «Церковном словаре» в качестве заголовочных, составляют наречия. Как правило, они сопровождаются пометами – *нареч., наречие* (АКИ, *нареч.*; БЕЗГОДА, *наречие*). У отдельных наречий отмечен грамматический разряд, а также условия их употребления в тексте (ВСКУЮ, *нареч. вопросительное*; ПРЯМО, *наречие с дательным падежем употребляемое*). Кроме того, в Словаре нашел отражение активный в XVIII веке процесс образования наречий из других частей речи. Такие слова сопровождаются пометой «*по образцу наречия взято*» и др. (ДЕСЯТОЕ, *по образцу наречия взято*).

В *Церковном словаре* в качестве отдельных словарных статей помещены некоторые служебные слова, сопровождаемые пометой, указывающей на частеречную принадлежность (АЩЕ, *союз*); ВЕРХУ, *предл.*). В отдельных случаях отмечается грамматический разряд незнаменательного слова, а также условия и способы

реализации выражаемого им в тексте значения (ОБОНПОЛ, *предлог полагаемый с родительным падежем, вместо за*).

В Словарь внесены в качестве заглавных и наиболее употребительные слова, пишущиеся под титулом, выраженные именем существительным, прилагательным, глаголом, а также буквенные обозначения некоторых чисел.

Заголовочные слова в *Церковном словаре* выражаются не только с помощью лексических единиц, но также с помощью синтаксических единиц (*адам новый, отрясти прах от ног, плоть и кровь, приобщитися плоти и крови*) (всего около 700)⁴. Эти данные свидетельствуют о том, что наполнение словника было в значительной мере подчинено в «Церковном словаре» задаче истолкования «темных мест» текстов Священного Писания.

Многие архаичные формы слов и их сочетаний стали предметом лексикографирования в *Церковном словаре* в связи с тем, что они нашли широкое распространение в письменных памятниках и знание их было необходимо для чтения древних церковных книг. Нередко они вносились в Словарь в той форме, в которой зафиксированы по связи в речи в приводимом месте памятника (*вопиюще, взывающе и глаголюще*). Выделение в особые словарные статьи не только начальных, но и некоторых других форм, а также поясняющая грамматическая характеристика заглавных слов, содержащаяся в *Церковном словаре*, свидетельствуют о педагогической направленности сочинения П.А. Алексеева.

Той же причиной обуславливаются и некоторые замены П.А. Алексеевым грамматических форм заголовочных слов при заимствовании их в *Церковный словарь* из лексикографических источников – *Лексикона трезычного* Ф. Поликарпова (1704 г.) [Поликарпов 1704] и «Каталога имен» [Каталог имен 1762], приложенного к Елизаветинской Библии. Ср., например:

«Лексикон трезычный» Ф. Поликарпова (1704 г.)	«Церковный словарь» П.А. Алексеева (1794 г.)
<i>гигант, гнусность</i>	<i>гиганты, гнусности</i>
«Каталог имен», приложенный к Елизаветинской Библии	«Церковный словарь» П.А. Алексеева (1794 г.)
<i>акрида, газарин</i>	<i>акриды, газарины</i>

Как видно, заимствуемые в *Церковный словарь* заголовочные существительные помещены в лексиконе Поликарпова и «Каталоге имен» в ед. ч. П.А. Алексеев, внося их в свой Словарь, ставит в форму мн. ч. Такая замена объясняется стремлением автора *Церковного словаря* приблизить формы, вносимых в словник слов, с формами их употребления в конкретном месте текста. Дело в том, что указанные

⁴ Думается, что подобные библейские сочетания П.А. Алексеевым не воспринимались как устойчивые (в полном смысле этого слова), поскольку к этому времени традиция «домашнего чтения» Священного Писания в России только зарождалась. Фразеологический же характер они приобретают в более поздний период (в т.ч. и под влиянием *Церковного словаря*). По крайней мере, Алексеев не делает в отношении этих сочетаний особых примечаний, указывающих на их фразеологическую природу.

выше слова в текстах Священного Писания употреблены не в единственном, а во множественном числе.

Нормативным пособием к грамматической характеристике слов в *Церковном словаре* послужила *Грамматика* Мелетия Смотрицкого (1648 г.) [Смотрицкий 1648]. Подобный выбор П.А. Алексеева был обусловлен научным значением сочинения М. Смотрицкого, которое представляло собой «обобщение на основе анализа многообразных форм грамматических законов и правил церковнославянского языка» [Прокошина 1966, 94], долгое время являясь «единственным руководством» при его изучении в учебных заведениях того времени [Засадкевич 1883, 202]. Зависимость *Церковного словаря* от *Грамматики* М. Смотрицкого выражается как в выборе грамматических терминов при описании морфологических форм слов, так и в определении их значений. Ср., например:

«Грамматика» М. Смотрицкого (1648 г.)	«Церковный словарь» П. А. Алексеева (1794 г.)
<i>Грамматика есть известное художество благо и глаголати и писати учащее.</i>	ГРАММАТИКА, известное художество, которое учит хорошо говорить и писать. <i>Грам. Мелет.</i>
<i>Орфография есть часть грамматики первая, естество писмен, свойство их, слог, речение, и слово со припетием и препинанием знати учащая.</i>	ОРФОГРАФИЯ, первая грамматики часть учащая правописать гласом в речениах прямо ударять, и слова препинать грам: <i>Мелет.</i>

Анализ грамматических форм слов в *Церковном словаре* осуществляется в соответствии с грамматическими классами, выделенными М. Смотрицким. Примечательно в этой связи признание П.А. Алексеевым междометия как особой грамматической категории, а также рассмотрение глагола и причастия как самостоятельных частей речи. Кроме того, в *Церковном словаре* употребляется термин «деепричастие», впервые введенный в научное употребление в *Грамматике* Смотрицкого. Подобно последней, «деепричастие» рассматривается П.А. Алексеевым как усеченная форма причастия. При анализе морфологических форм имени прилагательного и наречия в *Церковном словаре* используется их разграничение по степеням сравнения, описанное в М. Смотрицким. Разделение наречий и служебных слов по лексико-грамматическим разрядам, частично имеющееся в Словаре П.А. Алексеева, также совпадает с их классификацией, представленной в *Грамматике* Смотрицкого. Кроме того, при характеристике некоторых именных форм в *Церковном словаре* употребляется введенный М. Смотрицким термин «сказательный падеж».

В целом сравнение грамматической терминологии, имеющейся в *Церковном словаре*, с *Грамматикой* М. Смотрицкого показывает, что П.А. Алексей избегал при описании языковых явлений употребления терминов и понятий, не соответствующих реальной славянской традиции и представляющих собой искусственное приложение греческих и латинских моделей к славянскому языку, что нередко

встречается у М. Смотрицкого. Показателен в этом отношении комментарий, содержащийся в *Церковном словаре*, по поводу употребления двойственного числа в славянском языке, например: ИМА, *двойствен. числа дательный падеж, от местоимения он, просто сказать им. Таким образом, и другие местоимения склоняются в с. писаних, по образцу Еллиногреческаго языка, что в нашем не весьма нужно*. Однако надо признать, что источником такого комментария опять-таки послужила *Грамматика* М. Смотрицкого. В этом вопросе позиция П.А. Алексева расходится с *Российской грамматикой* М.В. Ломоносова.

Характеризуя с точки зрения грамматики собранные в *Церковном словаре* слова, П.А. Алексеев продолжал намеченную в древнерусских азбуковниках и лексиконах традицию. Заметим, что отдельные словарные статьи, помещенные в *Церковном словаре*, обнаруживают почти полное сходство с древними лексикографическими сочинениями в плане содержащихся в них грамматических сведений о толкуемом слове. Ср., например:

«Лексикон треязычный» Ф. Поликарпова (1704 г.)	«Церковный словарь» П.А. Алексева (1794 г.)
Без, <i>предлог, с родительным сочиняется.</i>	БЕЗ, <i>предл: сочиняемый с родительным падежем.</i>
Бо, <i>союз винословный, значит понеже, потому что, для того что, а напреду речений и славян не полагается, понеже не глаголем бо бог бо наш, и прочая: малоросы обаче и напреду речений полагают.</i>	БО, <i>есть союз показующий причину, или винословный, и значит понеже, поелику, зане. Матф. 1. 20. Раждшееся бо в ней от Духа есть свята. Из чего видно, что союз сей нетолько при конце речения полагается, но и в самой речи не далеко от ея окончания.</i>

Важным представляется также прокомментировать наличие в *Церковном словаре* при ряде слов (*апостолодержательный, анепсий, балий* — всего около 50 слов) ссылок на «грамматику, Максимом Греком изданную на славенском языке». Как пишет И.В. Ягич в *Рассуждении южнославянской и русской старины*, многие сочинения Максима Грека «построены главным образом на умении пользоваться грамматическим толкованием», однако «Максим не составил ни полной греческой, ни полной славенской грамматики и все-таки в старину ссылались на него как на первого и выдающегося знатока всех относящихся сюда вопросов (...) наряду с отцами церкви» [Ягич 1886, 297–298]. При составлении Словаря П.А. Алексеев пользовался третьим, московским изданием *Грамматики* М. Смотрицкого, которая получила название «Максимовой» [Засадкевич 1883, 61]. Дело в том, что при ее печатании издатели, ориентируясь на публику, «не привыкшую к подобного рода сочинениям» [Ягич 1886, 297–298], пытались «внушить доверие и уважение к труду Смотрицкого», и поэтому «присоединили к грамматике длинные рассуждения» из сочинений Максима Грека о том, что «изучение этой науки не ведет к ересям», скрыв при этом имя автора «как отступника от православия» [Засадкевич 1883,

133–135]⁵. Вследствие этого, как пишет митрополит Евгений Болховитинов, долгое время многие приписывали составление *Грамматики*, изданной в 1648 году, не Мелетию Смотрицкому, а Максиму Греку [Засадкевич 1883, 61]. П.А. Алексеев знал об этом (в чем можно убедиться как и из непосредственных ссылок на *Грамматику* Смотрицкого, имеющих во многих словарных статьях *Церковного словаря* (*дасиа, догматственный, дозорство*), так из заметки *О грамматике Славенской*, составленной П.А. Алексеевым и находящейся в его архивном деле, в которой, в частности, сказано: «Мелетий Смотрицкий монах российской издал в Вильне 1619 грамматику Славенскую, которая после в 1721 году выдана в Москве [ОР РГБ. Ф. 557. Д. 90. Л. 328]), но, видно, руководствуясь традицией, счел возможным сослаться на Максима Грека как на издателя славянской *Грамматики* не только в тех случаях, когда толкуемые слова извлекались из сочинений, написанных греческим ученым, но и тогда, когда они были извлечены непосредственно из грамматической части издания, составленной, как это было отмечено выше, Мелетием Смотрицким.

Таким образом, в *Церковном словаре* П.А. Алексеев, опираясь на древние грамматические и лексикографические руководства, впервые в истории отечественной лексикографии дал грамматическое толкование многим древним славянским и иноязычным «речениям», употребляющимся как в текстах Библии, так и в других церковных книгах.

Библиография

- Алексеев П.А., 1773, *Церковный словарь*, 1-е изд., Москва.
 Алексеев П.А., 1776, *Дополнение к Церковному словарю*, Москва.
 Алексеев П.А., 1779, *Продолжение Церковнаго словаря*, Москва.
 Алексеев П.А., 1794, *Церковный словарь*, 2-е изд., Санкт-Петербург.
Каталог имен // Библия, Москва, 1762.
 Ломоносов М.В., 1755, *Российская грамматика*, Москва.
 Засадкевич Н., 1883, *Мелетий Смотрицкий как филолог*, Одесса.
 ОР РГБ. Ф. 557. Д. 90. Л. 328.
 Поликарпов Ф., 1704, *Лексикон триязычный*, Москва.
 Прокошина Е.С., 1966, *Мелетий Смотрицкий*, Минск.
 Смотрицкий М., 1648, *Грамматика*, Москва.
 Феликсов С.В., 2010, *П.А. Алексеев как лексикограф // Дис. ... канд. филол. наук*, Москва.
 Ягич И.В., 1886, *Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянскомъ языке*, Санкт-Петербург.

⁵ М. Смотрицкий перешел в униатство.

Summary**GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF THE LEXICOGRAPHICAL UNITS
OF *THE CHURCH GLOSSARY* BY PETER ALEKSEEV**

This article is devoted to the grammatical aspects of one of the most valuable works in eighteenth-century Russian culture – *The Church Glossary* by Archpriest P. A. Alekseev. It is the first work in the history of Russian lexicography that provides the most comprehensive description of church terms.

Joanna Joachimiak-Prażanowska

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

REGIONALNE CECHY FONETYCZNE W MIĘDZYWOJENNEJ KULTURALNEJ POLSZCZYŹNIE WILEŃSKIEJ (WOKALIZM)

Key words: phonetic features, vocalism, cultural Vilnius Polish language, interwar period

W niniejszym artykule chciałabym przedstawić swoiste cechy szaty graficznej „Kuriera Wileńskiego” z lat 1924–1939. Odzwierciedlają one lokalną wymowę¹ Polaków zamieszkujących Wileńszczyznę w podanym okresie, czyli mają tło fonetyczne. Skupiam się tu wyłącznie na zjawiskach z zakresu wokalizmu.

Jako źródło materiału językowego wybrałam „Kurier Wileński” [dalej: KW]. Ten niezależny dziennik demokratyczny wydawano codziennie z wyjątkiem dni poświęconych niemal przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Gazeta była adresowana do szerokiego grona zamieszkujących Wilno Polaków. Na łamach KW dominowały wiadomości polityczne, głównie doniesienia z Polski, a także z zagranicy. Oprócz informacji społecznych, kulturalnych i sportowych, ujętych w stałe bloki tematyczne, w dzienniku publikowano utwory zarówno znanych, jak i początkujących polskich literatów.

Wyekscerpowane z „Kuriera Wileńskiego” osobliwości fonetyczne skonfrontowałam z zasobami polskich źródeł normatywnych [SJPD², SO, SPP, SW, SWil]. W celach porównawczych korzystałam z prac Haliny Turskiej [TurJCh], Józefa Trypućki [TrJS-I], Zofii Kurzowej [KurzW] oraz Zofii Sawaniewskiej-Mochowej [SawOP, SawP], które dotyczą języka osobniczego XIX- i XX-wiecznych pisarzy i poetów, związanych z Kresami północno-wschodnimi. Sięgałam też do monografii Jolanty Mędelkiej³ [MędJP-II, MędJP-III, MędPW], charakteryzujących zjawiska z zakresu fonetyki występujące

¹ Jest to regionalny wariant języka polskiego, czyli północnokresowy dialekt kulturalny. Terminem tym posługuję się w takim rozumieniu, jakie zaproponowała Zofia Kurzowa [KurzO 106].

² Rozwiązanie wprowadzonych skrótów zamieszczam na końcu artykułu.

³ Schemat opracowania został zaczerpnięty z książki Jolanty Mędelkiej [MędJP-II 14–34].

w mowie Polaków z powojennej Wileńszczyzny oraz – sporadycznie – do innych opracowań [m.in. KarR, PihLP, SmułS].

Porównując frekwencję postaci regionalnych w „Kurierze Wileńskim” wydawanym w latach 20. z ich frekwencją w rocznikach KW z lat 30. i komentując dostrzeżone zmiany, uwzględniałam dysproporcję w liczbie ekscerpowanych tekstów (6 roczników z lat 20. i 10 z lat. 30.). Tak więc zarówno wszelkie dane liczbowe, jak i wyciągane na ich podstawie wnioski, są w dużej mierze przybliżone (niemniej pozwalają – jak sędzę – wyrobić sobie ogólne pojęcie o nasyceniu fonetyzmami regionalnymi badanej gazety w obu porównywanych okresach).

Do prezentacji wybrałam zjawiska najczęstsze i – jednocześnie – najbardziej charakterystyczne dla wymowy północnokresowej.

Rozkład członów oboczności o // ó

1. ó jako odpowiednik ogpol. o:

- a) w przymiotnikach na **-ny**: **gróźny**: *gróźne rezultaty* – 31/120/2⁴; **potwierdzony**: *okoliczności udowodniono Kontraktem, potwierdzonym przez (...) Dyрекcję* – 39/240/3; **rozmówny**: *Pasażer był bardzo rozmówny* – 36/250/9 i 37/150/4;
- b) w czasownikach przedrostkowych **-jrzyć**: **spójrzeć**: *nie chce spojrzeć* – 25/60/4; **spójrzal**: *spójrzal na gwiazdy* – 25/220/3;
- c) w rzeczownikach r.m. przed sufiksem **-ek**: **podwieczórki**: *podwieczórki i kolacje* – 24/77/1⁵; **przymrózkami**: *przymrózkami poczynił spustoszenia w (...) warzywach* – 30/140/3; **schówki**: *schówki między bielizną* – 30/170/3;
- d) w mianowniku lp. rzeczowników r.m.: **kociół**: *„kociół” (...) ciągle kipi* – 24/26/1 i 25/290/4, 29/20/3; **tabór**: *Tabór lotniczy* – 33/290/2; **trójglós**: *Potęźny trójglós miłości i poświęcenia* – 27/30/4;
- e) w dopełniaczu lm. rzeczowników r.n.: **rzemiósł**: *Wystawa sztuki i rzemiósł* – 24/12/3 i 24/77/2, 27/80/4, 30/150/2, 34/60/3⁶;
- f) w rdzeniach czasownikowych, rzeczownikowych i przymiotnikowych z obocznością o // ó: **cokółu**: [Pomnik] *bez cokółu* – 24/124/4; **odbióru**: *Regulacja siły odbióru* – 38/1/5; **pomóc**: *ażeby pomóc (...) nastąpić mogła* – 24/6/2 oraz 29/130/1, 34/300/4, 36/120/10;
- g) inne wypadki: **jednakowóz**: *Jako dziennikarz jednakowóz ten stan rzeczy odczuwam na sobie* – 31/180/2 i 38/1/5; **któs**: *któs z widzów zdołał zawołać o pomoc* – 32/170/2; **ósmiu**: *ósmiu uzbrojonych bandytów* – 24/103/4 i 31/160/3⁷.

⁴ Liczby oznaczają w tym zapisie kolejno: rok wydania czasopisma, numer i stronę.

⁵ Zapis w TurJCh 22–23.

⁶ Podaje też KurzW 71.

⁷ Poświadczono też w TrJS-I 109.

2. o jako odpowiednik ogpol. ó:

- a) w mianowniku i bierniku lp. rzeczowników r.m.: **okolnik**: *Powołując się na powyższy okolnik* – 28/1/6; **padol**: *padol ziemski* – 24/97/2; **pobor**: *Pobor rekruta* – 24/114/1⁸; **stog**: *stog siana* – 24/116/4; **wodz**: *wodz narodu* – 24/101/2⁹ oraz 9 poświadczeń¹⁰;
- b) w dopełniaczu lm. rzeczowników r.ż. i r.n. z końcówką zerową: **jagod**: *pochwyił butlę czarnych jagod* – 36/250/9; **osob**: *5 osob* – 30/250/4; **plocień**: *cały zbiór przedstawia chaos składu płocień* – 25/250/2; **stodoł**: *Wichura (...) pozrywała z kilku stodoł strzechy* – 34/70/3; por. też: **wrot**: *z otwartych wrot żelaznych* – 37/320/3;
- c) w końcówce **-ów** w dopełniaczu lm. rzeczowników r.m.: **obrazow**: *Wystawa obrazow* – 28/1/1; **oszustow**: *grasuje szajka oszustow* – 24/89/4; **stołow**: *Cerata (...) do stołow* – 25/179/4 oraz 24/25/1, 24/93/2, 24/113/1, 30/160/2, 33/30/3, 34/140/4, 36/80/7, 38/10/1;
- d) w rozkaźniku: **spojrzmy**: *Spojrzymy, jak spędzają czas* – 35/240/4¹¹; **spróbuj**: *Palaczu! Spróbuj i osądź sam!* – 34/90/2; **spróbój**: *spróbój wejść* – 31/180/2;
- e) w formacjach rzeczownikowych z sufiksami **-ek**, **-ka**: **kościółek**: *protestanci wzniesli mały kościółek* – 24/40/2 i 31/160/3, 31/230/3, 37/1/5 (2 razy)¹²; w **kościółku**: *wśród chcących się pomodlić w kościółku* – 30/230/5; **wodek**: *Skład (...) wodek* – 24/75/4¹³;
- f) w rdzeniach rzeczownikowych i czasownikowych z obocznością **o // ó**: **drożnik**: *wezwania drożnika*¹⁴ *nie usłuchali* – 39/171/7 (2 razy); **przywrocenie**: *Przywrocenie swobody* – 24/24/1 i 24/64/2; **sobotkowa**: *noc sobotkowa* – 25/140/3; **spodnice**: *biedactwo odziane w (...) podarte spodnice* – 31/190/4; **wytworców**: *ostrzegając wytworców* – 25/180/3 oraz 13 poświadczeń tej cechy fonetycznej¹⁵;
- g) w rdzeniach różnych części mowy z ogpol. **-ó** w całym paradygmacie: **choru**: *Spiewy (...) wykona chór PZK (...) pod batutą kierownika choru* – 24/134/3 i 35/320/9¹⁶; **probował**: *probował uciszyć zebranych* – 30/230/2 i 38/1/7¹⁷; **sprobowała**: *sprobowała upadku z samolotu* – 24/152/4¹⁸; **wiorów**: *zwolnienie od opłat (...) wiorów korkowych* – 24/149/4¹⁹; **wroźba**: *kryzys (...) się nie skończył*,

⁸ Zapis też w TrJS-I 97.⁹ Notują także: KurzW 224, TurJCh 14, TrJS-I 96.¹⁰ Są to: 25/250/3, 25/280/5, 27/1/4, 29/250/2, 31/60/4, 32/110/4, 33/220/2, 35/80/3, 39/171/4.¹¹ Od północnokresowego czasownika *spójrzeć* już w wiekach wcześniejszych tworzone na ogół formę rozkaźnika z o: *spojrz* [KurzW 225].¹² Notuje też TrJS-I 94.¹³ *Wodeczka* rejestruje TurJCh 16.¹⁴ Postać drożnik bez uwag rejestruje SWil, SW zaś odsyła do hasła dróżnik.¹⁵ Zob.: 24/4/2, 24/7/2, 24/64/2, 24/143/4, 25/90/2, 25/250/3, 29/30/3, 29/60/4, 30/190/2, 30/260/4, 34/40/3, 34/338/10, 39/39/2.¹⁶ Rejestrują też: TurJCh 17, Tr JS-I 103, KurzW 71 i 224, SawOP 46, SawP 198.¹⁷ Zarejestrowane też w TurJCh 17 i TrJS-I 100.¹⁸ Notuje TrJS-I 100.¹⁹ Zapisy w TurJCh 17 i TrJS-I 103, w SW z kwalif. *mało używ.*

a już pojawia się wroźba jego wznowienia – 24/86/3²⁰ oraz 19 przykładów tego zjawiska²¹;

- h) w innych formach: **jednodniowka**: *Jednodniowka ilustrowana* – 24/131/1; **Krakow**: *Krakow 5 VII* – 28/150/2; **Nowogrodzyczna**: *Wilno, Wileńszczyzna i Nowogrodzyczna* – 24/2/1; **Nowogrodzka**: *Nowogrodzka (...) Szkoła Powszechna (...), Nowogródek* – 39/169/7; **pojdzie**: *człowiek wartościowy nie pojdzie na żołnierza* – 24/136/3.

W polszczyźnie etnicznej do wahań w doborze kontynuantów *o* jasnego i *ó* pochylonego dochodziło jeszcze przez cały wiek XIX²², na Kresach jednak zjawisko to osiągnęło szczególne duże natężenie. Na chwiejność charakterystyczną dla dawnego języka ogólnopolskiego nałożyło się tu oddziaływanie białoruszczyzny, w której występują tylko samogłoski jasne [zob. KurzW 74–75; por. też MędJP-II 17].

Mieszanie *o* z *ó* odzwierciedliło się w KW bardzo wyraziście, silniej²³ niż w powojennej prasie wileńskiej, w której – notabene – formy ze wskazaną samogłoską też ujawniły się licznie [zob. MędJP-II 14–17 i MędJP-III 12–18; por. też w MędPW 22–23 stosunkowo bogaty materiał wyekscerpowany z tużpowojennej „Prawdy Wileńskiej”]. Wahania wystąpiły w rozmaitych kontekstach fonetycznych i w różnych kategoriach gramatycznych, w takich jednak, w jakich od dawna notuje się je na Kresach północno-wschodnich. Ponadto wiele słowoform funkcjonowało we wskazanej swoistej postaci fonetycznej nie tylko we wcześniejszej polszczyźnie północnokresowej, ale też w jej powojennej odmianie, np.: *rozmówny, spójrzyć, kociół, rzemiósł, pomóc* ‘pomoc’, *któs, okolnik, kościolek, spodnica, chor* [zob. MędJP-II 14–17 i MędJP-III 12–18]. Na ogół też, tak jak w KW, w tekstach pochodzących z Kresów północno-wschodnich liczniej występują formy z *o* niż z *ó* [zob. KurzW 69–71 i MędJP-III 14–17]. Tak więc można powiedzieć, że zarówno rozkład kontynuantów *o* jasnego i *ó* pochylonego, jak i obfitość przykładów, które go ilustrują, są w KW wybitnie północnokresowe.

Akanie

1. Rozszerzenie *o* do *a*:

- a) w sylabie przedakcentowej: w **apancerzonej** *stalą grocie* – 32/160/3; *Europa jest jednamysłna* – 29/100/2; *Wyniki (...) natujemy* – 39/34/3; *zdałaliśmy zauważyć* – 24/113/1 oraz 23 poświadczenia tej cechy fonetycznej²⁴;

²⁰ Formę *wrożyć* rejestrują KurzW 71, TurJCh 18 i TrJS-I 93.

²¹ 24/3/2, 24/3/3; 24/95/3, 24/123/4, 24/124/2, 24/150/1, 25/150/1, 25/210/3, 26/260/1, 27/1/4, 28/30/3, 29/30/3, 29/90/4, 31/290/4, 33/310/1, 35/250/9, 36/170/3, 38/340/1, 39/110/1.

²² Pewne wahania i oboczności utrzymują się nawet współcześnie, np. postaci *czegoż // czegoż, dwóm // dwóm* [SPP].

²³ Dokonując porównań ilościowych, mnożę materiał z KW przez 5–6, taka bowiem jest w przybliżeniu różnica w objętości ekscerpowanych tekstów KW i powojennej prasy wileńskiej.

²⁴ Zob.: 24/40/2, 24/56/3, 24/75/4, 25/40/4, 25/60/4, 25/200/1, 26/70/1 27/50/2, 29/150/2, 29/180/1, 30/40/4, 30/230/3, 33/1/5, 33/10/1, 33/240/3 (2 razy), 35/10/4, 37/20/6 (2 razy), 38/230/6, 38/350/6, 39/70/6, 39/240/1.

b) w sylabie poakcentowej: **nieba może będzie błękitne** – 39/70/5; w wieku **okoła miesiąca** – 24/81/4; **dla pociągu popularnega** – 39/32/5; **zdarzały się dosyć rzadka** – 26/230/3 oraz 24/4/1, 24/104/1, 25/20/1, 25/150/2, 28/90/2, 28/110/2, 31/170/1, 31/290/4.

2. Hiperpoprawne o jako odpowiednik ogpol. a:

a) w sylabie przedakcentowej: *Sytuacja w Morokko* – 25/120/1; *beczki asenizacyjne* – 39/140/4; *samolot posażerski* – 32/160/3; *kurę skrodziono* – 30/150/4; **zgłoszający się do urzędu** – 24/114/1 oraz 21 przykładów tego zjawiska²⁵;

b) w sylabie poakcentowej: **dogodno komunikacja** – 39/171/7; *Meble (...) można zamawiać* – 31/20/4 i 25/100/4; *Thum zalego kościół* – 30/130/2; *subwencja (...) zostało użyto na opłacenie czesnego* – 24/6/1 oraz 9 poświadczeń²⁶.

3. Rozszerzenie e do a:

a) w sylabie przedakcentowej: *dziewczęta się dowiadziały* – 39/171/6; *jasteśmy państwem wielkim* – 24/33/1; *student stypandyta* – 26/90/3; **wialobarwność kwiatów** – 39/70/5 oraz 24/51/2, 24/147/3, 25/150/2, 27/30/3, 34/180/4, 38/280/1;

b) w sylabie poakcentowej:

– w formach zakończonych w ogpol. na –‘e: **niektórzy członkowie sekcji** – 24/13/3; *piszący na maszynie* – 28/250/4; *Były odcienia wątpliwe* – 24/1/3; *A, ot i życia* – 35/220/9 oraz 24/6/1, 24/31/3, 24/41/4, 24/45/1, 24/66/3, 25/70/2, 25/90/1, 26/40/4, 28/1/5, 29/50/2, 29/130/1, 39/170/6;

– w pozycji wygłosowej²⁷ po spółgłoskach **š, č, ž** oraz **c**: **miejscowi działacza** – 27/40/3; **Weża mają troskliwą opiekę** – 39/1/6; *cytuje wysoca kompromitujący (...)* *list* – 26/160/2 oraz 24/33/1, 34/220/5, 36/1/5, 39/210/3;

– w innych wygłosowych pozycjach fonetycznych: *Widowisko gotowa* – 25/40/4; *Pieniądze, uzyskana za (...)* *cukier* – 24/105/4; *Odybło się (...)* **walna nadzwyczajne zebranie** – 37/301/6 oraz 25/250/3, 28/20/5, 33/320/2;

– w śródgłosie w formie 1. os. lp. czasu przeszłego czasowników r.m.: (Z wypowiedzi mężczyzny) **Ścisnęłam mu z współczuciem rękę i pocieszyłem go** – 24/6/2; (Z wypowiedzi mężczyzny) **omal nie zabiłam się, (...)** *zrujnowałem sobie ten śliczny (...)* *garnitur* – 24/6/2.

4. Hiperpoprawne e jako odpowiednik ogpol. a:

a) w sylabie przedakcentowej: *Powstrzymanie dewastacji lasów wileńskich* – 39/260/4; **Kazematy bez dachów** – 25/190/2; *Dziś nikt nie pemięta* – 25/180/1; *bawił się senatorjum* – 28/110/2; oraz 24/43/4, 25/110/3 (2 razy), 25/210/3, 30/180/2, 34/60/4, 36/80/4;

²⁵ Są to: 24/4/3, 24/41/4, 24/45/1, 24/134/2 (2 razy), 25/20/2, 25/90/1, 26/80/3, 28/240/3, 28/160/2, 29/290/3 (2 razy), 30/70/2, 31/80/1, 31/250/4, 32/1/4, 33/40/3, 36/250/4, 37/180/2, 39/60/3, 39/140/4.

²⁶ 24/4/2, 24/47/4, 24/102/1, 28/70/3, 31/100/1, 33/180/2, 37/260/4, 39/200/4, 39/220/4.

²⁷ Wygłosem nazywam końcową głoskę wyrazu, nagłosem – głoskę początkową, śródgłosem zaś – środek wyrazu [zob.: Wiśniewski 1998, 36–37].

b) w sylabie poakcentowej:

- w formach zakończonych w ogpól. na –‘a: *Uroczystość otwarcie* – 33/270/3; *dwa przedstawienie „Czerwonego Kapturka”* – 39/290/4; *Według zdanie prof. Wodzickiego* – 39/170/2 oraz 22 przykłady ilustrujące to zjawisko²⁸;
- w pozycji wygłosowej po spółgłoskach **š, c**: *sytuacja polityczna (...) jest lepsze* – 29/200/1; *Mniejsze o nazwisko* – 25/180/1 (2 razy); *pierwsze rata (...) winna być wyplacona* – 25/130/1 i 39/10/2 oraz 24/106/6, 26/80/4;
- w innych wygłosowych pozycjach fonetycznych: *Pisme owe redagują (...) po rosyjsku* – 26/90/3; *prowadzone jest akcja dywersyjna* – 24/28/1; *część tej biżuterii (...) została rozrzucone na ulicy* – 27/90/4 oraz 24/36/4, 24/65/3;
- w śródgłosie w formie 1. os. lp. czasu przeszłego czasowników r.ż.: (Z wypowiedzi kobiety) *Zwróciłam się do kancelarii p. sędziego pokoju (...). Tu się dowiedziałem, że sprawa moja była wyznaczona* – 24/84/3; (Z wypowiedzi kobiety) *Dałam parę przykładów (...), bo (...) miałem sposobność je zaobserwować* – 34/200/4;
- w innych pozycjach śródgłosowych: *Dessent jest zawsze trudniejszy niż obrona* – 39/171/1; *Udział biorą najlepsze (...) siły kinematografii polskiej* – 38/270/8; *Wczorek w Sądzie (...) miała być rozpatrywaną sprawa* – 26/120/4 oraz 24/73/2, 25/10/2.

Identyfikowanie nieakcentowanych samogłosek *o* i *e* z *a* zazwyczaj słabo odzwierciedlało się w tekstach pochodzących z Kresów północno-wschodnich, ponieważ – jak się powszechnie sądzi – piszący zdawali sobie sprawę z prowincjonalności takiej wymowy i starali się nie ujawniać jej w rękopisach i drukach [zob. zwłaszcza PihLP 126–128].

Na tym tle wyróżnia się grafia KW, bardzo wyraziście bowiem odbija ona obie strony zjawiska akania: utożsamianie *o* i *e* z *a* oraz hiperpoprawne wymiany odwrotne. Przykłady są i liczne, i tak charakterystyczne, jak np. substytucja *a > e* i *e > a* w wygłosie po spółgłoskach miękkich czy też mylenie rodzajów w czasie przeszłym czasowników²⁹. Źródłem akania jest oddziaływanie języka białoruskiego. Możliwe są także wpływy fonetyki litewskiej [zob. MędJP-II 20]. Również powojenna prasa wileńska silnie, choć słabiej niż KW, odzwierciedliła akanie zdarzające się zapewne w mowie jej redaktorów. Jednakże w ”Prawdzie Wileńskiej”, gazecie wychodzącej tuż po wojnie, zjawisko to występowało szcątkowo [zob. MędPW 23–24], ale w późniejszej prasie liczba przykładów zwiększała się [zob. MędJP-II 18–20], by osiągnąć znaczne natężenie w okresie późnopo wojennym [zob. MędJP-III 19–27].

²⁸ Zob.: 24/96/2, 24/112/6, 24/141/2, 25/60/3, 25/80/3, 25/100/4 (2 razy), 25/210/3, 25/260/2, 25/270/4, 26/70/2, 27/100/2, 28/90/1, 28/160/3, 31/240/3, 31/250/3, 38/50/4, 38/120/5, 39/70/1, 39/171/5, 39/171/6.

²⁹ Identyfikowanie form r.m. i r.ż. można też traktować jako zjawisko o podłożu fleksyjnym [zob. Turska 1964, 25–26], którego utrwaleniu się sprzyjało akanie.

Zwężenie *o* do *u*

1. Samogłoska **u** jako odpowiednik ogpol. **o**:
 - a) w czasownikach prefiksalnych oraz formacjach odczasownikowych: *potrzebna osoba do (...) **prówdzenia** mleczarni* – 24/143/4; *Jak się **ukazuje** (...) zaobserwowano (...) nie notowane (...) zjawisko* – 37/150/3; *W czasie przeprowadzania robót kanalizacyjnych (...) **usunęła się** ziemia* – 24/141/3; *zdarzył się wypadek **usunięcia się** góry* – 35/250/10;
 - b) w wyrazach obcych: *są agentami **kumunistycznymi*** – 31/240/3; *widoczne tylko ogólne **kuntury*** – 33/140/2; *usiłowali otruć się **plutunowy** (...) i jego żona* – 25/80/3³⁰;
 - c) w innych formach: *Mając dostateczną **ilłość** (...) złotych* – 25/200/3; *Ekspozytury Związku Izb Przemysłowo-Handlowych* – 39/169/5; *sprawa (...) nasunęła mi **sporu** refleksji* – 29/30/4; *wywiezionu wtórnice Mickiewicza do Rosji* – 24/4/3.
2. Hiperpoprawne **o** jako odpowiednik ogpol. **u**:
 - a) w czasownikach prefiksalnych i formacjach odczasownikowych: *wśród zastrzeżeń i **obolewań** przyjmuje do wiadomości* – 24/2/2; *Okazały się w handlu naśladownictwa kawy ziarnistej „Enrilo”* – 26/120/3; *Zarząd (...) ostatnio **otworzył** fundusz nagród* – 28/160/2;
 - b) w wyrazach obcych: *przedstawiał jakąś władzę **feodalną*** – 39/30/3³¹; *kolomny (...) fabryk* – 24/95/3; *ludy **mozulmańskie*** – 39/171/1 (2 razy); *oddział **umundorowany*** – 39/169/1 oraz 24/136/3, 25/100/3, 38/140/3, 39/50/10;
 - c) inne wypadki: *wiatry **południowo-wschodnie*** – 38/350/2; *Zdołano **urochomić** (...) kredyt* – 26/180/1; *przez **wytłoczoną** szybę dostali się złodzieje do mieszkania* – 24/46/3.

W wiekach wcześniejszych ukanie rzadko rejestrowano na Kresach północno-wschodnich [zob. KurzW 86 i 230 oraz MędJP-II 21–22]. Na terenach pozostających pod wpływem białoruskim zjawisko to należy traktować w zasadzie jako odwrotność akania. Akanie jest utożsamianiem nieakcentowanego *o* z *a*, ukanie zaś powoduje podwyższenie nieakcentowanego *o* do *u*, dlatego „W polszczyźnie ludności bilingwalnej z prymarnym systemem białoruskim [...] na ogół nie zachodzi redukcja nieakcentowanego [o] do [u], a raczej mamy do czynienia z akaniem [...]” [SmuŚ 56]. Tymczasem materiał wyekscerpowany z KW jest stosunkowo bogaty. Mamy niewielką przewagę form z hiperpoprawnym *o*, co może oznaczać, że redaktorzy zdawali sobie sprawę z istnienia ukania zarówno

³⁰ Wynotowałam też postaci z samogłoską **u** osobliwą z dzisiejszego punktu widzenia, lecz wówczas jeszcze normatywną [SW, SO, SJPD]: *efektowną **ruladą** zwyciężył Sztekker* – 29/90/3; *do sprzedania stoliki, krzesła, **taburety*** – 35/300/10; *śliczną miała przytem **tualetę*** – 36/150/7; *Szczotki gospodarcze, **tualetowe*** – 25/142/1 oraz 25/290/4, 39/10/4; *hurtownie **tytuniowe*** – 24/1/3 i 24/1/3, 24/2/1, 24/59/3, 24/98/3, 25/260/3, 6/240/4, 27/60/3, 31/30/3, 39/300/6; *rypsy, **wuale**, i szewioty* – 24/56/1. Formy takie utrzymywały się jeszcze w powojennej prasie wileńskiej [zob. MędJP-II 21–22 i MędJP-III 27–30].

³¹ Jest to jeszcze – być może – starsza postać fonetyczna wyrazu [w SWil z odsył. do *lenny*, *lennicyz*, w SW bez kwalif., w SJPD z odsył. do *feudalny*]. Jednak w polszczyźnie pod zaborem ros. uważa się ją za rusycyzm, por.: *феодальный* [KarR 120].

w języku otoczenia, jak i własnym. Podobną sytuację zaobserwowano w powojennej prasie wileńskiej [zob. MęđJP-II 21–22 i MęđJP-III 28–30]. Różnica w nasyceniu tekstów z lat 20. i 30. postaciami regionalnymi jest niewielka: w okresie wcześniejszym ujawniło się 14 form, w późniejszym zaś – 10.

Zwężenie *e* do *i* (*y*)

1. Samogłoska *i* (*y*) jako odpowiednik ogpol. *e*:

a) w pozycji poakcentowej:

- w mian. i bier. lm. rzecz. miękkotematowych: *Dalsze dochodzeni wykazało* – 37/120/4; *jabłonie, gruszy, śliwy* – 28/210/4; *ludzi ci zostali „sprzątnięci”* – 34/50/2; *światłe piwnicy do wynajęcia* – 29/180/4 oraz 25/230/3, 33/190/3, 39/210/1, 39/230/2;
- w 3. os. lp. czasu teraźniejszego (i przyszłego): *w gardle chrapi, jako szkapie* – 35/230/8; *Pani (...) piszy i piszy do gazet* – 29/20/3; *Bywa co i przepadni* – 36/340/3 oraz 29/150/3, 35/1/5, 35/1/10, 39/10/3;

b) w pozycji przedakcentowej:

- w ogpol. przedrostku *prze-*: *poglądy (...) nie bardzo trafiają do przykonania (...) ludowcom* – 29/140/1; *djeceże w ustawie nie przywidziane* – 26/150/2; *transport drzewa polskiego przyznaczonego na tranzyt Kłajpedy* – 39/10/2 oraz 27/10/3, 28/160/2;
- w różnych formach rzeczownikowych: *zostawili (...) fabrykę suchej dystylacji drzewnej* – 25/150/2; *nieuliczalna choroba* – 29/120/3; *z najciekawszych zakątków Wilińszczyzny* – 24/61/2 oraz 29/170/3, 35/220/9;

c) inne wypadki: *nie gniwaj się na starego* – 36/220/8³²; *stare, sprzed misiąca* – 36/210/5; *nich nie robią ludziom przykrości* – 31/120/2 i 31/180/2³³; *Urzędnik poselstwa sowickiego* – 28/110/2 oraz 39/171/1, 39/240/3; por. też samogłoski w pozycji pod akcentem, przeniesione – być może – z innych słowoform: *drylich do materaców* – 27/130/4; *zeszła po schodach do suteryny* – 31/30/3;

2. Hiperpoprawna samogłoska *e* jako odpowiednik ogpol. *i* (*y*):

- a) w pozycji poakcentowej, w 2. i 3. os. lp. czasu teraźniejszego: *Co się tycze sprzedazy* – 24/118/3;
- b) w pozycji przedakcentowej, w ogpol. przedrostku *przy-*: *skierowano do przechodni* – 399 *dzieci* – 27/10/3; *Cat przewitał się* – 24/139/2; *przewódca lekarzy* – 37/30/1; *jeden z przywódców* – 39/169/2 oraz 24/30/2, 24/97/2, 25/90/1, 28/100/2, 31/1/2, 38/220/6, 38/230/6, 39/10/2;
- c) inne wypadki: „*Metody*” *kamieniczników* – 39/160/3; *autorka nieniejszego sprawozdania* – 33/1/5; *Rekoszet wypadków w Niemczech* – 31/160/1 oraz 24/105/2, 25/200/2, 27/10/1, 37/180/2, 31/180/4; por. też wypadki zmiany

³² W rozkaźniku akcent mógł padać na sylabę wygłosową.

³³ Wyraz *nich* mógł być proklytyką albo też mieć osłabiony przycisk.

samogłoski w pozycji akcentowanej: *O bladym (...) świecie wjeżdżamy do Wilna* – 28/120/3; **Widzicie panowie jaki obraz** – 34/320/3.

Redukowanie – pod wpływem białoruskim – samogłoski *e* do *i* (*y*) notowano w polszczyźnie północnokresowej we wcześniejszych stadiach jej rozwoju. Początkowo, w wieku XVII–XVIII, zjawisko to zaznaczało się słabo [zob. KurzW 86, PihLP 129–131], później ujawniało się wyraziściej [zob. MędJP-II 22–24].

Wahania samogłosek w przedrostkach czasownikowych *prze-* i *przy-*, licznie reprezentowane w KW, mają niewątpliwie charakter fonetyczny, nie zaś – jak wcześniej w polszczyźnie etnicznej – morfologiczny, związany „z nie zawsze jeszcze precyzyjnym rozgraniczeniem ich funkcji”³⁴.

W KW redukcja *e* do *i* (*y*) wystąpiła w znacznym natężeniu, słabszym jednak niż w powojennej prasie wileńskiej [zob. MędJP-II 22–24 i MędJP-III 30–36]. Ciekawe, że – zwłaszcza wobec zaledwie dwóch przykładów wyekscerpowanych z tużpowojennej „Prawdy Wileńskiej” [MędPW 24] – frekwencja postaci regionalnych była mniejsza w latach 20. (26), większa zaś w latach 30. (31).

Wahania w użyciu samogłosek nosowych

Alternacja *ę* // *ą*:

- a) samogłoska przednia nosowa będąca odpowiednikiem tylnej nosowej: *nowa gałęź wywozu polskiego do Afryki* – 33/10/1 i 33/80/1, 39/309/2; *przed kilku miesiącami* – 24/160/1 i 30/290/1, 31/300/1, 36/170/5; **osięgniesz (...)** *pożądany skutek* – 39/90/2; **4 tysiące mieszkańców** – 25/180/3; **głodne zajęce** – 38/290/3 oraz 10 przykładów³⁵; por. też wahanie w bliskim sąsiedztwie: **zęb za ząb** – 39/32/5;
- b) samogłoska tylna nosowa będąca odpowiednikiem przedniej nosowej: *w ciągu miesiący* – 26/230/3; *widzi się fauna (...) bardzo ociążałego* – 24/5/2, *runęła 4-o piętrowa kamienica* – 24/27/1; *zbiegł z powierzonymi mu pieniędzmi* – 24/63/4; *za cały sprzęt (...) był stół* – 24/19/2; **20 tysięcy rodzin** – 33/260/2; *ze względu na to* – 25/140/3³⁶; *po zasięgnięciu opinji* – 24/81/4 oraz 16 poświadczeń³⁷.

W języku ogólnopolskim oboczność *ę* // *ą* stabilizowała się w drugiej połowie XIX w., jednak proces ten przeciągnął się na pierwszą połowę XX stulecia [zob.

³⁴ PihLP 131. Por. też uwagę A. Pihan o stanie w drukach XVII-wiecznych.: „Charakteru regionalnego cecha ta nabierze później, gdy w polszczyźnie ustali się zakres używania przedrostków *przy-* i *prze-*, zaś Kresy cechę tę, podtrzymywaną przez regionalną fonetykę – redukcję nieakcentowanej samogłoski *e* będą kontynuować”.

³⁵ Zob.: 24/41/4, 24/118/3, 25/130/3, 31/60/1, 31/120/3, 31/240/1, 33/120/2, 36/30/10, 37/301/4, 39/90/4, 39/300/3.

³⁶ KurzW 89 notuje postać *wzglądem*.

³⁷ Są to: 24/2/3, 24/15/2, 24/49/3, 24/50/4, 24/129/3, 24/142/2, 25/190/3, 25/280/2, 26/290/4, 28/10/1, 28/180/3, 28/230/2, 29/170/1, 29/200/2, 33/260/2, 33/270/3.

Bajerowa 1993, 45]. Na Kresach północno-wschodnich wahania nabrały większego natężenia, stabilizacja oboczności – być może pod wpływem języka białoruskiego, w którym nie ma nosówek – dokonywała się wolniej [zob. KurzW 226 i MęJP-II 25]. Stan odzwierciedlony w KW zdaje się ten fakt potwierdzać. Niektóre z postaci rejestrowano na Kresach wcześniej, por.: *miesiący* [KurzW 89], *piątro* [TurJCh 31, TrJS-I 117, SawOP 50, KurzW 226], *pieniądzmi* [KurzW 89], *sprzął* [KurzW 89], *zasiągać* [KurzW 226].

Wymiany samogłosek *ę* i *ą* stosunkowo obficie występowały też w wileńskiej prasie powojennej [zob. MęJP-II 25 i MęJP-III 36–38; por. też trzy przykłady w MęJPW 26–27]. Ciekawe, że utrzymało się w niej wiele form poświadczonych w KW (część z nich była notowana jeszcze wcześniej), por.: *gałęź*³⁸, *miesiącami*, *osięgniesz*, *tysiące*, *miesiący*, *ociężały*, *piątro*, *pieniądzmi*, *sprzął*, *tysiący*. W tych wypadkach można mówić o leksykalizacji zmiany samogłoski. W miarę upływu czasu w KW rzadziej dochodziło do mieszania nosówek (lata 20. – 28 przykładów, lata 30. – 20).

Mieszanie *i* z *y*

1. Samogłoska *y* jako odpowiednik ogpol. *i*:

- a) po spółgłoskach przedniojęzykowych: **prymabaleryna** *jego cesarskiej Mości* – 27/40/4; *a ja półnagi robiłem rywiere* *poleską w słońcu* – 24/20/2; **wypadek zlynczowania** *złodzieja* – 33/130/3;
- b) po spółgłoskach tylnojęzykowych: *Zasadą (...)* **hygieny** *jest czystość ciała* – 24/143/2; *zawodowy* **hypnotyzer** – 35//190/4; *Samo słowo (...)* **działało (...)** *jak* **hypnoza** – 29/190/2; *Policja bada obecnie* **hypotezę** *porwania* – 38/40/1 (3 razy) oraz 11 przykładów³⁹.

2. Samogłoska *i* jako odpowiednik ogpol. *y*:

- a) po spółgłoskach przedniojęzykowych: *zwyczaję (...)* **aborigenów** – 28/280/2; *złoto i* **brilianty** (tytuł) – 36/250/10; *wieś* **czysto huculska** – 30/240/3; *Piszę (...)* **partitury orkiestrowe** – 35/80/10 oraz 8 poświadczeń tej cechy fonetycznej⁴⁰;
- b) po spółgłoskach tylnojęzykowych: *do budowy* **hidroelektrowni** – 28/170/3; *Przyczynek do* **hidrologji terenu** – 29/50/2; *gubernja witebska i* **mohilewska** – 24/138/2.

W KW do mieszania *y* z *i* dochodziło wyłącznie w wyrazach obcych, można więc sądzić, że – tak jak w drukach z centrum [zob. MęJP-II 32] – jest to wyłącznie zakłócenie graficzne. Jednakże niewątpliwy charakter graficzny ma w naszym materiale tylko *y* po *h* (np. *hygienu*, *hypnoza*). Natomiast litera *y* po *r* (*prymabaleryna*, *rywiera*) może odzwierciedlać rzeczywistą wymowę samogłoski *y* pod wpływem białoruskim

³⁸ W SO z ostrzeżeniem: *nie gałęź*.

³⁹ Zob.: 24/106/6 (2 razy), 25/60/1, 26/40/2, 27/10/4, 27/30/1, 29/50/2, 35/190/4 (2 razy), 35/240/4, 39/39/5.

⁴⁰ 24/4/3, 24/66/3, 24/68/4, 25/220/4, 26/270/1, 29/70/4, 31/180/1, 39/10/4.

(por. *прыма-балерына*), po *l* zaś (*zlynczować*) – wymowę północnopolską. Z kolei wybieranie litery (może też samogłoski?) *i* zamiast *y* ma oparcie w fonetyce rosyjskiej. Podobne fakty w analogicznym nasileniu odbija grafia powojennych gazet wileńskich [zob. MędJP-II 30–32 i MędJP-III 46–50]. Jednak w tużpowojennej „Prawdzie Wileńskiej” ujawniła się tylko graficzna zamiana *i* na *y* [zob. MędPW 28–29]. Liczba przykładów wynotowanych z roczników lat 20. była nieco większa niż liczba ilustracji pochodzących z roczników lat 30. (21 wobec 14).

Podsumowanie

Z „Kuriera Wileńskiego” z lat 1924–1939 wyekscerpowano 6 zjawisk odzwierciedlających fakty regionalnej wymowy z zakresu wokalizmu. W badanym dzienniku wystąpiły te cechy fonetyczne, które od kilku stuleci obserwuje się w polszczyźnie Kresów północno-wschodnich.

Większość zgromadzonych zjawisk odznaczała się dużą frekwencją tekstową. Najczęściej rejestrowano: *o* jako odpowiednik ogólnopolskiego *ó* (łącznie 91 poświadczeń), rozszerzenie *o* do *a* (39) oraz *e* do *a* (41), a także hipercpoprawne wymiany odwrotne (łącznie 95 przykładów). Roczniki „Kuriera Wileńskiego” z lat 20. były bardziej nasyczone osobliwościami fonetycznymi niż roczniki z lat 30. Jednak jedno zjawisko fonetyczne ujawniło się silniej w rocznikach z lat 30. niż w rocznikach z okresu wcześniejszego, a mianowicie: zwężenie *e* do *i* (*y*). Zatem można stwierdzić, że w drugim dziesięcioleciu okresu międzywojennego polszczyzna redaktorów „Kuriera Wileńskiego” stopniowo oczyszczała się z fonetycznych naleciałości regionalnych i zbliżała się do języka ogólnopolskiego. Mimo to stopień nasycenia jej regionalizmami fonetycznymi pozostawał stosunkowo duży.

W „Prawdzie Wileńskiej” wydawanej w latach 1945–1948, czyli niemal bezpośrednio po badanym okresie, na ogół występowało – proporcjonalnie do liczby ekscerpowanych tekstów – mniej osobliwości fonetycznych niż w „Kurierze Wileńskim”. Zazwyczaj cechy silnie zaznaczone w KW pojawiały się też stosunkowo często w „Prawdzie Wileńskiej”. Wyjątek stanowi akanie, wyraźnie odzwierciedlone w KW, natomiast w „Prawdzie Wileńskiej” ujawnione szczątkowo.

Wszystkie cechy fonetyczne wyekscerpowane z „Kuriera Wileńskiego” wystąpiły też w powojennej prasie wileńskiej. Generalnie ich natężenie w tekstach powojennych było jednak mniejsze⁴¹ (szczególnie dotyczy to prasy z lat 1945–1959). Z drugiej jednak strony, w powojennej prasie wileńskiej odzwierciedliła się znacznie większa różnorodność zjawisk regionalnych.

⁴¹ Wyraźniej niż w „Kurierze Wileńskim” ujawniło się po wojnie zwężenie *e* do *i* (*y*).

Bibliografia

- Bajerowa I., 1993, *Język ogólnopolski XX wieku // Encyklopedia kultury polskiej. Współczesny język polski*, red. Bartmiński J., t. 2, Wrocław.
- Wiśniewski M., 1998, *Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego*, Toruń.
- Turska H., 1964, *Wpływ substratu litewskiego na fleksję gwary polskiej. Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Komitetu językoznawstwa 20 II 1964 w Warszawie*, Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, Warszawa VII, z. 3.

Wykaz skrótów bibliograficznych

- KarR Karas H., 1996, *Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów*, Warszawa.
- KurzO Kurzowa Z., 1985, *O polskich dialektach kresowych*, „Język Polski” LXV, 99–108.
- KurzW Kurzowa Z., 1993, *Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w*, Warszawa.
- MęJP-II Mędelska J., 2000, *Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979). Lata 1945–1959*, t. 2, Bydgoszcz.
- MęJP-III Mędelska J., 2001, *Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979). Lata 1960–1979*, t. 3, cz. I, *Fonetyka, słowotwórstwo, fleksja, składnia*, Bydgoszcz.
- MęPW Mędelska J., 1999, *Język „Prawdy Wileńskiej”. Północnokresowa polszczyzna kulturalna w początkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny*, Bydgoszcz.
- PihLP Pihan-Kijasowa A., 1999, *Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku. Fonetyka*, Poznań.
- SawOP Sawaniewska-Mochowa Z., 1995, *O polszczyźnie w słowniku Szymona Dowkonta z połowy XIX wieku // Studia nad polszczyzną kresową*, red. Rieger J., t. 8, Warszawa, 195–200.
- SawP Sawaniewska-Mochowa Z., 1990, *Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo*, Warszawa.
- SJPD *Słownik języka polskiego*, 1958–1968, red. Doroszewski W., t. 1–10, Warszawa.
- SmułS Smułkowa E., 1999, *Sytuacja językowa w Ejszyszkach i okolicy // Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały sympozjum „Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie”. Warszawa 16–18 października 1997 roku*, red. Porayski-Pomsta J., Warszawa, 54–63.
- SO Szober S., 1937, *Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku*, Warszawa.
- SPP *Słownik poprawnej polszczyzny*, 1995, red. Doroszewski W., Kurkowska H., Warszawa.
- SW Karłowicz J., Kryński A.A., Niedźwiedzki W., 1900–1927, *Słownik języka polskiego*, t. 1–8, Warszawa.
- SWil Zdanowicz A. i in., 1861, *Słownik języka polskiego*, Wilno.
- TrJS-I Trypućko J., 1955, *Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX*, t. 1, Uppsala.
- TurJCh Turska H., 1930, *Język Jana Chodźki. Przyczynek do historii języka polskiego na obszarze północno-wschodnim Rzeczypospolitej*, Wilno.

Summary

REGIONAL PHONETIC FEATURES IN THE INTERWAR PERIOD OF THE CULTURAL VILNIUS POLISH LANGUAGE (VOCALISM)

This paper presents the phonetic peculiarities of vocalism functioning in the cultural Vilnius Polish language during the interwar period. The research reveals the most common phenomena as well as the most characteristic ones for the northern borderlands pronunciation. Characteristic linguistic facts were excerpted from “Kurier Wileński” published in 1924–1939. In the studied newspaper there were 6 effects reflecting the occurrence of regional dialect (vocalism). The majority of phonetic peculiarities were characterized by a high textual frequency. The most often recorded were the following ones: quaint *o* as an equivalent of common *ó*, the extension of *o* to *a* and *e* to *a*, as well as hypercorrect inverted alternations.

Magdalena Makowska

Katedra Filologii Germańskiej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

JAK POKAZAĆ LEK? OPAKOWANIA LEKÓW JAKO PŁASZCZYZNY WIZUALNE

Key words: text linguistics, text-picture relation, multimodal text

Chociaż od początków lingwistycznych badań nad tekstem tak w Polsce jak i w Europie minęło już ponad pół wieku, to właśnie obecnie lingwistyka tekstu zdaje się w sposób tak silny jak chyba nigdy dotąd wracać do swoich etymologicznych korzeni [por. Labocha 2009; Witosz 2009]. Słowo *tekst*, pochodzące od łacińskiego *textus* (*tkanina*), nawiązuje bezpośrednio do czasownika *texere* (*tkać*). Współczesny komunikat nie operuje wyłącznie elementami językowymi, ale coraz bardziej przypomina właśnie swoją plecionkę, którą oprócz słów tworzą także obrazy i/lub dźwięki. Tak powstają teksty multimodalne, które łącząc w sobie różne modalności optymalizują przekaz i tym samym usprawniają komunikację¹. Wnikając do hermetycznego dotąd świata tekstu tworzono wyłącznie przez elementy językowe, obraz nie tylko im towarzyszy, ale w niektórych przypadkach wręcz je zastępuje. To z kolei oznacza kolejne wyzwania, przed którymi staje współcześnie lingwistyka². W obliczu tzw. *przełomu wizualnego* lingwiści nie mogą dłużej pozostać „ślepi wobec obrazów” (*blind für Bilder*) [por. Schmitz 2005, tłum. M.M.]³. Dzięki elementom graficznym komunikat ma szansę stać się atrakcyjniejszy dla odbiorcy, silniej do niego przemawiać i bardziej przykuwać jego uwagę. Jak zauważa Werner Kroeber-Riel obrazy najszybciej trafiają do ludzkiego mózgu, co stanowi ważną informację także dla nadawców komunikatów, gdyż pozwala im zoptymalizować tekst multimodalny pod względem formalnym (np. rozmiar), zachowując przy tym jego podstawowe funkcje informacyjne⁴. Od wszelkich uczestników komunikacji

¹ Por. cztery maksymy konwersacyjne wg Paula Grice'a [1993].

² Relacje, w jakich pozostają wobec siebie różne modalności, w tym elementy językowe i obrazowe, są przedmiotem badań tzw. *Bildlinguistik* [por. Diekmannshenke, Klemm, Stöckl 2011].

³ Pojęcia *visuelle Wende* (przełom wizualny – tłum. M.M.) używają m.in. William Mitchell [1995], Nicholas Mürzoeff [1998], Klaus Sachs-Hombach, Jörg Schirra [2003].

⁴ „Bilder sind schnelle Schüsse ins Gehirn“ [Kroeber-Riel 1993, xi].

oczekuje się zatem rozwiniętej kompetencji multimodalnej, czyli świadomości tego, że przekaz informacji przebiega nie tylko w warstwie językowej, ale także dzięki obrazowi, typografii czy kompozycji tych elementów, które wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc spójną pod względem formalnym, funkcjonalnym i semantycznym całość [por. Stöckl 2012, 21]. Nie bez znaczenia są także szeroko rozumiany kontekst, w jakim pojawia się dany komunikat, oraz medium, przy pomocy którego informacja jest udostępniana [por. Bucher 2012, 19].

Teksty, które łączą w sobie elementy językowe i obrazowe, pojawiają się w niemal wszystkich sferach życia człowieka. Współcześnie trudno znaleźć np. takie pozycje wydawnicze, w których całkowicie zrezygnowano by z połączenia tekstu pisanego z elementami graficznymi. Nawet jeśli tekst literacki pozbawiony jest ilustracji, to już książka posiada zwykle ilustrowaną okładkę, którą również można rozpatrywać jako pewien komunikat, skierowany do odbiorcy literatury i wpływający na decyzje konsumenckie (jak zakup książki i przebieg lektury). Doskonałym tego przykładem mogą być książki dla dzieci, w których to publikacjach obraz często wręcz dominuje nad słowem [por. Makowska 2013a]. Elementy językowe współlistnieją z ilustracją także w prasie i to nie tylko tej codziennej, której często zarzuca się wręcz tabloidyzację, ale także w cenionych, opiniotwórczych tygodnikach [por. Makowska 2014]. Wreszcie szeroko rozumiana przestrzeń publiczna do obecnego w niej od dawna tekstu pisanego dołącza także liczne elementy graficzne czy dźwiękowe. Połączenie różnych modalności sprawia, że odbiór tekstów przebiega wielokanałowo, aktywizując nie tylko wzrok odbiorcy, ale także słuch czy nawet węch (np. pachnące kartki świąteczne). Niektóre teksty multimodalne ciągle utożsamiane są przede wszystkim z jednym rodzajem medium, np. mem, czyli ilustracja opatrzona komentarzem i umieszczona na charakterystycznym, czarnym tle, najczęściej kojarzy się z Internetem [por. Makowska 2013b]. Część tekstów multimodalnych charakteryzuje się jednak tym, że z powodzeniem migrują one między różnymi mediami i nie zatracają przy tym swoich właściwości gatunkowych [por. Fix 2008, 32]. Tak np. ulotka, zawierająca informacje reklamowe, może pojawić się zarówno tradycyjnie w formie drukowanej, jak w formie elektronicznej, pozostając wciąż tym samym rodzajem tekstu. Podobnie informacje pojawiające się na opakowaniach leków stanowią przykład tekstu multimodalnego, który może być prezentowany z użyciem różnych nośników: komunikat ten występuje bowiem zarówno na tradycyjnych opakowaniach leków, jak też w folderach, udostępnianych w wersji drukowanej w tradycyjnych aptekach bądź w wersji elektronicznej w aptekach internetowych. W każdym z tych trzech przypadków szczególnie eksponowana jest strona główna opakowania, dlatego to ona jest przedmiotem analizy lingwistycznej w niniejszym artykule. Podlegający tej analizie korpus badawczy stanowi 50 dostępnych obecnie na rynku polskim opakowań leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, wydawanych bez recepty⁵.

⁵ Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Reckitt Benckiser Polacy rocznie zużywają około 2 miliardów tabletek przeciwbólowych. Jedna piąta Polaków spożywa 52 tabletki przeciwbólone rocznie, przy czym mowa tu o lekach dostępnych bez recepty, najczęściej kupowanych poza apteką. [por. Moskał, URL].

Analiza lingwistyczna relacji tekst-obraz, do jakiej dochodzi w przypadku opakowań leków, wymaga znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak współczesna lingwistyka definiuje tekst?
2. W jakiej relacji występują wobec siebie tekst i obraz, obecne na opakowaniach leków?
3. Jaką rolę w percepcji opakowań leków odgrywają współtworzące je elementy (tekst-obraz-typografia)?
4. Czy opakowania leków można traktować w kategorii płaszczyzn wizualnych?

Punktem wyjścia do rozważań nad tym, w jakiej relacji pozostają wobec siebie elementy językowe i obrazowe, umieszczone na opakowaniach leków, musi stać się odpowiedź na pytanie o to, co jest tekstem. Wśród badaczy nie ma jak dotąd jedności w tej kwestii. Świadomość tego, że mimo wieloletnich badań lingwistom nie udało się wypracować jednego, powszechnie obowiązującego pojęcia tekstu, sprawia, że w obliczu mnogości różnych ujęć tej kategorii lingwistycznej Ingo Warnke uznał lingwistykę tekstu za dziedzinę o nieprecyzyjnym przedmiocie badań⁶. Do kwestii tej odniósł się m.in. Michael Klemm, którego zdaniem każdy z lingwistów badających tekst sam powinien możliwie precyzyjnie określić, jak rozumie to pojęcie. W sytuacji, gdy nośnikami informacji oprócz papieru stają się ściany budynków, różne powierzchnie użytkowe, a nawet ludzka skóra (gdy pojawiają się na niej tatuaże), wielość definicji pozwoli bowiem otworzyć się na różne perspektywy rozumienia tekstu [por. Klemm 2002, 153]. Postulat włączenia także do polskich badań tekstologicznych perspektywy intersemiotycznej, z jednoczesnym myśleniem o tekście w kategoriach jego polisensoryczności czy wielokodowości, zawarła w swoich pracach m.in. Bożena Witosz [2007, 2009]. Na wielowymiarowość współczesnej komunikacji zwraca także uwagę Aleksander Wilkoń wskazując, że „warunkiem bycia tekstem nie jest jego skończoność”, gdyż „istnieją różne teksty, skończone i nieskończone, proste i złożone, tworzące całość i fragmenty, mające formę zamkniętą lub otwartą” [Wilkoń 2001, 108]⁷. Coraz więcej polskich badaczy dostrzega potrzebę tak szerokiego ujęcia tekstu, by refleksją tekstologiczną można było objąć wszystkie współcześnie istniejące i szalenie zróżnicowane rodzaje komunikatów, w pewien sposób antycypując także to, jak komunikacja będzie ewoluować. Zamknięcie tekstu tylko w sferze elementów czysto językowych nie jest już możliwe tak samo, jak za niezasadne należy uznać przekonanie o tym, że tekstem jest np. powieść, ale lista zakupów już nie. Zwraca na to uwagę Jerzy Bartmiński, przekonując, że „pełnowartościowym tekstem, tj. komunikatem, na który odbiorca jest w stanie sensownie zareagować, może być już nawet jeden wyraz czy zdanie” [Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009, 44]⁸.

⁶ „Linguistik des unpräzisen Gegenstandes“ [Warnke 2002, 126].

⁷ Por. [Wilkoń 2002].

⁸ W odniesieniu do komunikatów jednozdaniowych czy jednowyrazowych Jerzy Bartmiński używa pojęcia *minitekst*, wskazując jednocześnie, iż komunikaty te stanowią jego zdaniem przypadki graniczne, wymagające dalszej analizy lingwistycznej [por. Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009, 44].

„Tekst jest ponadzdaniową (tzn. wyższą typologicznie, niekoniecznie większą rozmiarami) jednostką językową, makroznakiem samodzielnym komunikacyjnie, który:

- ma swój podmiot (nadawcę);
- ma rozpoznawalną intencję umożliwiającą interpretację przez odbiorcę;
- ma określone nacechowanie gatunkowe i stylowe (*kwalifikator tekstu*);
- poddaje się całościowej interpretacji;
- wykazuje integralność strukturalną i spójność semantyczną;
- podlega wewnętrznemu podziałowi semantycznemu, a w wypadku tekstów dłuższych – także logicznemu i kompozycyjnemu.” [Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009, 36].

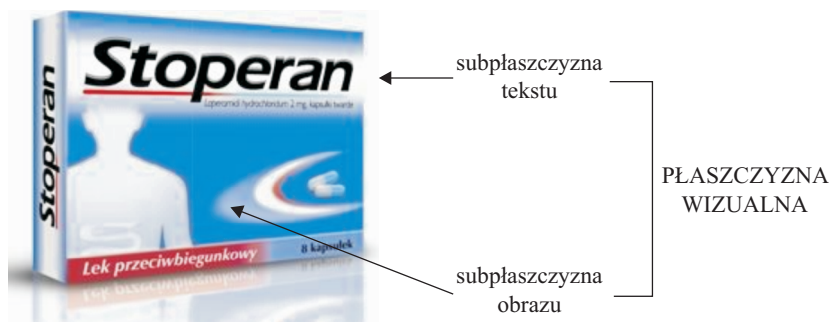
Jerzy Bartmiński definiuje tekst szeroko, uwzględniając przy tym nie tylko aktywność nadawcy, ale także perspektywę aktywności interpretacyjnej odbiorcy. Swoją definicją autor obejmuje z pozoru tak dalekie sobie formy jak teksty folkloru i hiperteksty.⁹ Używając pojęcia *makroznaku* Jerzy Bartmiński nawiązuje dialog z tymi badaczami z kręgu lingwistyki zachodnioeuropejskiej, którzy dostrzegają fakt, iż tekst *przemawia* nie tylko poprzez użyte w nim słowa, ale także dzięki temu, w jakiej formie graficznej są one zaprezentowane (styl pisma, wielkość czcionki, kolor) oraz np. poprzez towarzyszący mu obraz, a w skrajnych przypadkach także dzięki temu, że sam staje się obrazem.

Badacze zachodnioeuropejscy nieustannie zwracają uwagę na potrzebę objęcia refleksją lingwistyczną tekstów multimodalnych, w których temu, co językowe, towarzyszy to, co obrazowe [por. Bucher 1996, 2010; Spitzmüller 2006, 2009; Stöckl 2004, 2011, 2012]. Przemiana, jaka wraz z rozwojem nowych technologii dokonuje się zarówno w zakresie tworzenia jak i udostępniania informacji, sprawia, że pod względem formalnym tekst staje się coraz bogatszą ofertą, nieograniczającą się tylko do tego, co językowe, ale operującą także innymi modalnościami, oddziałującymi na inne niż językowe obszary ludzkiej wiedzy i aktywności. Ulrich Schmitz czy Hans-Jürgen Bucher dostrzegają tę informacyjną wartość obrazu, przekonując, że współistniejąc z elementami językowymi potrafi on tworzyć spójny pod względem semantycznym, funkcjonalnym i strukturalnym komunikat [por. Bucher 1996, 2010; Schmitz 2011a, 2011b]. Dlatego też w swoich publikacjach obaj autorzy konsekwentnie posługują się pojęciem *Text-Bild-Gefüge*, odnosząc je do takich struktur, które powstają wskutek połączenia (*Gefüge*) elementów językowych (*Text*) i obrazowych (*Bild*). Zdaniem Ulricha Schmitza w stosunku do takich struktur zasadne jest używanie terminu *płaszczyzna wizualna*, gdyż w ten sposób podkreślana jest spójność, jaką w ramach wspólnej przestrzeni osiąga się dzięki równoczesnemu użyciu różnych modalności¹⁰.

Przykładem tego, jak w ramach jednej płaszczyzny współistnieją tekst i obraz, są powszechnie dostępne opakowania leków. W stosunku do nich w pełni zasadne jest operowanie pojęciami dwóch głównych subpłaszczyzn, a mianowicie subpłaszczyzny tekstu, tworzonej przez nazwę handlową leku, oraz subpłaszczyzny obrazu, nawiązującej do nazwy handlowej leku i obrazującej jego działanie (rys. 1).

⁹ Lingwistyczną analizę relacji tekst-obraz, ze szczególnym uwzględnieniem hipertekstów, można odnaleźć także w publikacjach Ewy Żebrowskiej [por. 2010, 2012, 2013].

¹⁰ Ulrich Schmitz używa w tym kontekście pojęcia *Sehfläche* [por. Schmitz 2011a, 2011b, tłum. M.M.]



Rys. 1. Opakowanie leku *Stoperan* (producent: US PHARMACIA)

Obie subpłaszczyzny występują względem siebie w układzie pionowym: subpłaszczyzna tekstu umieszczona jest nad subpłaszczyzną obrazu. Na dole strony głównej opakowania znajduje się także wyeksponowana typograficznie informacja o działaniu leku oraz o jego formie (kapsułki). Przekaz płynący z tego opakowania wyraźnie zdominowany jest przez obie subpłaszczyzny, które się nie przenikają i dzięki temu zachowują wobec siebie pełną strukturalną autonomię.

Analiza korpusu badawczego wykazała, że obie subpłaszczyzny, z których pierwsza operuje tylko elementami językowymi, a druga – elementami obrazowymi, mogą także dysponować swoimi wtórnymi subpłaszczyznami. W przypadku opakowania leku *Metafen* (rys. 2) można odnaleźć wtórną subpłaszczyznę tekstu, dzięki której przywołane są najpierw dwa główne składniki leku (tzn. ich nazwa oraz zawartość w mg), a poniżej także informacje odnośnie do działania leku. Warto zauważyć, że właśnie te dane umieszczone są w bezpośrednim sąsiedztwie subpłaszczyzny obrazu, przez co wpływają także na odbiór tego, co obrazowe (naturalny kierunek czytania tekstu od góry do dołu i od lewej do prawej może uzasadniać początkowe skupienie wzroku na subpłaszczyźnie tekstu, a następnie płynne przeniesienie go na subpłaszczyznę obrazu i wtórną subpłaszczyznę tekstu). Towarzyszy temu następujący *obrazowy akt mowy*: *Metafen to lek w kapsułkach, które są tu zaprezentowane, i który działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie*¹¹.



Rys. 2. Opakowanie leku *Metafen* (producent: POLPHARMA)

¹¹ Pojęcia *Bildsprechakt* (obrazowy akt mowy – tłum. M.M.) używa m.in. Ulrich Schmitz [2007].

Analiza korpusu wykazała także, że wśród opakowań leków dominują takie, które mają zachowany pionowy układ obu subpłaszczyzn, tworzących stronę główną opakowania danego leku: obszar tekstu, przywołujący nazwę handlową leku, znajduje się zazwyczaj nad obszarem obrazu, służącym prezentacji zakresu działania tego leku (rys. 1, 2). Można to tłumaczyć tym, że to nazwa leku ma być tym czynnikiem, który powinien utrwalić się w pamięci klienta/pacjenta na tyle, że sięgnie on po ten lek także w przyszłości. Skoro jednak zdecydowana większość opakowań leków operuje dwiema subpłaszczyznami, należałoby się zastanowić, czy i dzięki czemu tworzą one spójną pod względem semantycznym, strukturalnym i funkcjonalnym całość. Takim elementem spajającym płaszczyznę wizualną i czyniącym z niej wewnątrznie spójną jednostkę jest typografia.

Kwestię typografii i jej roli w tworzeniu tekstu podejmują w swoich rozważaniach m.in. Jürgen Spitzmüller czy Hartmut Stöckl. Jürgen Spitzmüller umieszcza typografię wśród innych, wizualnych elementów komunikacji, zwracając tym samym uwagę na fakt, że tekst nigdy nie sprowadza się tylko i wyłącznie do relacji, powiązań linearnych, ale stanowi pewną konstrukcję przestrzenną (przynajmniej dwuwymiarową), zazwyczaj odznaczającą się także swoistą strukturą hierarchiczną [por. Spitzmüller 2006, 210]. Właśnie myślenie o tekście w kontekście jego *przestrzenności* powoduje, że typografia jako element współtworzący dany komunikat nabiera szczególnego znaczenia. Pogląd ten podziela Hartmut Stöckl, który – chcąc podkreślić wagę typografii w procesie tworzenia i odbioru tekstu – postuluje, aby uznać ją za tzw. *modalność peryferyjną*, a tym samym zbliżyć ją do innych modalności, takich jak język czy obraz [por. Stöckl 2004, 16]¹². Typografia w ujęciu Stöckla czy Spitzmüllera nie ogranicza się zatem tylko do sposobu prezentacji elementów językowych (krój pisma, wielkość czcionki, itp.), ale dotyczy wszelkich relacji, jakie zachodzą między elementami współtworzącymi dany komunikat. Odnosi się ona zatem do sposób prezentacji tekstu, obejmując następujące jego płaszczyzny [por. Stöckl 2004, 22]:

- mikrotypograficzną, na którą składają się m.in. rodzaj pisma, jego wielkość, kolor;
- mezotypograficzną, w ramach której analizowane jest m.in. to, jaką część płaszczyzny wypełnia pismo, jakie są odstępy między znakami, słowami bądź linijkami tekstu, czy też wreszcie to, czy na płaszczyźnie występują różne rodzaje pisma;
- makrotypograficzną, dotyczącą tak organizacji całego tekstu, jak i jego elementów składowych, wszelkich form wyszczególnienia i akcentowania części tekstu, użycia środków, które porządkują tekst, ułatwiając odbiorcy orientację/percepcję, ale także połączenia tekstu i grafiki;
- paratypograficzną, która uwzględnia materialność tekstu i odwołuje się np. do wrażeń taktylnych, jakie powstają w odbiorcy wskutek kontaktu z nośnikiem tekstu, czyli papierem, z którego są kartki książki, czy teksturą, z której powstało opakowania leku.

¹² Pod pojęciem *modalności* Hartmut Stöckl rozumie taki system kodów, na który składa się określony repertuar znaków i reguł ich użycia, znany producentowi tekstu i używany przez niego w celu uzyskania określonych celów komunikacyjnych [por. Stöckl 2004, 16].

W przypadku analizowanego korpusu istotny jest każdy z opisanych przez Stöckla obszarów typograficznych. Prezentowane poniżej opakowania leków dowodzą, że nawet drobne zmiany o charakterze typograficznym powodują, że zmienia się płaszczyzna wizualna, a w efekcie odbiorca ma do czynienia z nowym komunikatem. Można to zaobserwować na przykładzie dwóch opakowań leku *APAP*: w wersji standardowej (rys. 3) i w wersji na noc (rys. 4).



Rys. 3. Opakowanie leku *APAP* (producent: US PHARMACIA)



Rys. 4. Opakowanie leku *APAP Noc* (producent: US PHARMACIA)

Oba opakowania są dość podobne, jeśli chodzi o obszar makrotypograficzny, gdyż charakteryzuje je analogiczny sposób organizacji elementów językowych i obrazowych na płaszczyźnie. Jest to oczywiście zabieg celowy, który ma służyć temu, by pacjent jako odbiorca zaprezentowanego na opakowaniu komunikatu wiedział, że w obu przypadkach ma do czynienia z lekiem z tej samej serii. Płaszczyzna wizualna tych opakowań budowana jest przede wszystkim w oparciu o subpłaszczyznę tekstu (nazwa handlowa leku) i jej subpłaszczyznę wtórną (skład, przeznaczenie leku). Wspólnym motywem graficznym obu opakowań są umieszczone w prawym dolnym rogu dwie tabletki. Warto jednak zauważyć, że element ten różni się kolorem: w wersji standardowej leku tabletki są białe, w wersji na noc – niebieskie, co stanowi nawiązanie do przeznaczenia leku (barwa niebieska to metaforyczny leksem nocy). Właśnie w warstwie mikrotypograficznej można dostrzec najwięcej różnic dzielących oba opakowania, a jedynym elementem, który pozostał niezmienny, jest nazwa handlowa leku (wyeksponowana dzięki kolorowi czerwonemu). Opakowanie leku w wersji na noc ma bardziej rozbudowaną subpłaszczyznę tekstu: obok nazwy handlowej leku pojawia się bowiem słowo: *Noc*. Wszystkie elementy wtórnej subpłaszczyzny tekstu są też dużo ciemniejsze niż w przypadku standardowej wersji leku: ciemniejsza kolorystyka stanowi bezpośrednie nawiązanie do przeznaczenia leku (jest to lek w wersji na noc). Warto zauważyć, że opakowanie w wersji na noc wyposażone zostało dodatkowo w takie elementy graficzne, które bezpośrednio do nocy nawiązują: są nimi księżyc umieszczony w lewym górnym rogu płaszczyzny wizualnej oraz gwiazdki, które znajdują się w bezpośredniej bliskości słowa *Noc*. Stworzenie nowej płaszczyzny wizualnej na bazie tej, jaką oferuje opakowanie leku w wersji standardowej, możliwe było zatem głównie dzięki zabiegom o charakterze mikro- i makrotypograficznym.

Interesującym przykładem tego, jak w ramach płaszczyzn wizualnych operuje się elementami językowymi i obrazem, są także powyższe opakowania leków (rys. 5, 6).

W obu przypadkach kluczowym elementem płaszczyzn wizualnych stał się kolor: opakowania utrzymane są w podobnej kolorystyce, a na szczególną uwagę zasługuje użycie dwóch kolorów, tj. czerwonego i zielonego. W przypadku opakowania leku *Doppelherz aktiv Na gardło* (rys. 5) płaszczyzna wizualna ma układ poziomy: podczas gdy strona lewa zdominowana jest przez elementy językowe (nazwa handlowa leku, skład, obszar działania, forma leku), strona prawa to zdecydowanie subpłaszczyzna obrazu, której centralnymi elementami graficznymi są kobieca szyja i częściowo zakryta twarz. Znamienne dla zastosowanego tu obrazu jest to, że owa anonimowa kobieta swoją dłonią wskazuje na bolące (kolor czerwony) gardło, czyli de facto na obszar działania leku. Zakładając, że płaszczyzna ta czytana jest zgodnie z naturalnym kierunkiem od strony lewej do prawej należy przyjąć, że odbiorca najpierw zapoznaje się z tekstem pisany, a następnie dzięki obrazowi uzyskuje niejako potwierdzenie komunikatu, który otrzymał na wstępie (obrazowy akt mowy: *Oto lek na gardło; stosuj, gdy boli Cię gardło*). Tło wokół dłoni i szyi jest zielone, tak jak kolor, którego użyto w nazwie handlowej leku. Kolor zielony (metaforyczny leksem tego, co naturalne i zdrowe) nawiązuje także do składu leku, w którym przeważają substancje pochodzenia roślinnego. W analizie tej płaszczyzny nie sposób pominąć roli koloru czerwonego, użytego jako metaforyczny leksem bólu (gardło) i aktywnego działania leku: elementy wyeksponowane dzięki temu kolorowi mogą dodatkowo przykuwać uwagę odbiorcy i wpływać na sposób czytania tej płaszczyzny wizualnej.



Rys. 5. Opakowanie leku *Doppelherz Aktiv Na gardło* (producent: QUEISSER)



Rys. 6. Opakowanie leku *Verdin complexx* (producent: LE LABORATOIRE DE LA NATURE)

Także w przypadku leku *Verdin complexx* (rys. 6) można zaobserwować szereg rozwiązań typograficznych, które wpływają na percepcję potencjalnego odbiorcy. Także w tym przypadku kolor zielony stanowi nawiązanie do składu leku. Podobną rolę pełni również element mikrotypograficzny, jaki zastosowano w nazwie handlowej leku: litera *V* jest stylizowana w taki sposób, by jej prawy element przypominał liść. Subpłaszczyzna obrazu ma na celu informację o obszarze działania leku. Inaczej niż w przypadku poprzedniego opakowania (rys. 5) tutaj to obraz ludzkiego tyłowa pojawia się jako pierwszy z lewej, a tuż za nim można znaleźć wyszczególnione opisy sytuacji, w których można i należy zastosować omawiany lek. Rolę pośrednika między subpłaszczyzną obrazu a tą

wtórny subpłaszczyzną tekstu znowu pełni kolor: czerwień pojawia się jako element subpłaszczyzny obrazu oraz w punktach »), użytych we wtórnej subpłaszczyźnie tekstu.

W przypadku poniżej zaprezentowanego opakowania leku (rys. 7) zastosowano jeszcze jeden, interesujący zabieg z zakresu mikrotypografii. Oto nazwa handlowa leku *AMOL*, pod którą dotąd kryły się sprzedawane w charakterystycznych butelkach krople ziołowe, została dostosowana do wymogów nowego produktu, jakim są pastylki do ssania. Na opakowaniu owych pastylek nazwa handlowa *AMOL*, tworząca subpłaszczyznę tekstu, została rozszerzona o sufix *-owe* oraz korespondujący z nim dopisek *na gardło*. Dzięki zastosowaniu różnych stylów pisma udało się zachować dotychczasowy zapis nazwy handlowej leku (litery drukowane), płynnie wkomponowując w niego sufix *-owe* i tworząc w ten sposób przymiotnik odrzeczownikowy: *Amolowe*.



Rys. 7 Opakowanie leku *AMOLowe na gardło* (producent: TAKEDA)

Analiza lingwistyczna relacji tekst-obraz, do jakiej dochodzi w przypadku opakowań leków, gdzie łączą się ze sobą różne modalności, dowodzi niezbicie, że opakowania te mogą być traktowane jako przykłady płaszczyzn wizualnych. Elementy tworzące owe płaszczyzny pozostają wobec siebie w ścisłej relacji symbiotycznej, wzajemnie się uzupełniając. Z uwagi na względnie ograniczoną przestrzeń, jaka jest do zagospodarowania w przypadku (zwykle niewielkich) opakowań leków, warto podkreślić rolę, jaką mają do odegrania powstające tu płaszczyzny wizualne: połączenie elementów językowych i obrazowych czyni komunikat atrakcyjniejszym dla potencjalnych klientów, przykuwając ich wzrok, skupiając uwagę i w sposób jak najbardziej kompleksowy przekazując najważniejsze informacje. Skoro opakowania leków projektowane są tak, by w sposób harmonijny współgrały na nich elementy językowe i obrazowe, to również ich odbiór przebiega właśnie w taki holistyczny sposób, przyjmując formę pojedynczego aktu percepcyjnego. Komunikat, jaki za pośrednictwem opakowania leku dociera do odbiorcy, stanowi spójną pod względem funkcjonalnym (poinformowanie o danym leku, zachęcenie do jego kupna), semantycznym (spójna znaczeniowo prezentacja działania leku) i strukturalnym (symbiotyczność modalności: tekst-obraz-typografia) całość, która nabiera cech autonomicznej jednostki znaczeniowej. Jako takiej z pewnością można jej przypisać status zaaranżowanej semiotycznie płaszczyzny wizualnej.

Bibliografia

- Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska St., 2009, *Tekstologia*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele, 2011, red. Diekmannshenke H., Klemm M., Stöckl H., Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bucher H.J., 1996, *Textdesign – Zaubermittel der Verständlichkeit? Die Tageszeitung auf dem Weg zum interaktiven Medium // Textstrukturen im Medienwandel*, red. Hess-Lüttich E.W.B., Holly W., Püschel U., Frankfurt am Main: Peter Lang, 31–59.
- Bucher H.J., 2010, *Multimodalität – eine Universalie des Medienwandels: Problemstellung und Theorien der Multimodalitätsforschung // Neue Medien – neue Formate. Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkommunikation*, red. Bucher H.J., Gloning T., Lehnen K., Frankfurt / New York: Campus Verlag, 41–79.
- Bucher H.J., 2012, *Grundlagen einer interaktionalen Rezeptionstheorie: Einführung und Forschungsüberblick // Bucher H.J., Schumacher P, Interaktionale Rezeptionsforschung. Theorie und Methode der Blickaufzeichnung in der Medienforschung*, Wiesbaden: Springer, 17–50.
- Fix U., 2008, *Text und Textlinguistik // Textlinguistik. 15 Einführungen*, red. Janich N., Tübingen: Narr Verlag, 15–34.
- Grice Paul H., 1993, *Logic and Conversation // Speech acts* (= Syntax and Semantics, red. Cole P., Morgan J.L., t. 3, New York: Academic Press, NY 1975, 41–58 (wersja niemieckojęzyczna: Logik und Konversation // *Handlung, Kommunikation, Bedeutung* (= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1083), red. Meggle G., Frankfurt am Main, 243–265.
- Klemm M., 2002, *Wie hältst Du's mit dem Textbegriff? Pragmatische Antworten auf eine Gretchenfrage der (Text-)Linguistik // Brauchen wir einen neuen Textbegriff?*, red. Fix U., Adamzik K., Antos G., Klemm M., Frankfurt am Main: Peter Lang, 143–161.
- Kroeber-Riel W., 1993, *Bildkommunikation. Imagerystrategien für die Werbung*, München, Franz Vahlen.
- Labocha J., 2009, *Lingwistyka tekstu w Polsce // Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy*, red. Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M., Warszawa: Atut, 45–56.
- Makowska M., 2013a, *Im multimodalen Dialog. Zum Zusammenspiel von Text und Bild auf den Einbänden von Kinderbüchern // Convivium (Text und Bild)*, 115–142.
- Makowska M., 2013b, *Jakim językiem mówią tekst i obraz? O relacji tekst-obraz na przykładzie demotyatorów // Tekst i dyskurs – text und diskurs 6*, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 169–184.
- Makowska M., 2014, *Macht zeigen und beschreiben. Über die kommunikative Kraft von Politik kodierenden Sehflächen // Sprache und Bild im multimodalen Dialog, Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum. Breslauer Studien zur Linguistik*, red. Gerd A., Opiłowski R., Jarosz J., Wrocław: ATUT / Neisse Verlag Dresden, 105–118.
- Mitchell W., 1995, *Picture Theory, Essays on Verbal and Visual Representation*, Chicago, University of Chicago Press.
- Moskal W., 2013, *Lykamy dwa miliardy tabletek przeciwbólowych rocznie*, http://wyborcza.pl/1,75400,13249330,Lykamy_dwa_miliardy_tabletek_przeciwbolowych.html [17.01.2013].
- Sachs-Hombach K., Schirra R.J., 2003, *Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft*, Köln: Herbert von Halem Verlag.
- Schmitz U., 2005, *Blind für Bilder. Warum sogar Sprachwissenschaftler auch Bilder betrachten müssen // Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 69*, 187–227.
- Schmitz U., 2007, *Bildakte? How to do things with pictures // Zeitschrift für germanistische Linguistik 35*, 286–300.

- Schmitz U., 2011a, *Blickfang und Mitteilung. Zur Arbeitsteilung von Design und Grammatik in der Werbekommunikation // Zeitschrift für angewandte Linguistik* 54, 79–109.
- Schmitz U., 2011b, *Sehflächenforschung. Eine Einführung // Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele*, red. Diekmannshenke H., Klemm M., Stöckl H., Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1–20.
- Spitzmüller J., 2006, *Typographie // Dürscheid Ch., Einführung in die Schriftlinguistik*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 207–238.
- Spitzmüller J., 2009, *Typographisches Wissen: die Oberfläche als semiotische Ressource // Feilke H., Linke A., Oberfläche und Performanz: Untersuchungen zur Sprache als dynamischer Gestalt*, Tübingen: de Gruyter Verlag, 459–486.
- Stöckl H., 2004, *Typographie: Gewand und Körper des Textes – Linguistische Überlegungen zu typographischer Gestaltung // Zeitschrift für Angewandte Linguistik* 41, 5–48.
- Stöckl H., 2011, *Sprache-Bild-Texte lesen. Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz // Bildlinguistik*, Hrsg. Diekmannshenke H., Klemm M., Stöckl H., Berlin: Erich Schmidt Verlag, 43–70.
- Stöckl H., 2012, *Medienlinguistik. Zu Status und Methodik eines (noch) emergenten Forschungsfeldes // Pressentextsorten jenseits der 'News'. Medienlinguistische Perspektiven auf journalistische Kreativität*, red. Größlinger Ch., Held G., Stöckl H., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 13–34.
- The Visual Culture Reader*, 1998, red. Mirzoeff N., London/New York: Routledge.
- Warnke I., 2002, *Adieu Text – bienvenue Diskurs? Über Sinn und Zweck einer poststrukturalistischen Entgrenzung des Textbegriffs // Brauchen wir einen neuen Textbegriff?*, red. Fix U., Adamzik K., Antos G., Klemm M., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 125–141.
- Wilkoń A., 2001, *O kilku cechach tekstu. Parataktyczność tekstu // Stylistyka a pragmatyka*, red. Witosz B., Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2012), 105–113.
- Wilkoń A., 2002, *Spójność i struktura tekstu*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
- Witosz B., 2007, *Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy // Poradnik Językowy*, nr 7, 3–19.
- Witosz B., 2009, *Tekst a/i dyskurs w perspektywie polskiej tradycji badań nad tekstem // Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy*, red. Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M., Warszawa: Atut, 69–80.
- Żebrowska, E., 2010, *Von der Linearität zur Nicht-Linearität in Texten // Grammatik – Praxis – Geschichte*, red. Cate ten A., Rapp R., Strässler J., Vliegen M., Tübingen: Gunter Narr, 217–227.
- Żebrowska, E., 2012, *Tekst w cyfrowej przestrzeni kultury multimedialnej // Kultura – Literatura – Język. Pogranicza komparatystyki / Kultur – Literatur – Sprache. Gebiete der Komparatistik*, Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 1210–1228.
- Żebrowska, E. 2013, *Text-Bild-Hypertext*, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Summary

HOW TO SHOW A MEDICATION? MEDICATION PACKAGING AS VISUAL PLANES

Public space ever more often makes use of multimodal texts, combining linguistic and graphic-picture elements. The present article constitutes an attempt to present a linguistic analysis of multimodal texts based on the example of medication packaging. The research corpus consists of 50 medicine packages of nonprescription pain-relieving medications available in Poland, hence those whose purchase is independently decided upon by a customer. The economization of perception as well as the willingness to present a particular medicament in an attractive form for the recipient makes medicine packaging continually evolve, combining linguistic and picture elements. Simultaneously, those packages remain a unity which is coherent in functional, structural and semantic terms and that, in turn, entitles them to be treated in as semiotically arranged visual planes.

Jarosław Wiliński

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

METAPHORS IN WRITTEN SOCCER COMMENTARIES: EVIDENCE FROM GERMAN

Keywords: conceptual metaphor, football, metaphorical expressions, football commentary

1. Introduction

In recent years, there has been an increasing interest concerning the study of metaphors employed in the language of football. Some studies have focused on the cross-cultural and cross-linguistic comparisons between languages [Matulina and Ćoralić 2008; Nordin 2008; Lewandowski 2009; Bommert 2010]. For example, Matulina and Ćoralić [2008] have shown that the language of football in Croatian, Bosnian, German and Austrian newspapers is characterized by a considerable variety of idioms and metaphors. Nordin [2008] has found that, although the concepts of container and war used by the Swedish and German commentators are mostly the same, there exist significant differences in their frequency or individual variation. Other research has been concerned with the use of military metaphors in live football commentary [e.g. Chapanga 2004; Seddon 2004; Vierkant 2008]. For example, Vierkant [2008] has shown a successful application of the metaphor identification procedure in the German language and demonstrated that football language in live radio commentary is based on a previous knowledge of conflict. Chapanga's [2004] examination of war metaphors used in live Zimbabwean broadcasts of soccer matches, in turn, has confirmed that players' emotions, actions on the pitch, spectators' behaviour and the description of match results are translated into a war scenario as the result of a commentator's use of metaphor.

Thus far, however, there has been little discussion about the employment of metaphors in German soccer written commentary, to say nothing of their function in this specific context. In addition, there have been a small number of studies investigating structural metaphors and common source domains from which these metaphors are drawn. Until now none of these studies has been large-scale. Previous research has been limited

to spoken commentary. For this reason, the primary aim of this article is to examine what kinds of metaphors are used in German written commentary and what functions they tend to serve in this context.

2. Theoretical framework

The article rests on the framework of conceptual metaphor as defined by Lakoff and Johnson [1980] in their famous publication *Metaphors We Live By*. According to this approach, most of our ordinary conceptual system is metaphorical in nature, i.e., metaphors are fundamental to one's thinking and understanding. Metaphor is not merely perceived as a matter of language, but as a tool which structures our thoughts, actions and perceptions. A structural metaphor is defined as an understanding of the target domain in terms of the structure of the source domain [Lakoff and Johnson 1980, 14]. This understanding is based on a set of conceptual mappings or correspondences between elements of the two domains [Kövecses 2002, 33]. In contrast to conceptual metaphor, metaphorical linguistic expressions are lexical units or other linguistic expressions that are derived from the source domain: that is, "the language or terminology of the more concrete conceptual domain" [Kövecses 2002, 4]. Lakoff and Johnson's classical example is "argument is war" [1980, 4], where linguistic expressions from the source domain *war* are used to describe and understand an argument.

It is noteworthy that several researchers have disproved the main assumption of G. Lakoff and M. Johnson's Conceptual Theory of Metaphor [1980] that language is a matter of cognition and conceptual structure rather than of language and then have proceeded to argue that metaphor needs to be best examined from a semiotic, psychological and socio-cultural viewpoint [cf. González-García, Peña-Cervel, and Pérez Hernández 2013]. Thus, what is actually proposed is that metaphor should be investigated by adopting a more dynamic, interdisciplinary approach and a functional-cognitive perspective in contrast to a purely cognitive one.

3. Data and method

The data to be analyzed have been extracted from the corpus of the language of soccer compiled for the purposes of this article. Corpora comprise different types of texts (such as official news, commentaries, biographies, written interviews with people linked to the sport, match reports and reviews, etc.) derived from two different online resources: google.com and uk.yahoo.com. All of the texts found on these websites were virtually written no later than five years ago, which means that the compiled vocabulary is up-to-date. The data were retrieved from the corpus by means of the software program MonoConc Pro.

In order to obtain the data from the corpus, a corpus-based approach to source domain vocabulary has been employed. This method consists in searching for a lexical item from the source domain and extracting a sample of its occurrences in the corpus. This approach has already been employed to search for individual lexical items from the source domain [cf. Hanks 2006] or whole sets of such items [cf. Partington 1997]. The selection of items can rest on *a priori* knowledge, it can be based on existing word-lists, or it can rely on a preceding keyword analysis of texts on target-domain topics. In this sample, we then identify the metaphorical mappings in which these lexical items occur.

4. Source domains

Given the total word count of 508,832 words in the German corpus, the material turned out to contain a large amount of metaphorical vocabulary which could be classified as relating somehow to the conceptual domains of physical fight, military conflict, games and sport, animal and human behaviour, meeting and journey. The data confirms that football written commentary is extensively conceptualized in terms of ideas relating to the afore-mentioned domains. The vast majority of examples found in the corpus are metaphors that are commonly used in everyday speech and writing and these are specifically related to football or any match that is being reported on. In an attempt to exemplify the different domains, some examples from the most frequent sources will be provided as follows.

(1) PHYSICAL FIGHT

- a. Die Türkei *kränkt* Deutschland. (Turkey *hurts/wounds* Germany).
- b. Sakai *trifft* Pekhart *im Zweikampf* unglücklich *am Kopf*. (Sakai *hits* Pekhart *unhappily on the head in a one-on-one duel*).

(2) MILITARY CONFLICT

- a. [...], dass *die Truppe* sich nicht *wehrt*, wie am Samstag in Bremen. ([...] that *the troops* aren't *defending* themselves, as it was on Saturday in Bremen).
- b. Bayer Leverkusen *steht im Niemandsland* und [...]. (Bayer Leverkusen *stands in no-man's land* and [...]).

(3) GAMES AND SPORT

- a. Valencia *hält Kurs auf* die Champions League. (Valencia *holds a course for* the Champions League).
- b. VfB muss *Gas geben* für Europa. (VfB must *accelerate* towards Europe).

(4) HUMAN BEHAVIOUR

- a. Hannover 96 zeigt *Nerven*. (Hannover 96 shows *nerves*).
- b. Der VfB *stand unter Schock*. (VfB *is in a state of shock*).

(5) ANIMAL BEHAVIOUR

- a. Joker Mössner *sticht* gegen Schalke. (The joker Mössner *stings* against Schalke).
- b. Die Wölfe haben *gebissen!* (The Wolves *bit!*).

(6) MEETING/VISIT

- a. Schalke verlor die zurückliegenden drei *Begegnungen*. (Schalke lost its last three *encounters*).
- b. Hannover *empfängt* zeitgleich den VfL Wolfsburg. (Hannover *receives* VfL Wolfsburg at the same time).

(7) JOURNEY/CRUISE

- a. Van Gaal muss *die Koffer packen*. (Van Gaal must *pack his bags*).
- b. dass die zuletzt märchenhafte *Reise* der Borussia durch Europa weitergeht (that Borussia's last fairy-story *journey* through Europe goes on).

Each of the aforementioned source domains has contributed the vast majority of metaphors to the material of the current research. The metaphorical linguistic expressions that derive from these domains also constitute a significant part of the total collection, altogether approximately 70%. In particular, physical fight and military conflict provide roughly 40%, while games and sport, meeting, journey, as well as human and animal behaviour contribute about 30%.

Clearly, this is not a complete survey of domains that participate in conceptual metaphors as sources. Metaphors are in fact derived from a wide variety of sources, for instance religion, work, buildings and construction, good health and illness, plants, machines and tools, heat and cold, sleep, games and sport, movement and direction, light and darkness, and several others (see Appendix). However, none of these source domains appear to have contributed such a large number of metaphorical expressions as those mentioned earlier.

5. Structural metaphors

Thus far in this article we have been concerned with structural metaphors. In the examples of the source domains given earlier, we have already seen several instances of such concepts fundamental to an understanding of the domain of soccer. In these kinds of metaphor, the source domain provides a relatively rich knowledge structure for the target concept of soccer. In other words, the cognitive function of these metaphors is to allow readers to understand soccer by means of the structure of physical fight, military conflict, games and sport, meeting, journey, human and animal behaviour, etc. Structural metaphors in the domain of soccer can be of several different kinds. By way of illustration, consider the most significant examples.

The domain of physical fight gives rise to a number of metaphorical expressions occurring in soccer. The metaphor FOOTBALL COMPETITION IS A DUEL also infers physical fight as its source domain. Since football is a competitive game in which participants directly or indirectly have physical contact with an opponent, one player may hit another player on the head in a one-on-one duel. Players *duel with* (*duellieren*) one another for possession of the ball or play *one-on-one* (*Mann gegen Mann*). In this context, not only players but teams might face each other (*gegenüber stehen*), issue a challenge (*herausfordern*), and duel with one another. The following examples in (1) are provided to illustrate this phenomenon.

(1) FOOTBALL COMPETITION IS A DUEL

- a. Wir spielen hinten *Mann gegen Mann*. (We play *one-on-one* at the back).
- b. Champions-League-Start: Deutsche Teams *duellieren* sich mit englischen Top-Clubs. (Champions-League-Start: German teams *duel* with English top clubs).

A military campaign is another source domain contributing metaphorical terms that enable one to understand more abstract concepts from the target domain of soccer. The entire football competition, footballers, their characteristic traits, their emotions, actions on the pitch and activities of spectators are conceptualized in terms of a military campaign. One can observe systematic correspondences between the target domain of soccer and the source domain of the military campaign: the events and actions in a soccer competition are the events and actions evident in and during a military campaign, the target of the match or the tournament is the target of the battle or the military campaign, the players are the soldiers, the teams are the armies, the soccer tactics and strategies are the military tactics and strategies, the match is the battle, the match formations are the battle formations, etc. Taking the number of analogies into account, one may argue that in many ways soccer can be perceived in terms of a military campaign. These analogies become more obvious if one considers two examples in (2). The sentence in (2b) is one of the corpus examples where the phrase derived from the terminology of a military campaign, in this case *verlieren Boden* 'lose ground', serves to describe football competition. Yet another example, the term *Schlacht*, is used figuratively to refer to the battle against Schalke 04.

(2) FOOTBALL COMPETITION IS A MILITARY CAMPAIGN

- a. Deutschland *verliert Boden*. (Germany *loses ground*).
- b. FC Bayern: Van Gaal erwartet *Schlacht* gegen Schalke 04. (FC Bayern: Van Gaal expects a *battle* against Schalke 04).

The usage examples in (3a) and (3b) show that the domain of RACE may be used to understand football competition. Football teams are perceived as runners or race horses participating in a race which can be a long-distance running event (marathon) or a short sprint. The term *hurdle* (*die Hürde*) is used to refer to difficulties encountered by a team. Teams like runners prepare for a competition (*Auf die Plätze, fertig, los!*), come out of the starting blocks (*aus den Startblöcken kommen*), or commit a false start (*Fehlstart*), i.e., lose a match. Some sides may compete fiercely like horses running *neck and neck* (*Kopf-an-Kopf Rennen*). Other sides may attempt to catch or find a second wind (*einen neuen Anlauf nehmen*), particularly after suffering a few defeats. Finally, though they may be exhausted after a long race, teams enter the home stretch (*Zielgerade*) breathing deeply (*Durchatmen auf der Zielgeraden*) and reach the finishing line.

(3) FOOTBALL COMPETITION IS A RACE

- a. *Die Hürde* Borussia Dortmund erwies sich als zu hoch für die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu. (The *hurdle* Borussia Dortmund proved to be too high for coach Mircea Lucescu's team).
- b. *Auf die Plätze, fertig, los!* Wird Bayern München durchmarschieren? (*On your marks, get set, go!*). Will Bayern München march through?

A football competition is also construed as a journey. This understanding involves a set of basic correspondences, or mappings between constituent elements of the source domain and those of the target: the teams are the travelers, the purpose of the soccer competition is the destination, the progress made in the soccer competition is the distance

covered, the difficulties encountered in the soccer competition are the obstacles along the way, and so on. As can be easily seen, in the forthcoming examples, the phrase *löst das Ticket* ‘obtains the ticket’ describes a situation in which the team wins its promotion to a competition in Berlin and Europe, whereas the expression *auf dem richtigen Weg* ‘on the right way’ is employed to refer to a situation in which the team is close to achieving its goal.

(4) FOOTBALL COMPETITION IS A JOURNEY

- a. Borussia ist lange nicht fertig, aber sie ist *auf dem richtigen Weg*. (Borussia hasn’t been ready yet, but they are *on the right way*).
- b. Stuttgart *löst das Ticket* nach Berlin und Europa. (Stuttgart *obtains the ticket* to Berlin and Europe).

As follows from the data presented in (5), teams can be viewed as animals. The metaphor TEAMS ARE ANIMALS is used primarily to enrich our understanding of a team’s behaviour by focusing on or highlighting some aspects of animal behaviour. The examples below demonstrate that a team may behave like an animal or a group of animals: the team can *lie in wait* (*lauern*), *scratch* and *bite* (*kratzen* and *beißen*), or *dig its claws into something* (*krallen*).

(5) TEAMS ARE ANIMALS

- a. Real hat *gekratzt* und *gebissen* und (...). (Real *scratched* and *bit* and (...)).
- b. Villarreal *lauerte* nur noch auf gelegentliche Konter, (...). (Villarreal only *lay in wait for* occasional counter-attacks, (...)).

Another potential metaphor for representing football teams is that of considering them as human beings. A team, like a human being, may be in a state of shock (*unter Schock stehen*), show nerves (*Nerven zeigen*), be afraid of an opposing team (*Angst vor jemandem haben*), etc. Some examples illustrating this analogy are presented in (6).

(6) TEAMS ARE HUMAN BEINGS

- a. Getafe *hält die Hoffnung aufrecht*. (Getafe *maintains its hopes*).
- b. Milan *setzt* Barca-Stars *unter Schock*. (Milan *shocks* Barca’s stars).

In addition to the source domain of HUMAN BEINGS, teams are also perceived in terms of kings or royalty. A team that wins a sporting competition (such as the Champions League or the league championship) reigns, succeeds to the throne, ascends to the throne or sits on a throne. A team that loses is compared to a king that is dethroned. Some examples of this metaphor are provided in (7).

(7) TEAMS/PLAYERS ARE KINGS

- a. Die Königlichen *regieren* im Camp Nou! (The Royals *reign* in Camp Nou!).
- b. Barca-Star Iniesta will Real *enthronen*. (Barca’s star Iniesta wants to *dethrone* Real).

The usage examples presented in (8) following seem to confirm that a team is viewed as a sailing boat, ship or yacht participating in a regatta or embarking on a long-distance voyage. A ship may sail to its destination or stop and stay in a *berth* (e.g., *Champions-League-Liegeplatz*). A player (a captain) and a coach may be regarded as a *skipper* (*der Kapitän*) who is *on board* (*an Bord*) with his crew (*Crew*) and *steers the ship* (*das Schiff*

steuern), or a helmsman who *takes the helm* for a team (*das Ruder übernehmen*). The helmsman or the skipper *keeps* his team *on course* to its destination (*auf Kurs halten*) and makes certain that the ship *sails* (*steuern*) safely. In other words, a coach wants his team to defeat all opponents and achieve a desirable goal (e.g., the team's promotion to Division One, winning the Champions League or the league Championship, avoiding relegation or earning qualification for the World Cup). Clearly, the voyage may also result in failure if a team encounters serious difficulties on the way to its final destination: the team may be defeated in a decisive match or a series of games, be relegated to the third division, or be eliminated from the finals. In those circumstances, the ship drifts, capsizes or *runs aground* (*läuft auf Grund*), while the helmsman *leaves the sinking ship* (*verlässt das gesunkene Schiff*).

(8) A TEAM IS A SAILING SHIP

Frings *hält* Werder *auf* Champions-League-Kurs. (Frings *keeps* Werder *on course* for the Champions League).

a. Schuster *übernimmt das Ruder* in Malaga. (Schuster *takes the helm* in Malaga).

Examples such as those in (9a) and (9b) indicate the existence of the conceptual metaphor A FOOTBALL MATCH IS A BOXING BOUT. Football sides that enter the football pitch (or to use a boxing analogy, the *ring*) are perceived as boxers ready in their corners (e.g., *in der roten Ecke die favorisierten Bayern*) before the beginning of a boxing bout. Soccer teams are also compared to boxers (*Boxer*) from different weight classes. Upper weight classes apply to top teams (*Schwergewicht*, *Weltergewicht*), while lighter weights tend to be used disapprovingly (*Leichtgewicht*, *Bantagewicht*). It is noteworthy that one of the most frequent metaphorical terms is the word *blow* (*Schlag*), which often combines with adjectives (*doppelt* 'double', *entscheidend* 'decisive', *hart* 'hard/heavy'). This lexical item (occasionally, *Faustschlag* and *Punch* appear in similar contexts) is used metaphorically to refer to various turning points in a match such as a booking, a red card shown by the referee to a key player, a penalty, a goal or injury. An overwhelming or impressive victory is regarded as a knockout (*Knockout/K.o.*) or knockdown (*Knockdown*). An unfair manoeuvre used by a player or a team to gain advantage over an opponent is compared to a low blow (*Tiefschlag*) or a blow below the belt (*ein Schlag unter die Gürtellinie*). A team on the losing side is thought of as a defeated boxer leaning on the ropes (*in den Seilen hängen*).

(9) A FOOTBALL MATCH IS A BOXING BOUT

a. Bayerns internationale Position als *Halbschwergewicht*. (Bayern's international position as *the light-heavyweight*).

b. United gegen Arsenal wie ein öder *Boxkampf*. (United against Arsenal like a tedious *boxing match*).

Additional two examples below show that a football match can be also understood in terms of a card game. An ace (*Trumpf*) denotes an outstanding player, while a joker (*Joker*) is usually a substitute player who is able to change the course of events on the pitch in a positive manner. A team who is in control of a situation on the field is considered to hold all the trump cards (*alle Trümpfe in der Hand haben*). A soccer side

who exposes its tactical plans and shows its intentions resembles a player who puts all his cards on the table (*mit offenen Karten spielen*). By contrast, a football team who keeps its intended actions secret is compared to a card player who plays with his cards close to his chest (*mit verdeckten Karten spielen*).

(10) A FOOTBALL MATCH IS A CARD GAME

- a. *Joker* Podolski sichert Arsenal-Sieg. (*Joker* Podolski ensures victory for Arsenal).
- b. Bayern *spielt mit offenen Karten*. (Bayern *puts its cards on the table*).

It is also worth noting that a football match is frequently perceived as a meeting or a visit. The data in (11) below serve as an illustration of this phenomenon. A home match is like a home visit that is organized by a home team at their home stadium. The home team is like a host (*Hausherr*) who *receives* (*empfangen*) or *plays host to* (*zu Gast haben*) an away team. The away team is like a visitor or a *guest* (*Gast*) who *visits* (*besuchen*) the home team at his home stadium to play an away match. The home team's stadium is like a host's home where the match takes place. The example in (11) shows that a match can be also regarded as a meeting. Two teams *meet together* (*aufeinandertreffen*) in order to play a *friendly* (*Freundschaftsspiel*) or an *encounter* (*Aufeinandertreffen, Begegnung*) in a competitive match, in the qualifying or final stages of major tournaments, or in preparation for a new season.

(11) A FOOTBALL MATCH IS A MEETING/VISIT

- a. FC Barcelona spielt dann um 20 Uhr und *hat* Getafe CF *zu Gast*. (Then FC Barcelona plays at 8 p.m. and *plays host to* Getafe CF).
- b. ManU und Chelsea *treffen* im Champions-League-Final *aufeinander*. (ManU and Chelsea *meet* in the Champions League final).

Yet additional examples in (12a) and (12b) illustrate that a football match can be conceptualized as a special event, e.g., a gala (*Gala*) or a festival (*Fest*), where a team celebrates (*feiern*) victory or a goal.

(12) A FOOTBALL MATCH/VICTORY IS A SPECIAL EVENT/ CELEBRATION

- a. Götze leitet die Lewandowski-*Gala* ein. (Götze starts Lewandowski's *gala*).
- b. Viertelfinale! BVB *feiert* das nächste *Fest*. (Quarter-final! BVB *celebrates* the next *festival*).

As examples (13a) and (13b) demonstrate, words and expressions in italics are the derivatives of two conceptual domains being connected: the SOCCER domain and the CHESS domain. A soccer match is comprehended in terms of a game of chess which employs a strategy and tactics. A situation in a game where neither team can win is compared to a stalemate (*Patt*). A team who keeps an opposing team in check (*in Schach halten*) is considered to control the course of events on the field. A coach is perceived as an experienced chess player who shifts his chess pieces (players) on the chessboard (soccer field) and checkmates an opponent (that is, defeats him completely).

- (13) A FOOTBALL MATCH IS A GAME OF CHESS
- a. Serie A: *Patt* zwischen Juve und Milan. (Serie A: *Stalemate* between Juve and Milan).
 - b. Schalke *hält* Milan *in Schach*. (Schalke *keeps* Milan *in check*).

6. Conclusion

The results of this investigation show that metaphorical linguistic expressions derive from a wide variety of source domains, although the domains of physical fight, military conflict, games and sport, animal and human behaviour, as well as meetings and journeys constitute the vast majority of metaphors. The most obvious finding to emerge from this study is that the structural metaphors discussed earlier are employed to depict nearly all events on the field as well as the actions of teams and individual players.

One possible reason for this is that journalists aim to “sell” and “promote a media product” that generates interest and excitement among football fans, without creating unnecessary complexity or difficulty of comprehension. This aim may be achieved by evoking the simplicity and straightforwardness of physical fight, military conflict, games and sport, animal and human behaviour, as well as a meeting and a journey. This strategy is used to convert the actions of individual players and teams as well as the events on and around the field into something easier to understand: namely, physical activities and patterns of human and animal behaviour. This way of enhancing understanding is utilized by journalists, whether they are aware of it or not, in order to make the game easily comprehensible to the average reader, and in order to enhance its attractiveness by adding examples of metaphors that build and create action and suspense as well as provide power to the commentary. Consequently, the use of metaphors increases the value of written reporting as a media product. Curiously, this frequent evocation of the above-mentioned domains appears to have resulted in the situation in which concepts such as physical fight, a meeting or a race are hardly distinguishable from the concept of football in the minds of today’s journalists and football supporters, confirming the impression that figurative vocabulary has in fact become an inevitable property of current football reporting as well as a necessary tool for journalists.

Another reason why such metaphors tend to occur so frequently in written football commentaries may be that journalists attempt to provide a more coherent account of activities on and around a soccer pitch by establishing metaphorical correspondences between the domain of football and the domains of physical fight, military conflict, games and sport, animal and human behaviour, a meeting and a journey. It seems clear that it would be impossible for a writer to report on all the events taking place on and around the pitch, without the use of those mappings. It is quite likely that journalists select what to write about and link these different aspects of the game together by means of conceptual metaphors. Figurative expressions, therefore, appear to be indispensable tools employed to establish connections between actions that would otherwise be difficult

to link. According to Lakoff and Johnson [1980, 156], metaphors “may be the only way to highlight and coherently organize exactly those aspects of our experience.”

The present study confirms the successful application of cognitive metaphor theory to football language in media commentary, and it also supports the idea that the activities in and around the football pitch are conceptualized in terms of more concrete entities which we understand more readily, namely physical fight, military conflict, games and sport, and several others. The most important limitation of this study rests in the fact that the current investigation was only restricted to the description of metaphors found in German commentaries. An issue that was not addressed in this study was cross-cultural variation in the range of conceptual metaphors and in their particular elaborations. Future research should therefore concentrate on the comparison and contrast of metaphors found in English and their counterparts in German and Polish. Given the fact that the current study was restricted to written commentary, it is recommended that a comparative study of spoken and written commentaries be undertaken, in view of the possible existence of linguistic variation in these discourses.

Bibliography

- Bommert S., 2010, *England look dead and buried. Usage of conceptual metaphors in*
 Chapanga E., 2004, ‘An analysis of the war metaphors used in spoken commentaries
 Evidence from English and Polish’ // *Język, Komunikacja, Informacja* 4, eds. Nowak P., Nowakowski
 P., Poznań: Sorus, 29–48.
- Football Commentators’ // *The Linguistics of Football*, eds. Lavrić E., Pisek G., Skinner A., Stadtler
 W., Tübingen: Gunter Narr, 113–120.
- Hanks P., 2006, Metaphoricity is gradable // *Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy*,
 eds. Stefanowitsch A., Gries S. Th., Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 17–35.
- Kövecses Z., 2002, *Metaphor. A Practical Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Lakoff G., Johnson M., 1980, *Metaphors We Live By*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lewandowski M., 2009, ‘Metaphors from Other Sports in the language of soccer – *live football
 commentary*, Bochum: GRIN Verlag.
- Matulina Ž., Čoralić Z., 2008, ‘Idioms in Football Reporting’ // *The Linguistics of Football*, eds.
 Lavrić E., Pisek G., Skinner A., Stadtler W., Tübingen: Gunter Narr, 101–111.
- Metaphor and Metonymy Revisited beyond the Contemporary Theory of Metaphor* (Benjamins
 Current Topics, 56), 2013, eds. González-García F., Peña-Cervel M. S. and Pérez Hernández
 L., Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
- Nordin H., 2008, ‘The Use of Conceptual Metaphors by Swedish and German
 of the 2004 edition of the Premier Soccer League (PSL) matches in Zimbabwe’, *Zambezia* 31,
 62–79.
- Partington A., 1997, *Patterns and meaning*, Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.
- Seddon P., 2004, *Football Talk*, London: Robson Books.
- Vierkant S., 2008, ‘Metaphor and live radio football commentary’ // *The Linguistics of Football*, eds.
 Lavrić E., Pisek G., Skinner A., Stadtler W., Tübingen: Gunter Narr, 121–132.

Appendix

(1) FINANCE

- a. Gegen Dortmund haben wir *eine Rechnung offen*. (We opened an account against Dortmund).
- b. Laut der Liga hat Ronaldo nun 38 Zähler *auf dem Konto*. (According to the league's ranking, Ronaldo has 38 goals *in his account* now).

(2) FOOD AND EATING

- a. BVB macht *Appetit* auf Ajax. (BVB whets the *appetite* for Ajax).
- b. Derby-Siege *schmecken* einfach besser. (Derby victories *taste* simply better).

(3) THEATRE

- a. Die besten Clubs Europas konkurrieren miteinander *auf der internationalen Bühne*. (The best clubs in Europe compete against each other *on the international stage*).
- b. Xavi gegen Pirlo: Der spanische *Regisseur* drückte dem Spiel seinen Stempel auf. (Xavi versus Pirlo: the Spanish *stage director* put his mark on the game).

(4) MUSIC

- a. Barcelona drohte ein weiteres Jahr die erste Geige in Europa zu spielen. (Barcelona threatened to play the first fiddle in Europe for another year).
- b. Deutschland war ein harmonisches *Orchester*, die Niederlande eine angetrunkene *Blaskapelle* ohne *Dirigenten*. (Germany was a harmonic *orchestra*, and Holland was a tipsy *brass band* without a *conductor*).

Summary

METAPHORS IN WRITTEN SOCCER COMMENTARIES: EVIDENCE FROM GERMAN

Drawing on Lakoff and Johnson's theory of metaphor, the author attempts to establish the kind of source domains from which common metaphors are drawn, and to what degree structural metaphors are used. To this end, different types of texts (e.g., match reports and reviews, official news, interviews, etc.) have been derived from German internet websites, with the intention of analyzing metaphors found therein. Data indicates that a number of structural metaphors can be found in written football commentaries. They are drawn from a wide variety of source domains, although the domains of physical fight, military conflict, games and sport, animal and human behaviour, as well as meetings and journeys are particularly prominent. The primary function of metaphor in this context appears to be to interpret facts in a way that attracts the readers' attention.

LITERATUROZNAWSTWO I PRZEKŁADOZNAWSTWO

Czesław Andruszko

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

СНОВИДЕНИЯ ДАНИИЛА ХАРМСА. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Key words: dream, oniric motifs, high culture, re-reading, Kharms

Нет необходимости специально доказывать, что феномен сна занимает особое место в творческом наследии Даниила Хармса. Уже беглый взгляд на заглавия его стихотворений и мини-рассказов показывает, что темой многих из них являются сны и сновидения. Их теоретическое осмысление составляют основу предлагаемой статьи. Здесь следует особо подчеркнуть, что Хармса в малой степени интересует семантика сновидений и вытекающая отсюда их профетическая роль. Внимание писателя сосредоточено в первую очередь на культурологическом значении сна и его места в творческом процессе. В этом плане изложения автор обращается к широко понимаемой традиции индуизма, показавшей «относительность» а тем самым и «недействительность» каждого «события» [Eliade 1999, 64]. Творческая связь с индуизмом детерминирует понятие сна у Хармса. Если в европейской традиции сон рассматривается как явление «нереальное» в противовес «реальности» окружающей нас действительности, то в индийской традиции утверждается обратное, – что нет ничего более реального, чем сон, если учесть, что сама жизнь в такой же степени нереальна, что и сон. Иначе говоря, индийская культура отличается от всех других культур своей верой в то, что весь мир является «чем-то вроде сна» [Lewis 1998, 30]. Эта вера служит отправной точкой как для теории абсурда, которой Хармс усиленно занимался в начале творческого пути, так и для познания тайны сна, вписанной в основу его авторского мира. Сам Хармс так писал на эту тему: «Сон в большинстве случаев значит просто обратное (...) Чтобы толковать сны, надо уметь находить обратные явления» [Хармс 1999, II, 236]. Принцип «обратного», указывающий на наличие некоей «черты раздела», заставляет связывать конец и начало каждого явления: сна и яви, рождения и смерти, беспамятыства

и памяти и так далее. Рассмотрим эти «обратные» связи на примере мини-рассказа *Сон*, имеющего характер эстетической программы.

В миниатюре *Сон*, расположенной в центральной части повествовательного цикла *Случаи*, рассказывается о том, что некий Калугин «увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер» [Хармс 1994, I, 268]. Ситуация повторяется пятькратно, с тем однако, что ее участники меняются местами (раз в кустах прячется Калугин, раз милиционер). Вместе с ними чередуются явь и сон, а слово «будто», инициирующее ситуацию сна во всех рассказах Хармса, стирает границу между ними. В последней сцене Калугин «сидит за милиционером, а мимо проходят кусты» [Хармс 1994, I, 268]. После этого Калугин уже не смог проснуться и умер от истощения, а его тело выкинули «вместе с сором» [Хармс 1994, I, 268].

Изложенные в рассказе *Сон* события укладываются в форму цикла, повернутого в сторону древнеиндийской философии, которая показывает, что путь постижения мира связан с непрерывным процессом разрушения всего видимого и обратное его восстановление при прохождении каждого цикла. История Калугина лишена внутренней психологии и свидетельствует об иллюзорной дихотомичности мира. Сон существует за пределами психического «я» персонажа, который, как и большинство героев Хармса, отличается «врожденным невежеством» [Хармс 1994, 236]. Его сущность заключается в тотальном незнании как своей природы, так и природы мироустройства. Именно поэтому хармсовские герои смотрят на мир как на нечто чужое, угрожающее их экзистенции, а смерть воспринимают как необратимый предел, вызывающий чувство метафизического ужаса, от которого столь абсурдным способом пытается спастись главный герой *Сна*.

Финал истории Калугина разрешается сверхъестественным образом – против героя рассказа выступают кусты, в которых он прячется, припоминая тем самым знаменитую финальную сцену из трагедии Шекспира *Макбет*. Здесь, как известного, против главного героя выступает лес, предрешая тем самым его поражение и смерть. Хармс дает пример «обратного» прочтения Шекспира – вписывает финал *Макбета* в контекст своего коротенького рассказа, имея ввиду уникальное для мировой литературы значение как самой сцены, так и ее автора. Ссылки на Шекспира расширяют семантическое поле рассказа, помогают преодолеть абсурд, заложенный в его финале. Детальное совпадение обеих сцен снимает явление «случайности» на высшем творческом уровне, связанным со сном. У Хармса налицо литературная атрибутика сна, преломленная в уникальных творениях Шекспира. Под его влиянием автор *Сна* нарочито устраняет границу между сном и явью, чтобы показать, как трудно отделять одно от другого и каким абсурдом является деление неделимого. Герой *Сна*, втянутый в нескончаемый процесс переживания своего ужаса перед смертью, не в состоянии вырваться из круговорота явлений мирского бытия, называемого в индуизме *сансарой*.

В анализированном рассказе Хармса есть одна знаменательная деталь, смещающая все бытовые акценты на творческий уровень сна. Такую роль выполняет в структуре рассказа газета, которую вторично проснувшийся Калугин подклады-

вает себе под голову, – «чтобы не мочить слюнями подушку» [Хармс 1994, 236]. Этот продукт ежедневной информации образует проницаемую «черту раздела» между явью и сном и определяется как текст хроники, построенной, казалось бы, по принципу «случайности». Критикой уже отмечалось, что мини-рассказы Хармса «откровенно ориентированы на этот газетный жанр» [Ямпольский 1998, 11], но это не дает оснований столь безоговорочно утверждать, что «Хармс строит свою литературу как антилитературный факт» [Ямпольский 1998, 10]. Такой подход не учитывает проблемы читателя, на активную роль которого возлагает все свои надежды писатель. Так или иначе, в свернутых до абсурда текстах Хармса прочитываются, образно говоря, следы авторского вмешательства, восстанавливающего «обратную» связь с избранными литературными источниками. Трагическое время Хармса совпадает с трагическим временем Шекспира, но здесь нет никакой тождественности. Одно дополняет другое по принципу творческой аналогии. Искусство, как его понимает автор *Сна*, ничего не объясняет, оно объединяет мир в одно целое.

В анализированном рассказе, занимающем главное место среди хармсовских *Случаев*, сон восстанавливает целостность мироощущения, поскольку создает пространство для перехода из одного в другое. На этом фоне отсутствие сна показывает мир в состоянии деструкции. Такую цель преследуют рассказы *Случай с Петраковым*, *Потери* и *Сон дразнит человека*, составляющие свой внутренний мини-цикл и рассчитанные на творческую активность читателя. Если Калугин из рассказа *Сон* испытывает ужас от невозможности проснуться, то герои этих рассказов – и Петраков, Мясов, Марков – страдают от невозможности заснуть, что в итоге приводит их в бешенство. Поиск значений отсутствия сна и прямого воздействия реальности на психику человека ведется с таким расчетом, чтобы в нем прозвучала главная идея рассказа Чехова *Спать хочется*. Заглавие рассказа служит здесь своеобразным творческим сигналом для целой группы *Случаев*. В этом известном произведении, написанном в мрачных тонах, рассказывается, как девочка-подросток, именно из-за отсутствия сна, сходит с ума и совершает убийство. Хармс по-своему, в форме абсурда, показывает то же «чеховское» бездушие и автоматизм повседневной деятельности, ставящей его героев на грани безумия.

Идея безысходности бытия, лишённого своего онирического компонента, получает адекватное выражение в повести *Старуха*, где пытающемуся заснуть рассказчику на какой-то миг показываются «отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки» [Хармс 1994, I, 298]. Составные элементы сна несут в себе все то, что наиболее значительно с точки зрения автора. В данном случае, когда герой пребывает в состоянии полусна, уже прямо говорится о «проедании» жизни и безвозвратной утрате времени, которая переключается с заглавием появившемся в начале века циклом романов Марселя Пруста *В поисках утраченного времени*. Оба писателя по-разному показывают культурное невежество современного им человека и недостоверность его представлений о мире. Предельно сжатые тексты Хармса, преобразующие реальность по логике сновидения, создают свое особое поле напряжения, в котором прочитывается их

литературная направленность. В данном случае здесь «обратно» переосмысливается прустовская идея о человеческом существовании как об утраченном времени, если оно реализуется без участия творческого «я» и за пределами памяти о культурном достоянии человечества.

Автор *Сна* разрушает традиционное представление о времени. Время сновидений остановлено и течет в обратном направлении, показывая, что сокрыто от человека. И тогда «случается» непредвиденное и необъяснимое – как в истории «одного человека», который «лег спать верующим, а проснулся неверующим» [Хармс 1994, II, 127].

В *Случаях* кульминационным обобщением темы «утраченного времени» служит рассказ *Потери*, герой которого теряет при разных «случайных» обстоятельствах все то, что он приобрел на рынке – фитиль, колбасу, кефир, французскую булку. Но на этом процесс потерь не прекращается. Вернувшись домой, рассказчик ложится спать, и с трудом засыпая, видит «будто он потерял зубную щетку и чистит зубы каким-то подсвечником» [Хармс 1994, II, 274]. Следует особо подчеркнуть, что последний элемент текста связан уже со сферой сна и представляет собой некую «чистую» случайность, открывающую истинное положение вещей и вынуждающее литературный контекст их восприятия. Взятые вместе – фитиль и подсвечник – связывают конец и начало произведения, показывая в новом свете «предполагаемый» смысл текста и такой его расшифровки, которая абсурдное делает не случайным. В *Потерях* «обратно» прочитывается прустовская идея о том, что любое случайное событие в прошлом может вызвать к жизни целый ряд явлений, составляющих основу литературного творчества, в котором сокрыта высвобождающая энергия текста. А здесь уже ничего случайного нет и быть не может. Все творческое наследие Хармса представляет собой «обратную» сторону случайного, предрасполагающего к домысливанию роли и значения культуры в профанном обществе.

В онирических произведениях Даниила Хармса разгадка сна несет с собой все то, что наиболее существенно с авторской точки зрения. Наиболее показательным в этом отношении является рассказ *Утро*, показывающий значение сна как творческого приема. Герой *Утра* видит сон о собаке, которая «лизала камень, а потом побежала к реке и стала смотреть в воду» [Хармс 1994, II, 31]. Стремление рассказчика «обдумать сон до конца» [Хармс 1994, II, 32] уже явно сопряжено с установкой на «додумывание» конкретного литературного источника. Абсурдный в своей изменчивости мир *Утра* то теряет, то меняет краски, обнаруживая свою устойчивую связь с *Невским проспектом* Гоголя, а, точнее, с «обратным» его осмыслением. На этом фоне реализуется авторский сон о собаке, смотрящей в воду. В традиционном толковании собака обозначает людей со звериными отклонениями, вода же символизирует земной быт. Человек-зверь, наблюдающий за течением времени, видит мир в перевернутом состоянии, заставляющем усомниться в его достоверности. Возможность «обратного» прочтения данности рассчитана здесь на читателя с максимально широким культурным кругозором. В открывающем *Утро* фрагменте сна сходятся несколько характерных для многих хармсовских

текстов мотивов, среди которых главное место отведено гоголевской традиции. Она в большей степени чем другие претендует на роль универсального ключа, помогающего «открыть» герметически замкнутый текст Хармса. Регрессивная функция сна выносит на поверхность времени знаменитую гоголевскую формулу бытия, исходящую из того, что «на свете нет ничего долговременного, а потому и радость, в следующую минуту за первую, уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенными положениями души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью», [Гоголь 1913, 280]. Хармс делает эту художественную формулу составной частью своего творческого метода. В написанном уже после *Утра* стихотворении *О водяных нулях* автор открыто призывает: «Бросайте, дети, в воду камни. // Рождает камень круг, // а круг рождает мысль» [Хармс 1994, I, 247]. Творческая переключка Хармса с Гоголем служит обнажением приема, заложенного в глубине каждого самопознающего сознания. Собаки и дети здесь скорее сближены, чем разделены, что и создает определенный, рассчитанный на «домысливание», тип незнания. Хармсовская онирическая тема показывает, что все явления, в том жизнь и смерть, неотделимы друг от друга и могут переходить одно в другое. Как жизнь, так и смерть связаны у него со стихией воды, а брошенный в воду камень, вызывающий на ее поверхности смысловые круги, является единственной формой борьбы с мыслительными застоями, обозначающими смерть. Другими словами, свою творческую программу в ее исходном понимании Хармс приравнивает к известной гоголевской формуле «омертвления», передающего «обмеление души, примитивизацию движений и чувств» и следующее за этим «окаменение» как «высшую степень страдания» [Манн 1978, 354]. Мир Хармса постоянно показывает свою относительность, а тем самым и нереальность, и подобно сновидениям является проекцией нашего образа мышления. Его творчество рассчитано на читателя с предельно широким культурным диапазоном. Творческая трагедия автора *Сна* заключалась в том, что единственным адресатом, к которому он апеллировал, был практически он сам.

Таким образом, опознавательным знаком онирической модели Хармса является реализующаяся в ней установка на литературный дискурс, в котором играет первостепенную роль. Открытая на литературные влияния, форма сна «обратно» расширяет семантическое поле свернутых хармсовских текстов, делая их «читабельными». Посредством сна литературное произведение обретает здесь «удвоенную» жизнь, слагаемым компонентом которой являются традиции Шекспира, Чехова, Пруста, Гоголя. Сновидения Хармса прочитываются в широком литературном контексте. За всем этим скрывалась последовательно проводимая Хармсом попытка создания элитарной литературы, ориентированной на лучшие образцы мировой культуры. Круг ценностей, рассчитанный на творческое «я», здесь подчеркнуто высок и превращается «в разновидность (или подобие) тайного, сакрального, эзотерического знания, табуированного для остальной массы, а ее носители превращаются в своего рода «жрецов» этого знания, избранных богов» [*Культурология. XX век.*

Словарь 1997, 557]. Предпринятая писателем попытка создания элитарной литературы в условиях тоталитарного общества была, конечно, утопией, и автор *Утра* отдавал себе в этом отчет. Но он также до конца осознавал свою миссию в культуре, рискуя быть непонятым современным ему читателем. Хармс по сегодняшний день показывает себя писателем неповторимым, ощущающим сильнее всех магическую действенность сновидений связанных с литературой и питающихся литературой. В этом плане изображения Хармс существенно отличается от современной ему русской литературы, концентрирующей свое внимание на нирванической функции сна и воспринимающей смерть как желаемый предел бытия. Уникальность идейной позиции Хармса заключается в том, что его творчество – столь глубоко насыщенное сновидениями – открыто на поиск смысла, свидетельствующего о неистребимости жизни в духовном и творческом значении этого явления. Как говорит рассказчик в рассказе *Сундук*, признаваясь в своем неведении, «жизнь победила смерть неизвестным для меня способом» [Хармс 1994, II, 265]. Можно без преувеличения сказать, что Хармс подвергает своих героев крайнему эксперименту, чтобы дать им хоть на миг почувствовать, что за абсурдной раздробленностью бытия скрывается целостность миропорядка, доступная высокому искусству.

Библиография

- Cirlot J. E., 2012, *Słownik symboli*, Kraków.
Eliade M., 1999, *Mity, sny i misteria*, Warszawa.
Lewis J. R., 1998, *Encyklopedia snu*, Cibet.
Rinpoche T.W., 2000, *Tybetańska joga snu i śnienia*, Poznań, 25.
Культурология. XX век. Словарь, Санкт-Петербург, 1997.
Манн Ю., 1978, *Поэтика Гоголя*, Москва.
Хармс Д., 1994, *Сочинения*, в 2 томах, т. I, II, Москва.
Ямпольский М., 1998, *Беспмятство как исток (Читая Хармса)*, Москва.

Summary

DREAMS BY DANIIL KHARMS

Dreams in Daniil Kharms' works are formed on the basis of Hinduism which treats a dream as a special kind of reality. They assume the shape of a literary dimension and refer to the rich oniric problems found in the works by Shakespeare, Proust, Gogol, and Chekhov. Beyond the limits of absurdity connected with reality, Kharms hides another fully-dimensional world, open for individuals who are deeply involved in the process of literary creation.

Ольга Бараш

Образовательный ресурс www.language-travel.ru

Москва

СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ИНТЕРТЕКСТА И АВТОРЕФЕРЕНЦИИ В СТИХОТВОРЕНИИ И. БРОДСКОГО «ПОЛОНЕЗ: ВАРИАЦИЯ»

Key words: Brodsky, intertext, self-reference, motive structure, Polish poetry

По словам М. Лотмана, «Бродский интересен как раз тем, что, в отличие от обычных представлений о поэзии вообще и лирической поэзии в особенности, он является поэтом повышенной – если так можно выразиться – пропозициональности. Не суггестивность словесных образов, но цепь риторически развитых и логически скрепленных утверждений и составляет, на первый взгляд, семантическую основу его стихов» [Лотман 2002, 73].

Только на первый взгляд – потому что, казалось бы, семантика стихотворений при такой технике должна быть совершенно прозрачной. При этом ряд текстов Бродского остается, пользуясь выражением Е. Погорелой, «загадкой для читателя» [Погорелая 2012, 356]. Эти слова исследовательницы относятся к стихотворению *Полонез: Вариация* (далее – *ПВ*), которому она посвятила пространную статью [Погорелая 2012, 347-369]. – кстати, это единственная работа на данную тему во всей обширной «бродскиане». У других авторов [Николаев 2006, Тарковска 2006] стихотворение если и упоминается, то вскользь и не подвергается сколько-нибудь серьезному анализу. Весьма лаконичный комментарий Л. Лосева к этому стихотворению содержится в двухтомном собрании стихотворений Бродского [Лосев 2011, 367-368]; почти не комментирует его Д. Ахапкин [2009]. Упоминания стихотворения содержатся также в работах И. Грудзиньской-Гросс [2013]. Подробный разбор текста можно найти в книге Е. Петрушанской *Музыкальный мир Иосифа Бродского* [2006]; однако автора, как музыковеда, в первую очередь интересует генезис «музыкального заглавия» стихотворения; эту тему, кстати, продолжает и Е. Погорелая.

Для того чтобы решить «загадку» текста, следует, как представляется, по крайней мере для начала, абстрагироваться от «музыкальных» коннотаций заглавия,

хотя и в самом тексте имеется некая отсылка к связи его с музыкой: это упоминание «в пианино ушедшего Фридерика» (т.е. Шопена). По мнению С. Николаева, таким образом в стихотворении переданы размышления поэта «о Польше как о нации, подкрепленные соответствующими реалиями, которые обозначались именами собственными – «Фредерик» (Шопен), «Коперник», также и заглавием стихотворения («полонез» – от франц. *danse polonaise* – польский танец) и т.д. [Николаев 2006].

С тем, что заглавие задает польскую тему, согласна и И. Грудзиньская-Гросс, которая, впрочем, разъясняет: «В...стихотворении «Полонез: Вариация» (1981) тоже присутствуют польские мотивы, но их немного. Полонез как музыкальная форма был очень популярен в России и даже лег в основу ее первого гимна. Поэтому выбор названия и его аллюзии все же не могут быть единственной возможностью отыскать следы культурных влияний» [Грудзиньская-Гросс 2013, 107].

Действительно, «на первый взгляд», то есть на пропозициональном уровне, польских мотивов в длинном стихотворении очень мало: упоминание Шопена, Коперника, реки Буг, полонизм «фольварк» и идишизм «балагола», который с натяжкой тоже можно принять как обозначение польско-еврейской реалии. Однако «балагола» упоминается также в *Литовском ноктюрне*, «фольварк» – в стихотворении *Einem alten Architekten in Rom*, Шопен – в *Развивая Платона*, а «полонез» – в раннем стихотворении *Земля*; ни одно из них никак не связано с польской темой. К тому же присутствие в стихотворении «Шопена» и «фольварка» вызывает у русского (и сведущего в русской поэзии польского) читателя неизбежную пастернаковскую ассоциацию: «Так некогда Шопен вложил/ живое чудо/ фольварков, парков, роц, могил/ в свои этюды» (*Во всем мне хочется дойти до самой сути...*).

На «польский след» наводит скорее посвящение З.К. – Зофье Капуциньской (Ратайчак), польской подруге Бродского, с которой он познакомился в Ленинграде летом 1961 года. Однако ни в первой публикации в альманахе *Russica-81*, ни в первых изданиях книги *Уrania* (1987), ни в первой публикации стихотворения на английском (в переводе автора) в журнале «New Yorker» в 1987 г. посвящения не было – оно появилось лишь в последующих изданиях. В 1989 г. Бродский его вписал в экземпляр книги, подаренной Е. Рейну [Рейн]. По мнению Л. Лосева, первоначальное отсутствие посвящения было продиктовано нежеланием «компрометировать старого друга в коммунистической Польше в период тоталитарных репрессий» [Лосев 2011, 367] – ведь стихотворение написано в 1981 (по некоторым источникам – в 1982) году, вскоре после введения в Польше военного положения. Напрашивается, правда, и другой вопрос: не было ли вписывание посвящения экзпромом, ведь известно, что Бродский нередко «перепосвящал» тексты. Тем более что доминирующая в *ЛВ* тема далекой возлюбленной и невозможности встречи звучала в текстах, посвященных другим лицам, – М.Б. и F.W.

В пользу того, что стихотворение было изначально обращено именно к З.К., говорит насыщенность его не столько польскими реалиями, сколько аллюзиями к произведениям ряда польских поэтов, а также автореференциями, которые, как представляется, существенно расширяют (и проясняют) семантику этого произведе-

дения, написанного, опять же на первый взгляд, о любви – «niegdysiejszej, na połę zapomnianej miłości» [Tarkowska 2006, 238].

Уже первые строки напоминают о раннем стихотворении Бродского, что отмечено, в частности Л. Лосевым: «Осенний журавлиный крик в начале стихотворения связывает ПВ с посвященным тому же адресату и датированным 10 октября 1962 года стихотворением *Пограничной водой наливается куст...*, которое кончается строками: «И с полей мазовецких журавли темноты/ непрерывно летят на Варшаву» [Лосев 2011, 368]. О том, что эта связь не случайна, говорят и другие параллели между двумя текстами. Например, наличие в них нечастого у Бродского слова «держава»: следует отметить, что в применении к конкретным странам поэт употреблял его лишь по отношению к СССР, США и Польше (см., кроме двух анализируемых, стихотворения *Процайте, мадмуазель Вероника, Литовский ноктюрн, Помнишь свалку вещей на железном стуле...*, *Пьяцца Маттеи*).

Еще одна автореференция: «Пограничной водой наливается куст» – «Вспять плетется ольшаник с водой в корзинах» (*ПВ*). То, что ольшаник тоже «пограничный», ясно из предыдущей строки – «и мелькают стога, завалившись в Буг...» – т.е. в реку, по которой тогда проходила граница между Польшей и СССР.

Одновременно «ольшаник с водой в корзинах» – почти дословная цитата из текста *В стропилах воздух ухает как сыч...* (1965): «В ответ – рванье сырой галиматый/ ольшаника с водою в голенищах...», и, возможно, возник под влиянием стихотворения К.И. Галчинского *Spotkanie z matką*, отсылка к которому имеется и более в раннем стихотворении, посвященном З.К. – *Лети отсюда, белый мотылек*. Ср. «Скрипит ольха у дальнего колодца...» (Бродский); «*Ciemne olchy stoją na moczarze...*» (Галчинский). Возможно, именно *Spotkanie z matką* стало источником «странного» слова в *ПВ* – «мочежина» (правильно – «мочажина»): «В полнолуние жнивье из чужой казны/ серебром одаривает мочежина...» – от польского *moczaz* с тем же значением – сырое, заболоченное место; у Галчинского далее в том же тексте: «*z fajką srebrną w zębach wyszedł księżyc*» Луна «серебрит» мир: «...*jakby cały świat był srebrnym świerkiem...*». Следует отметить, что Галчинский был для Бродского биографически связан с Зофьей Капуциньской, которая при первой встрече дала ему послушать пластинку с записью авторского чтения польского поэта.

Стихотворение *В стропилах ветер ухает как сыч...* (не имеющее посвящения) было написано Бродским в ссылке, в деревне Норенской. Аллюзия на стихи, написанные ссылкой, подчеркивает на интертекстуальном уровне мотив несвободы, который на уровне лексическом вводится в первой части *ПВ*: «донос», «улика», описание клаустрофобического, замкнутого пространства: «И хотя окно не закрыто, уже углы/ привыкают к сорочке как к центру круга», – описание, которое, кстати, заставляет вспомнить о некоторых образах из «тюремного» цикла стихотворений Бродского *Камерная музыка*. Благодаря этому в *ПВ* актуализируются однозначные ассоциации, связанные у советского человека с аббревиатурой З.К. (зэка – заключенный, ссылкой) и присутствующие, кстати, во всех посвященных этому адресату стихотворениях, равно как и тема «души и непроходимой границы»

[Шимаков-Рейфер 2002, 27]. Однако в *ПВ* адресат и адресант меняются местами: если в ранних стихотворениях в изоляции находился лирический субъект, то в более позднем – героиня, которую к тому же окружает «кольцо конопли» – образ, ассоциирующийся и с петлей веревки повешенного, и с наркотическим опьянением, и с «холщевым подолом» героини, упомянутым во второй части *ПВ* (холст, как известно, изготавливается из конопли). Но кроме того, конопля (konopie) пространно описывается в поэме А. Мицкевича *Pan Tadeusz* как растение-защитник, живое ограждение: «W tej zielonej, pachnącej i gęstej krzewinie,/ Koło domu, jest pewny przytułek zwierzynie/ I ludziom <...>». «I stąd w czasie bitew, zajazdów, tradowań/ Obie strony nie szczędzą wielkich usiłowań,/ Ażeby stanowisko zająć konopiane,/ Które z przodu ciągnie się aż pod dworską ścianę./ A z tyłu, pospolicie stykając się z chmielem./ Kryje atak i odwrót przed nieprzyjacielem». Ср.: «Повернешься на бок к стене – и сны/ двинут оттуда, как та дружина, через двор, на зады, прорывать кольцо/ конопли...» (*ПВ*).

Добавим, что глава из *Пана Тадеуша*, содержащая этот пассаж, называется «Zaścianek» («Усадьба»), что созвучно русскому «застенок» (С. Мар перевела название несуществующим русским словом «Застянок»). Бродский был чувствителен к таким созвучиям.

Соблазнительно было бы и заглавие стихотворения Бродского возвести к *Пану Тадеушу* – к последней главе поэмы, содержащей описание полонеза, который танцует героиня, тезка З.К. – Зося. Но для этого нет достаточных оснований; в конце концов, в польской поэзии национальный танец упоминается достаточно часто, в том числе в заглавиях (например сатирический *Czarny polonez* К. Вержиньского или содержащее игру слов заглавие стихотворение К.И. Галчинского *Le danse de polonais*). У исследователей (Е. Петрушанская, Е. Погорелая) принято соотносить заглавие «Полонез: Вариация» с полонезами Шопена [Петрушанская 2006, 204-205; Погорелая 2012]. Однако упоминание Шопена («Фридерика», см. выше), как представляется, имеет под собой не столько музыкальный, сколько поэтический подтекст, заставляя вспомнить любимого Бродским Ц.К. Норвида – а именно стихотворение *Fortepian Szopena*, где рояль сравнивается с гробом: «Sprzęt, podobny do trumny» и где поэт видит музыканта как бы «уходящим» в фортепиано: «Którego ręka, dla swojej białości.../ Mieszła mi się w oczach z klawiaturą/ Z słoniowej kości...»

Норвидовский подтекст мы найдем и во второй части стихотворения, где, по словам И. Тарковской, «шаг за шагом отображается польский пейзаж, как бы увиденный глазами Шопена» [Tarkowska 2006, 237] – можно добавить: и Мицкевича, мастера описания польского пейзажа. Следует обратить внимание на антропоморфность этого пейзажа, благодаря которой адресация стихотворения становится двойственной: стране придаются женские черты и наоборот: «Черепица фольварков да желтый цвет/ штукатурки подворья, карнизы – бровью...» То же самое происходит в стихотворении *Rozebrana* Ц.К. Норвида, где «всегда раздетая» женщина является символом Польши. К этому тексту отсылает также стремление

«одеть» героиню, причем в крестьянский, «народный» костюм – «твой холщовый подол, шерстяной чулок» едва ли может относиться к адресату стихотворения – горожанке, университетскому профессору, и сожаление о том, что она одета («тело с россыпью родинок застит платье» – «Wszakże nieskryte jest, a tak promienne/ Łono Dużany!» – Норвид), мотив зашивания («Гумczasem szwaczek trzy stoi z pudłami/ I szewców sprogo... (Норвид) – «на суровую нитку пространство впрок/ зашивает дождем...» (Бродский).

В скобках отметим, что, как сообщила автору данной статьи Зофья Ратайчак, Норвид, один из любимых поэтов Бродского, также для них общей темой. Томик Норвида она купила в Ленинграде, и была удивлена, что Бродский хорошо знает этого поэта уже в 1961 году.

В цикле *Литовский дивертисмент* Бродский выказывает ироническое отношение к «певцу,/ отечество сравнившему с подругой» – литовскому поэту Майрониусу, при этом в *ПВ* делает практически то же самое. Однако подобное сопоставление можно найти и в польской поэзии – это стихотворение *Dwie miłości* К. Бачиньского: «Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało,/ które się w formach słowicznych ustało,/ jak mleko płynie w szklanym smukłym dzbanie <...> I pokochałeś jeszcze ziemię grozy/ z ognistym śladem wielkich kroków bożych...» в последнем бою обе любви сливаются в одну. Бачиньский сравнивает тело любимой с «молоком в стеклянном кувшине» («jak mleko płynie w szklanym smukłym dzbanie»); ср. у Бродского: «Лишь хрусталик тускнеет да млечный цвет/ тела в россыпи родинок прячет платье...» Интересным образом хрусталик (глаза) с учетом данного подтекста обнаруживает свое неметафорическое значение (хрусталь как род стекла). Герой Бачиньского, полюбив женщину, смотрит в нее как в зеркало: «Jak ruczaj sobie/ przed oczu stawiasz, aby twarze obie/ i ta odbita, i twoja prawdziwa/ były jak jeden ruch...» Ср. у Бродского в третьей части *ПВ*: «Либо, в зеркало вперяясь, сказать что ты/ – это я»? Текстовые совпадения со стихотворением Бачиньского подчеркивают двойную адресацию стихотворения, к героине и к стране, кроме того за счет семантического расширения вводят мотив героической борьбы как за любимую, так и за отчизну.

Третья часть *ПВ* повествует о разлуке и невозможности встречи. И здесь бросается в глаза автореференция – к стихотворению *Пенья без музыки* написанному в 1969 году на ту же тему, но посвященному другому адресату – F.W. (Фейт Вигзел), англичанке, навсегда покинувшей СССР: «Грядущее есть форма тьмы,/ сравнимая с ночным покоем./ В том будущем, о коем мы/ не знаем ничего, о коем,/ по крайности, сказать одно/ сейчас я в состояньи точно:/ что порознь нам суждено/ с тобой в нем пребывать, и то, что/ оно уже настало...»

Ср. в *ПВ*: «в нашем будущем, как бы брегет не медлил,/ уже взорвалась та бомба, что/ оставляет нетронутой только мебель./ Безразлично, кто от кого в бегах:/ ни пространство, ни время для нас не сводня,/ и к тому, как мы будем всегда, в веках,/ лучше привыкнуть уже сегодня».

Но строка «Ни пространство, ни время для нас не сводня» не восходит к *Пенью без музыки*. Здесь, как думается, отражен факт из биографии Бродского, связанный

также с польским эпизодом его жизни – встречей, точнее, прощанием с Виктором Ворошильским в Вильнюсе в 1971 году. «Ворошильский сказал: „что ж Иосиф, мы все же встретились, хоть история пыталась этому помешать” – «География помогла» – ответил Бродский [Ворошильский 2010, 57].

К такой же кружковой семантике польско-литовского окружения Бродского можно отнести строки: «...можно, как сын Кибелы/, оценив темноту и смешавшись с ней/ выпасть незримо в твои пределы». «Сын Кибелы» толкуется Л. Лосевым следующим образом: «богиня Кибела (культ ее фригийского происхождения, распространившийся в Греции и Риме), Великая Мать, иногда отождествлявшаяся с природой вообще. Отсюда – «сын Кибелы», просто человек» [Лосев 2011, 368].

Это толкование неверно, что показывает хотя бы английский автоперевод Бродского, где это выражение переведено «the son of Cronus», из чего явствует, что речь идет о Зевсе, который нередко, согласно мифам, в разных образах «выпадал в пределы» женщин. Русский же вариант восходит к «Энеиде» Вергилия, где именно Кибела, пожертвовавшая деревья своей рощи на корабли Энея, просит сына – Юпитера (он же Зевс) – спасти эти корабли, что он и делает в IX песни поэмы. Следовательно, речь идет о «выпадении в пределы» именно страны, не о любовном, а о спасательном акте. Что заставляет вспомнить разговор, пересказанный Н. Горбаневской: «В декабре 80-го, когда угроза советской интервенции в Польше казалась неизбежной, мы сидели с Иосифом, Томасом Венцловой и еще одним литовцем и совершенно серьезно обсуждали план организации интербригад для защиты Польши. И, конечно, все четверо собирались высадиться, по возможности, с первым десантом» (Горбаневская) [Цит. по: Лосев 2008, 43].

Бродский любил Польшу, о чем неоднократно говорил в своих интервью и письмах, но побывал там только в 90-е годы, после падения тоталитарных режимов. В год написания стихотворения из-за военного положения посещение страны и встреча с Зофьей казались особенно утопичной. Знаменательно, что в своей речи на церемонии присвоения ему степени почетного доктора в 1993 году в Катовицком университете (где, кстати, работала и работает Зофья Ратайчак) он подчеркнул, что его Польша – «родом из книг». Именно цитатами из польских книг – Норвида, Мицкевича, Бачиньского, Галчинского – подкреплено заглавие. И безошибочно угадывается адресат – именно круг тем и мотивов, характерный для общения – личного и поэтического – поэта с Зофьей Капуциньской, – на него указывает.

А интертексты и автореференции, присутствующие в *ПВ*, позволяют вычленилть в стихотворении на важную для Бродского тему разлуки, отдаленности любимой и невозможности встречи еще и гражданские мотивы, складывающиеся в «вариацию» этой темы – о любви русского поэта к стране, о желании (в отличие от Пушкина, дружившего одно время с Мицкевичем) и невозможности помочь ей в трудную минуту. Эта страна – Польша, и вариация эта польская – «полонез».

Что возвращает нас к музыкальной семантике и заставляет вспомнить самый, наверное, известный полонез – Огинского. Автор, Михаил Клеофас Огинский, написал его в 1794 году, в год первого раздела Польши, вскоре после чего

эмигрировал. Это уже четвертый эмигрант, присутствующий косвенно в тексте – кроме Мицкевича, Норвида и Шопена. Но мало кто помнит, что полонез Огинского называется «Прощание с родиной». Бродский называл «родиной» Петербург; однако своей исторической родиной считал Польшу, поскольку фамилия его происходит от названия польского (ныне украинского) местечка Броды. Возможно, в этом был более серьезный резон: ведь недаром, по свидетельству З. Ратайчак, отец поэта спрашивал ее, не знает ли она каких-либо Бродских, живших до войны в Варшаве [Ratajczakowa 2014, 63]. И учитывая двойственность адресации стихотворения – женщине и стране – при желании найти в *ПВ* именно музыкальный подтекст, можно считать, что стихотворение служит, помимо всего прочего, «вариацией» на тему полонеза Огинского – «прощание с родиной».

Библиография

- Ахапкин Д.Н., 2009, *Иосиф Бродский после России*, Санкт-Петербург.
 Ворошильский В., 2010, *Три фотографии // Иосиф Бродский в Литве*, Санкт-Петербург.
 Грудзинская-Гросс И., 2013, *Милош и Бродский. Магнитное поле*, Москва.
 Лосев Л.В., 2008, *Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии*, Москва.
 Лосев Л.В., 2011, *Комментарии // Бродский И.А. Стихотворения и поэмы*, Санкт-Петербург.
 Лотман М.Ю., 2002, *На смерть Жукова // Как работает стихотворение Бродского*, Москва.
 Погорелая Е.А., 2012, *Еще раз о поэтике музыкальных заглавий И. Бродского // Вопросы литературы*, № 2.
 Николаев С.Г., 2006, *Феномен билингвизма в творчестве русских поэтов // Дисс. На соискание степени доктора фил. наук*, Ростов-на-Дону.
 Петрушанская Е.М., 2006, *Музыкальный мир Иосифа Бродского*, Санкт-Петербург.
 Рейн Е.А., *Мой экземпляр «Урании»*, <http://br00.narod.ru/10660362.htm>
 Шимаков-Рейфер Я., 2002, *Зофья // Как работает стихотворение Бродского*, Москва.
 Ratajczakowa Z., 2014, *To nie wzięło się z powietrza // Ilg J., Rozmowy*, Kraków.
 Tarkowska I., 2006, *Między Wschodem i Zachodem. Polska Josifa Brodskiego // Acta Polono-Ruthenica*, XI, 229-238.

Summary

THE SEMANTIC FUNCTION OF INTERTEXT AND SELF-REFERENCE IN J. BRODSKY'S POEM *POLONAISE: A VARIATION*

This article discusses the layer of associations and implications connected with Poland and Polish poetry in Josif Brodsky's poem *Polonaise: A Variation* (those concerning A. Mickiewicz, C.K. Norwid, K.I. Gałczyński, K.K. Baczyński, F. Chopin, and M.K. Ogiński), which, together with the author's references to his own earlier poems, forms a parallel plot of the poem at the intertextual level.

Nel Bielniak

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Zielonogórski

ŻYCIE NA POGRANICZU W ZWIERCIADLE OPOWIADAŃ ALEKSANDRA KUPRINA

Key words: south-west borderland of the Russian Empire, settlement zone, heterogeneity, cultural syncretism, cultural diffusion

Pogranicze, które w powszechnej recepcji jawi się jako coś marginalnego, w świadomości wielu twórców staje się obszarem nadzwyczaj inspirującym. Przestrzeń kresową cechuje bowiem wzajemne przenikanie się różnorodnych wpływów kulturowych, religijnych i obyczajowych. W polskiej tradycji poczesne miejsce zajmują tzw. Kresy Wschodnie. To tu na Podolu, Wołyniu lub Wileńszczyźnie na świat przyszło wielu wybitnych twórców, a mała ojczyzna, ukazywana nierzadko jako raj utracony lub wyidealizowany kraj lat dziecińczych, posłużyła im za natchnienie. O tym, jak istotną rolę odegrali oni w rozwoju rodzimej kultury i sztuki, mówią już same ich nazwiska. Wymieńmy zaledwie kilka z nich: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Eliza Orzeszkowa, Stanisław Moniuszko czy Bruno Schulz.

Kresowa mentalność, obyczajowość, topografia, fauna i flora znalazły się także w centrum zainteresowania Aleksandra Kuprina (1870–1938), pisarza obyczajowego, który miał możliwość zapoznania się z realiami środowiskowymi i etnograficznymi na zachodnich i południowych rubieżach Imperium Rosyjskiego. Autor *Olesi* wielokrotnie przebywał między innymi na Podolu, Polesiu i Wołyniu. Początkowo było to związane ze służbą wojskową i wędrownymi po kraju w poszukiwaniu pracy, w kolejnych latach – z ucieczką przed miejską wrzawą na łono natury oraz koniecznością poprawy kondycji zdrowotnej. Zebrany podczas tych podróży bogaty materiał faktograficzny został przez prozaika wykorzystany w licznych opowiadaniach. Mamy tu jednak do czynienia z nieco inną sytuacją, ponieważ swoistej pogranicznej heterogeniczności doświadcza Rosjanin o tatarskich korzeniach, co do pewnego stopnia determinuje postrzeganie przez niego rzeczywistości. Należy w tym miejscu podkreślić, iż na przełomie XIX i XX wieku szeroko pojęta kwestia „pograniczności” była w piśmiennictwie rosyjskim pomijana milczeniem lub przedstawiana w duchu wielkorosyjskiego nacjonalizmu. Do interesujących wniosków

dochodzi Witold Kołbuk. Polski badacz omawia wprawdzie los unitów podlasko-chelmskich, którzy przez pięć dekad poddawani byli procesowi intensywnej rusyfikacji (od upadku powstania styczniowego do wybuchu I wojny światowej), niemniej jednak zwraca uwagę na jakże symptomatyczne zjawisko związane z różnym interpretowaniem tych samych faktów przez przedstawicieli obu nacji. Dla polskiej opinii publicznej dramaty mieszkańców Nadbuża były, zdaniem Kołbuka, „elementem „pokrzepienia serc” w trudnym okresie zaborów i mglistych szans na odbudowę polskiej państwowości” [Kołbuk 2010, 237]. Wiele pisano o tym zarówno w prasie spoza zaboru rosyjskiego, głównie w krakowskim „Czasie” oraz lwowskich: „Ojczyźnie” i „Przeglądzie Lwowskim”, jak i w dziełach artystycznych. Tematyka ta pojawiła się w twórczości najwybitniejszych przedstawicieli ówczesnej literatury polskiej: Marii Konopnickiej, Władysława Stanisława Reymonta czy Stefana Żeromskiego. Świadectwem cierpień unitów jest także bogata memuarystyka oraz nieco skromniejsza literatura historyczno-naukowa. Natomiast charakter zgoła odmienny ma pochodzące z tamtego czasu piśmiennictwo rosyjsko-prawosławne. W każdej postaci (czasopiśmiennictwo, prace historyczno-naukowe, beletrystyka) odznaczało się ono bowiem agresywną propagandą i nachalną apoteozą wielkoruskiej ideologii [Kołbuk 2010, 235–242]. Nadmienmy tylko, iż do eskalacji postaw skrajnie nacjonalistycznych oraz wzrostu aktów dyskryminacji i nietolerancji wobec innych niż dominująca grup etnicznych w targanej niepokojami społecznymi i kryzysami gospodarczymi Rosji styku stuleci przyczyniło się objęcie tronu przez łatwo ulegającego wpływom i owładniętego fanatycznymi ideami Nikołaja II [Cieślak, Smaga 1991, 9].

Na takie przesycone szowinizmem i wrogością wobec obcych lata przypadają dzieciństwo i młodość Kuprina, które przyszedł pisarz spędził w Moskwie, odizolowany niejako od świata realnego murami różnego rodzaju placówek państwowych. Ostatnią z nich była szkoła oficerska, którą ukończył latem 1890 roku, następnie zaś udał się do guberni podolskiej, gdzie stacjonował 46 Dnieprowski pułk piechoty. Wtedy też bodaj po raz pierwszy zetknął się z surowymi warunkami życia na prowincji¹. Sztab i główne siły były rozkwaterowane w powiatowym miasteczku Proskurów oraz sąsiednich wsiach. Natomiast każdy z czterech batalionów spędzał kolejno zimę w Husiatynie lub w Wołoczyskach – niewielkich miejscowościach położonych nad graniczną rzeką Zbrucz oddzielającą Rosję od Austrii. Nie bez znaczenia jest fakt, iż były to jednocześnie zaanektowane przez Rosję tereny dawnej Rzeczypospolitej, jak i tzw. „strefa osiedlenia”, dlatego też mieszkali tu głównie Żydzi, Polacy i Ukraińcy, zaś przedstawiciele kultury dominującej reprezentowani byli mniej licznie.

Nie może zatem dziwić, iż pierwsze wrażenia wychowanego w Moskwie dwudziestoletniego podporucznika były wyłącznie negatywne. Zaniedbane, zapadłe miejscowości, senne życie, wszechobecny brud, nieznanymi ludźmi, inne obyczaje, łamany język, a także skandaliczne zachowanie znudzonej kadry oficerskiej – wszystko to odpychało go i wywoływało nasilające się poczucie alienacji i samotności [Кулешов 1983, 38–41].

¹ Prozaik urodził się wprawdzie w powiatowym miasteczku Narowczat w guberni penzeńskiej, lecz opuścił je wraz z matką w wieku trzech lat pod koniec 1873 lub na początku 1874 roku [Кулешов 1983, 8].

Towarzyszące mu odczucia, przemyślenia i obserwacje Kuprin skrupulatnie zapisywał w notatniku:

В записную книжку – konstatuje Fiodor Kuleszow – он тщательно вписывал характерные сцены, меткие армейские словечки, выразительные диалоги, свои суждения и замечания, тем самым заготавливая материал для будущих художественных произведений [Кулешов 1983, 41].

Mimo iż stopień oficerski dawał pewne poczucie stabilizacji zarówno społecznej, jak i materialnej, prozaik, zniechęcony małomiasteczkową monotonią, ograniczonością miejscowej inteligencji, a przede wszystkim ignorancją i brutalnością kolegów z garnizonu, przechodzi latem 1894 roku w stan spoczynku i zaczyna prowadzić koczowniczy tryb życia. Początkowo udaje się do miejscowości Zwinogródka w guberni kijowskiej, gdzie mieszka jego szwagier, następnie w sierpniu tego samego roku wyjeżdża do Kijowa z nadzieją na znalezienie jakiegoś zajęcia, a wiosną kolejnego – do Moskwy, by już jesienią powrócić ponownie na południe Rosji. Kijów staje się teraz swoistą bazą wypadową, autor *Pojedyńku* często bywa bowiem w mniej lub bardziej oddalonych od niego miejscowościach: w Jekaterynosławiu (obecnie Dniepropietrowsk), Kamieńcu Podolskim, Nowoczerkasku, Odessie, Rostowie nad Donem czy Żytomierzu. W 1896 roku jako korespondent lokalnych gazet zwiedza Donieckie Zagłębie Węglowe, wizytuje między innymi huty metali należące do rosyjsko-belgijskiej spółki akcyjnej. Na Wołyń los rzuca go ponownie w 1897 roku. Tym razem Kuprin pełni funkcję zarządcy majątku w powiecie rówieńskim, co wpływa na bardziej życzliwe nastawienie, pozwalające spojrzeć na otaczający świat obiektywnie. W następnych latach pracuje jeszcze między innymi w prowincjonalnym teatrze w Sumach oraz w guberni riazańskiej jako mierniczy. Ostatecznie tułaczkie życie prozaika kończy się w 1901 roku, kiedy to autor *Jamy* osiada w Petersburgu i całkowicie poświęca się działalności twórczej [Кулешов 1983, 46–47; Берков 1956, 16–21]. Odnotujmy jednak, że inklinacja pisarza do wędrówek nie wygasa, w kolejnych latach często porzuca on bowiem stolicę, by odizolować się od świata w jakimś cichym i odległym zakątku.

Na przykrych i jednocześnie przygnębiających doświadczeniach nagromadzonych podczas bytności w wojsku zasadza się fabuła wielu utworów Kuprina. Co istotne, pisarz nieraz podkreślał w swoich wypowiedziach, że chętnie czerpał tematy literackie z własnego życia, dlatego też w licznych opowiadaniach odnajdujemy zarówno konkretne nazwy miejscowości, w których przebywał, jak i ich opisy doskonale oddające specyfikę zaścianka, bo tak też autor *Sulamitki* postrzegał początkowo południowo-zachodnie pogranicze Cesarstwa Rosyjskiego. W *Słowiańskiej duszy* (*Славянская душа*, 1894), *Przerażeniu* (*Ужас*, 1894), *Milionerze* (*Миллионер*, 1895), *Chorażym* (*Препорощик армейский*, 1897), *Przemarszu* (*Поход*, 1901), *Tchórze* (*Трус*, 1902) oraz *Żydówce* (*Жидовка*, 1904) występują między innymi realne nazwy krain geograficznych i historycznych (Podole, Wołyń), miasteczek (Krasilów, Husiatyn), wsi (Pohrebyszczce) i rzek (Zbrucz). Niemal w każdym z wymienionych utworów pojawia się pejoratywny obraz miejscowości i jej mieszkańców z nieodłącznymi słowami-kluczami: mały, brudny,

nudny. Za przykład ilustrujący powyższe słowa posłuży nam zawarta w opowiadaniu *Milioner* charakterystyka Krasilowa:

Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень грязном и очень скучном, населенном тысячами тремя евреев и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое «общество». В «общество» входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через «переходный пункт», местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником [Куприн 1970–73, 1, 339].

Nie lepiej prezentowali się nieokrzesani i ordynarni dowódcy stacjonujących w takich miasteczkach oddziałów. Ich haniebne, nie licujące z honorem i godnością oficera postępowanie oddziaływało deprawująco na społeczność lokalną. Głównymi rozrywkami wojskowych wyższego szczebla były bowiem pijaństwo, znęcanie się nad podkomendnymi, hazard i romanse. O tym, iż były to wówczas zjawiska powszechne, przekonuje swojego interlokutora bohater opowiadania *Z ulicy* (*С улицы*, 1904):

Была у меня в полку любовница, жена одного офицера. Знаете: глушь, скверный южный городишко, тоска, грязь – только и было у нас у всех развлечения: служба – солдат по мордасам щелкать, да водка, да еще карты, да еще эти самые романы. И так мы усердно романсовали, что все, как есть, приходились родственниками друг другу. И никто в этом не видел ничего особенного. Так все и знали: такой-то живет с такою-то, а ее мужа застали с такой-то, а с ней живет поручик Иванов, а раньше поручик Иванов жил... словом – маседуан [Куприн 1970–73, 3, 369].

W swojej nowelistyce Kuprin niejednokrotnie ukazuje negatywne skutki nieuniknionego na tych terenach zderzenia kultur. Prozaik obrazuje, z jaką łatwością rodzą się różnego rodzaju antagonizmy w przeludnionych wieloetnicznych i wielokonfesyjnych miasteczkach. Szczególnie dotkliwie zjawisko to dotyka w Rosji szyskanowanych od dziesięcioleci wyznawców Mojżesza. Źródeł antypatii, jaką budzą Żydzi, należy upatrywać zarówno w ich dużej koncentracji na ograniczonej przestrzeni, jak i swoistej hermetyczności oraz nieugiętym trwaniu przy własnych wartościach. Według pierwszego powszechnego spisu ludności z 1897 roku na terytorium Imperium Rosyjskiego zamieszkiwało ponad pięć milionów Izraelitów, z czego zdecydowana większość w strefie osiedlenia. Na styku stuleci fobie antyżydowskie znacznie nasilają się, gdyż władze wykorzystują silnie zakorzeniony w społecznej świadomości antysemityzm jako narzędzie manipulacji w celu odwrócenia uwagi obywateli od wewnętrznych problemów państwa [Barański 2005, 16–19; Bielniak 2008, 47–57].

O tym jak mocno utrwalona jest niechęć do wyznawców judaizmu możemy przekonać się czytając opowiadanie *Żydówka*, którego bohater, człowiek szanujący odmienność, nie ustrzegł się niezwerbalizowanego uchybienia wobec gospodarzy – karczmarza i jego żony. Gdy Chackiel przynosi zamówioną przez Kaszyncewa rybę faszzerowaną, ten z niepokojem zastanawia się, w jaki sposób została ona przygotowana. Jednak już po chwili szydzi z własnego lęku i z przyjemnością zjada nadzwyczaj smaczną i pikantną żydowską potrawę. Siła przyzwyczajenia daje również o sobie znać, gdy bohater zafascynowany urodą kobiety, która wyłoniła się zza perkalowej zasłonki, oddzielającej mieszkalną część izby, pyta gospodarza:

– Кто это? – шепотом спросил Кашинцев. – Вот эта...– он хотел по привычке сказать – жидовка, но запнулся,– эта женщина [Куприн 1970–73, 3, 343]?

Tu próba użycia etnofolizmu „жидовка” jest odruchowa, Kaszynczew zdaje sobie bowiem sprawę z popełnionego nietaktu i szybko naprawia błąd². Zgodnie jednak z duchem tamtych czasów wiele postaci używa nacechowanych pejoratywnie egzoetnonimów celowo. W omawianym utworze pijany miejscowy chłop wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że musi opuścić gospodę w następujący sposób:

– Жиды! – заревел вдруг мужик страшным голосом и изо всей силы треснул кулаком по столу. – Жиды, матери вашей черт! Убь-бью!.. [Куприн 1970–73, 3, 342].

Judofobia przejawia się także w zachowaniu Zawaliszyna z opowiadania *Odra* (*Корь*, 1904), który z dumą podkreśla przynależność do narodu panującego oraz głosi czarnosecinnie idee pełne pogardy i nienawiści do innych narodów:

Мы продаем нашу святую, великую, обожаемую родину всякой иностранной шусере. Кто орудует с нашей нефтью? Жиды, армяшки, американцы. У кого в руках уголь? руда? пароходы? электричество? У жидов, у бельгийцев, у немцев. Кому принадлежат сахарные заводы? Жидам, немцам и полякам. И главное, везде жид, жид, жид!.. Кто у нас доктор? Шмуль. Кто аптекарь? банкир? адвокат? Шмуль. Ах, да черт бы вас побрал! Вся русская литература танцует маюфес и не вылезает из миквы [Куприн 1970–73, 3, 322].

Można domniemywać, iż wytrwała innowiercza postawa Żydów, kwestionująca niejako kulturę i religię większości, wzbudzająca gniew oraz sprzyjająca eskalacjom nienawiści sztucznie wywoływanej przez władze, wynika z chęci chronienia przez ten rozproszony wówczas naród bez kraju symbolicznego obrazu ziemi ojców. Wprawdzie w sensie ideologicznym ojczyzna to nade wszystko państwo, niemniej jednak jest to również synteza rdzennych wartości kultury, do których w tym szczególnym wypadku zaliczyć należy wspólnotę religii oraz strukturę rodzinną [*Encyklopedia kultury polskiej XX wieku...* 1991, 53].

O sile więzów krwi i przywiązaniu do rodziny cechujących diasporę żydowską wzmiankuje prozaik w opowiadaniu *Gambrinus* (*Гамбринус*, 1906). Na marginesie innych rozważań pojawia się informacja, iż skrzypek z tytułowej odeskiej portowej knajpki co miesiąc posyła bliższym i dalszym krewnym mieszkającym w Homlu i Żmeryncze część zarobku. Swoje postępowanie Saszka kwituje lakonicznym stwierdzeniem: „Что ж мы, евреи, такой народ... мы любим родственников. А я сирота, я одинокий” [Куприн 1970–73, 4, 354].

W *Gambrinusie*, a także *Z ulicy, Krzywdzie* (*Обида*, 1906) oraz wielu innych utworach Kuprin zahacza o aktualny i bolesny problem aktów przemocy wobec ludności

² W języku rosyjskim neutralne zabarwienie ma słowo „еврей”, natomiast użyte tu określenie „жид” ma wyłącznie wydźwięk negatywny lub obraźliwy. Ludzie uprzedzeni do tej grupy etnicznej stosują go wymiennie z takimi zwrotami, jak hipokryta, handlarz-spekulant czy skąpiec. Na przełomie XIX i XX stulecia termin ten był synonimem wroga państwa i narodu rosyjskiego. Od 1917 roku słowo „жид” nie występuje w języku oficjalnym, jest natomiast obecne w mowie ustnej w typowym, deprecjonującym znaczeniu [*Idee w Rosji...* 2000, 3, 168; Ефремова 2000, 1, 439, 460, 621; 2, 583; *Толковый словарь русского языка конца XX века...* 1998, 229].

żydowskiej. Niekiedy pisarz sygnalizuje jedynie występowanie takich brutalnych zjawisk, innym razem wnikliwie analizuje i drobiazgowo opisuje pogromy, oprawców i ich ofiary. Niemniej jednak nie zapomina również o altruistycznym zachowaniu przedstawicieli innych nacji, którzy z narażeniem zdrowia, a nawet życia ratowali nieznanym wyznawców Mojżesza. W ostatnim z wymienionych opowiadań szlachetną postawą wykazali się przedstawiciele odeskiego półświatka:

Многие из нас во время этого погрома защищали избиваемых. Наш товарищ, носящий кличку Сысой Великий, – вы его только что видели, господа, – квартировал в это время у еврея-шмуклера на Молдаванке. И он отстоял своего хозяина с кочергой в руках против целой орды убийц. (...) Другой наш товарищ – Мартын Рудокоп – (...) он спас старую незнакомую еврейку, за которой гналась толпа этой рвани. Ему за это пробили голову железом, сломали в двух местах руку и перебили ребро. Он только что из больницы [Куприн 1970–73, 4, 301–302].

Obserwacje poczynione przez autora *Olesi* w strefie osiedlenia umożliwiają mu ukazanie całego przekroju zamieszkującego te tereny społeczeństwa żydowskiego wraz z dość wąskim wachlarzem wykonywanych przez nie profesji. Zawężony krąg zawodów, do których mieli dostęp Izraelici, był jedną z form represji stosowanych przez rząd. W rezultacie na kartach jego utworów spotykamy zarówno ludzi słabych duchem i ciałem, wyniszczonych biednym lub tułaczym życiem, jak i dobrze sytuowanych, wykształconych lub silnych i odważnych, uczciwych oraz przestępców, pozbawionych empatii oraz miłośnych. Najczęściej są to lichwiarze, szynkarze, aktorzy, muzycy oraz lekarze, niekiedy zdarzają się furmani, szmuklerze, a nawet przemytnicy. Galerię takich wielobarwnych postaci odnajdujemy w analizowanych tu już opowiadaniach *Gambrinus*, *Krzywda*, *Tchórz*, *Z ulicy* oraz *Żydówka*, a także *Nad rzeką* (*Ha peke*, 1896) i *Ku sławie* (*K славе*, 1894), jak również w mikropowieściach *Po ciemku* (*Вночьмах*, 1892) i *Moloch* (*Молох*, 1896).

Złożoność omawianego problemu oraz chęć obiektywnego przedstawienia ówczesnych realiów sprawia, iż Kuprin przenosi niekiedy akcję utworów poza granice Imperium Rosyjskiego, aby tam doprowadzić do konfrontacji odmiennych tradycji i systemów wartości. W mikropowieści *Choraży* mowa jest o grupie oficerów stacjonujących w Husiatynie, którzy postanowili udać się z wizytą do położonej po drugiej stronie rzeki Zbrucz austriackiej miejscowości o tej samej nazwie. Na tle mieszkańców Galicji wyraźniej rzuca się w oczy brak ogłady i zaściankowość rosyjskich wojskowych oraz towarzyszących im dam, którzy za miejscowego bogacza biorą zwykłego kelnera ze względu na jego maniery i reprezentacyjny wygląd. Prozaik podkreśla ponadto swoistą dwubiegunowość charakteryzującą nastawienie miejscowej ludności do przybyszy zza granicy. Przedstawiciele lokalnej administracji obserwują ich z ciekawością i łatwo zawierają znajomości. Natomiast galicyjscy Rusini i Żydzi jawnie demonstrowują swoją niechęć wobec Rosjan. Pierwsi używają w tym celu wymyślnych inwektyw w ojczystym języku gości, zaś w postawie i tonie drugich wyczuwa się coś na kształt groźby. Co ciekawe, zachowanie austriackich wyznawców Mojżesza różni się znacznie od postępowania ich rosyjskich braci w wierze, stłamszonych i żyjących w lęku przed kolejnymi prześladowaniami.

Mimo sprzyjających warunków (środowisko oficerskie), być może ze względu na swoje pochodzenie, Kuprin nie tylko nie ulega nacjonalistycznej demagogii, lecz

z coraz większym zainteresowaniem przygląda się temu, co obce i coraz częściej uwydatnia zalety etniczno-kulturowej różnorodności cechującej społeczności w regionach pogranicznych. W rezultacie z kart jego utworów stopniowo znikają nieprzychylnie i ponure opisy południowo-zachodnich miasteczek, a ich miejsce zajmują sielskie obrazki przedstawiające wymalowane na biało ukraińskie chatki, tonące w morzu bladoróżowych i czerwonych malw, gigantycznych słoneczników i łanów kukurydzy, których schłodzone wnętrza przesycone są aromatem wsuniętych za ikonę ziół: macierzanki, mięty, lubczyku lub bylicy. Takie wyidealizowane podejście do opisywanej rzeczywistości pojawia się między innymi w opowiadaniach *Nocleg* (*Ночлег*, 1895), *Przemarsz*, *Czarna mgła* (*Черный туман*, 1905) oraz *Obrazki z podróży* (*Путевые картинки*, 1900). Narrator ostatniego opowiadania z zachwytem komentuje widziane z okna pociągu krajobrazy:

Сначала прошли, точно в панораме, уютные и грациозные уголки благословенной Украины: мазаные, беленькие хатенки, окруженные плетнем и тонущие в зелени «садков», традиционная «криница» дорюриковской архитектуры и возле нее традиционная дивчина в запаске и плахте, с коромыслом на левом плече и с правой рукой, художественно упирающейся в бок (...) [Куприн 1970–73, 3, 86].

Kuprin, kreśląc małosyjskie landszafty, niejednokrotnie odwołuje się we wspomnianych utworach do symboli nierozzerwalnie związanych z tym terenem: sadu wiśniowego i stepu, które są stałymi motywami także w literaturze ukraińskiej i polskiej. Te rozległe, wspólne części przestrzenne zostały, jak konstatuje Jadwiga Sawicka, „wyodrębnione z całości pejzażu i stały się obszarami bogatymi semantycznie i aksjologicznie, silnie nacechowanymi emocjonalnie. Step był synonimem ciemnej urody tej ziemi, sad wiśniowy – pogodnej piękności, niosącej wartości estetycznie łagodne” [Sawicka 1999, 89].

Surowe piękno stepu wraz z całym wachlarzem doznań sensualnych odmalowuje prozaik także w opowiadaniu *We wnętrzu ziemi* (*В недрах земли*, 1899), w którym na zasadzie kontrastu zestawia naturalny żywioł z niszczącą siłą powstających w szybkim tempie ośrodków przemysłowych, zagarniających coraz większe połacie stepu. Na początku utworu Kuprin oczarowuje czytelników wspaniałością przyrody:

Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики [Куприн 1970–73, 2, 416].

Nieco dalej natomiast wprowadza nieharmonizujący z tym otoczeniem złowrogi pierwiastek, uosabiający industrialne oblicze Ukrainy:

Длинные красные закопченные сверху трубы изрыгают, не останавливаясь ни на секунду, клубы черного, грязного дыма. Еще издали слышен частый звон молотов, бьющих по железу, и протяжный грохот цепей, и эти тревожные металлические звуки принимают какой-то суровый, неумолимый характер среди тишины ясного, улыбающегося утра [Куприн 1970–73, 2, 417].

Niebywale szybki rozwój przemysłowy na przełomie XIX i XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu liczby pracowników najemnych na tych terenach, którzy przybywali tłumnie wraz z rodzinami z oddalonych guberni w poszukiwaniu zatrudnienia,

zwiększając tym samym ich etniczną różnorodność. W opowiadaniu *We wnętrzu ziemi* oraz mikropowieści *Moloch*, osnutych na wspomnieniach z podróży po Donbasie, prozaik zwraca uwagę na ciężką, nierzadko niebezpieczną i nisko płatną pracę robotników, towarzyszące im nieustannie głód i chłód, a także złe warunki mieszkaniowe i sanitarne, sprzyjające częstym epidemiom tyfusu. Mimo industrialnej ekspansji ówczesna Rosja nadal pozostaje jednak krajem o charakterze chłopskim, podstawą jej gospodarki jest bowiem rolnictwo, jednym zaś z głównych rejonów upraw i hodowli bydła – terytorium Ukrainy, co możemy zaobserwować między innymi w mikropowieści *Choraży*, a także w opowiadaniach *Nocleg* i *Obrazki z podróży*. W ostatnim utworze wiejskie widoki tchną wręcz bukoliczną atmosferą, jakże odmienną od zaprezentowanych poprzednio ponurych wizji z życia proletariatu:

Какой привольный, богатый и, по-видимому, сытый край эта Кубанская область! Смотришь в окно и не налюбуйешься. На жатных нивах сложены из снопов целые дворцы; на полях гуляет рослый, кормленный и холеный скот; земля, приготовленная под посевы, – черная, жирная, пряник, а не земля! – воскликнул бы в завистливом восторге наш рязанский или смоленский мужик, обиженный на этот счет матерью-природой; большие станицы, разбросанные широко по сочным лощинам, окружены виноградниками [Куприн 1970–73, 3, 90].

Występowanie wszelkiego rodzaju dysproporcji, typowe dla stref nadgranicznych, przyjmuje niekiedy w twórczości Kuprina postać drobiazgowej charakterystyki obiektów architektonicznych, które postrzegane są przez pisarza jako swoiste kulturowe emblematy przestrzeni, na której skrzyżowało się tak wiele wpływów. Dlatego też w utworach prozaika spotykać możemy opisy okopconych fabrycznych kominów, wielkich pieców, prowizorycznych robotniczych baraków, lepianek (w zależności od zamysłu utworu odmalowywanych bądź w sposób idylliczny, bądź odpychający), jak również brudnych i lichych żydowskich karczm oraz pełnych przepychu majątków ziemskich. Zajazd Chackiela z krzywymi oknami, odpadającym całymi płatami ze ścian wapnem i klepiskiem zamiast podłogi zdaje się być odzwierciedleniem miejsca bohatera w hierarchii społecznej, podobnie jak należący do właściciela cukrowni folwark w Olchowatce (*Choraży*), na który składają się piętrowy murowany dwór, oficyna, obora, ptaszarnia, stadnina koni, spichlerze i ciepłarnie oraz rozległy park poprzecinany strumykami, z grotami, wiszącymi mostami oraz jeziorem, po którym pływają łabędzie.

Autor *Pojedyńku*, uważnie obserwujący funkcjonowanie obok siebie obcych etnosów, dochodzi do wniosku, iż o pogranicznym charakterze danego obszaru stanowi również występowanie w obrębie jednej struktury urbanistycznej obiektów sakralnych i nekropolii różnych religii. Dlatego też całkowicie naturalnym elementem scenerii żydowskiego miasteczka ze strefy osiedlenia są miejsca kultu prawosławnego i katolickiego, o czym możemy przekonać się w opowiadaniu *Tchórz*:

Мелькнула в стороне стройная церковь с зеленой, тускло блестящей крышей, показалась вдали низкая кирпичная ограда католического кладбища, пробежали мимо жердяные изгороди выгона [Куприн 1970–73, 3, 232].

Koegzystowanie różnych wspólnot wyznaniowych lub obrządkowych sprawia, iż odmienne kultury niepostrzeżenie ubogacają się wzajemnie. Dzięki temu nabyte podczas wędrówek po Rosji doświadczenia pozwalają Kuprinowi przytoczyć w *Tchórze* słowa żydowskiej modlitwy: „Шма, Исроэль, Адонай элегейну, Адонай хот! Слушай, Израиль, бог наш, бог сильный!” [Куприн 1970–73, 3, 236], natomiast bohatera opowiadania *Bransoletka z granatów* (*Гранатовый браслет*, 1911) wyposażyć w świadomość silnie rozwiniętego w kościele katolickim kultu maryjnego. W rezultacie Żółtkow prosi Polkę, u której wynajmuje pokój, aby zawiesiła na obrazie Matki Bożej tytułową bransoletkę, mającą dla niego dużą wartość sentymentalną.

Zasygnalizowane tu zjawisko samoistnego przenikania się różnych kultur wynika z faktu, iż żadna nowoczesna kultura narodowa nie jest samowystarczalna, ponieważ zarówno nie rozwija się wyłącznie endogennie, korzystając jedynie z własnych źródeł, jak i jej członkowie zapożyczają rozmaite „treści spoza jej obrębu, mniej lub bardziej świadomi, że mają do czynienia z kulturą cudzą, choć w pewnym sensie nie całkiem im obcą” [Encyklopedia kultury polskiej XX wieku... 1991, 55]. Należy więc zgodzić się trafnym i jakże plastycznym stwierdzeniem Raoula Narolla, iż „kultura nie ma skóry”. Mówiąc to, amerykański antropolog kultury miał na myśli, iż pomiędzy kulturami narodowymi lub etnicznymi obcujących ze sobą ludów i narodów zachodzą nieustające procesy dyfuzji i osmozy [Encyklopedia kultury polskiej XX wieku... 1991, 56].

Kuprina interesują różne aspekty dyfuzji kulturowej: wspomniany już religijny, a także lingwistyczny, kulinarny i obyczajowy. Język, którym posługują się jego bohaterowie, jest o tyle istotny, że zawiera w sobie określony obraz świata, uwarunkowany przez przynależność do danej grypy etnicznej. Jednak stały kontakt z innymi nacjami powoduje, że stosunkowo łatwo przyswajają oni obcą leksykę i często bezwiednie wykorzystują w wypowiedziach. Choraży z opowiadania pod tym samym tytułem w swojej opowieści o wyjściu do austriackiego Husiatyna posiłkuje się słowami używanymi przez mieszkańców tamtych terenów: „пан комисарж”, „пан подкомисарж”, „пан довудца”, „Зараз, панове!”, „складковъый бал” itd. Oprócz polskich akcentów w utworach Kuprina często pojawiają się żydowskie i ukraińskie. W *Tchórze* prozaik zarówno wtrąca oddzielne słowa („шáбаш”, „шмуклер”, „балагула”), których znaczenie nierzadko sam objaśnia w przypisach, jak i charakteryzuje specyficzny sposób mówienia Izraelitów oraz opisuje, jak w odbiorze innych nacji (zwłaszcza dominującej) brzmi jidysz:

Жаргонный говор, то стремительный и раскатистый в середине фраз, то завывающий на окончаниях, несся отовсюду, сопровождаемый яркой мимикой и оживленными, преувеличенными жестами. Со стороны можно было подумать, что в погребке разгорелась общая ссора и что все посетители говорят одновременно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. Но этот гвалт был в заведении Айзика самым обычным явлением [Куприн 1970–73, 3, 219].

Wielobarwność lokalnego kolorytu przedstawia prozaik również poprzez wprowadzanie ukraińskiej leksyki między innymi funkcjonujących na tych terenach antroponimów. Często możemy spotkać w jego utworach nazwiska z charakterystycznym patronimicznym sufiksem – *enko* (Дехтяренко, Лядушенко, Харитоненко) oraz szereg

innych [Унбегаун 1989, 201–226], co podkreśla narrator opowiadania *Czarna mgła*: „Я был польщен и делал вид, что не забыл ни одно из этих диковинных имен, всех этих Гузиков, Палабух, Лядушенко, Чернышей и прочих добрых знакомых” [Куприн 1970–73, 3, 398].

Przedstawiciele różnych grup etnicznych władają wprawdzie obcym etnolektem, nierzadko jednak kaleczą cudzy język. Tyłowa bohaterka *Żydówki* mówi „łamanym” językiem ukraińskim, Polka z *Bransoletki z granatów* popełnia błędy akcentuacyjne w języku rosyjskim, zaś Boris z *Czarnej mgły* ma niekiedy trudności z prawidłową wymową, na co zwraca uwagę jego przyjaciel Rosjanin: „Увы, я должен сознаться, что он выговаривал «грах-вы», с мягким «г» с ударением на последнем слогѣ” [Куприн 1970–73, 3, 399]. W utworze tym została także zasygnalizowana silna w owym czasie tendencja do rusyfikacji, której rezultatem była dyskryminacja innych języków narodowych. Fakt, iż językiem uprzywilejowanym był wówczas język rosyjski, a języki białoruski i ukraiński traktowane były jako jego dialekty, znajduje odzwierciedlenie w stwierdzeniu narratora, że Boris posługuje się „хохлацким говором”.

Jednym z przykładów dyfuzji kulturowej jest także pełna osobliwości i bogactwa sztuka kulinarna pogranicza, na którą składają się potrawy tradycyjne dla zamieszkujących te tereny nacji. Stąd w utworach Kuprina napotykaemy zarówno nazwy poszczególnych dań, jak i próbę wiernego oddania ich egzotycznego nieraz smaku czy gotowy przepis na ich przygotowanie. Spośród żydowskich specjalów prozaik wspomina między innymi faszzerowanego szczupaka polanego ciemnym sosem, pejsachówkę i struclę (*Żydówka*), z polskich zaś – flaki (*Z ulicy*) oraz bigos (*Rzeka życia; Пека жизни*, 1906).

Na terenach wielonarodowościowych istotną rolę odgrywa bez wątpienia strój, poprzez który grupy etniczne wyrażają swoją tożsamość. Do tradycyjnych ukraińskich elementów odzieży wielokrotnie wymienianych przez prozaika należą soroczki (noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety), męskie szarawary i czoboty oraz damskie płachty i zapaski (*Choraży, Obrazki z podróży, Nocleg*). Kuprinowscy Żydzi odziani są bądź w wysokie kaszkiety i dziane kamizelki (*Żydówka*), bądź w charakterystyczne sztrajmele (futrzane czapy) i chałaty (*Choraży, Tchórz*)³. Jednocześnie jednak ubiór jest tym elementem, który łatwo ulega zapożyczeniom lub adaptacjom, o czym świadczy nieco kuriozalna garderoba jednego z bohaterów opowiadania *Krzywda*, który: „[...] носил на себе франтовской фракный жилет, из-за круглого выреза которого пестрела грязная малорусская рубаха” [Куприн 1970–73, 4, 290].

Południowo-zachodnie kresy w utworach autora *Jamy* to także przestrzeń muzyczna wypełniona niepowtarzalnym folklorem śpiewanym i tanecznym. Nostalgiczne kozackie pieśni ludowe, dźwięki hopaka (*Czarna mgła*) oraz rzewne brzmienia muzyki żydowskiej (*Gambrinus, Ku sławie*) są zazwyczaj akceptowane przez osoby spoza danej społeczności, co stanowi świadectwo swoistego dialogu i wymiany między kulturami. Podobną funkcję, zwłaszcza w przypadku dzieci, pełnią lokalne legendy oraz obrzędy ludowe, które rozbudzają ciekawość i kształtują pozytywne nastawienie wobec innych. Młodzi bohaterowie są bowiem z natury bardziej chłonni wiedzy i otwarci na obcy świat. Dlatego

³ Zob.: <http://www.jhi.pl/psj/sztrajmel>; <http://www.jhi.pl/psj/chalat> [data dostępu: 08.06.2014].

też dziesięcioletni chłopiec z opowiadania *Nad rzeką* jak urzeczony słucha opowieści o przygodach miejscowego Kozaka, należącego do szajki Jemieliana Pugaczowa, na cześć którego jakoby nazwana została rzeka Buławin, natomiast dziesięcioletni Dania z utworu *Biedny książę* (*Бедный принц*, 1909), zafascynowany nieznanym mu południowym zwyczajem, przyłącza się do grupki biednych ukraińskich kołędników:

От няньки он слышал о местном древнем южном обычае: под рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам – знакомым и незнакомым, – поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету [Куприн 1970–73, 5, 167].

Reasumując, można pokusić się o stwierdzenie, iż wizja pogranicza w opowiadaniach Kuprina ewoluowała. Początkowo, zdominowana przez pierwsze złe wrażenia, funkcjonowała w świadomości pisarza jako zacofane i prowincjonalne obrzeża Imperium Rosyjskiego. Z czasem nabrała nowego znaczenia, a pogranicze stało się synonimem intrygującego i niezwykle inspirującego twórczo obszaru etnokulturowego, na którym przenikają się i uzupełniają nie tylko omówione tu wpływy rosyjskie, ukraińskie, polskie i żydowskie, lecz również, o czym nie należy zapominać, białoruskie, cygańskie, karaïmskie, ormiańskie, niemieckie czy tatarskie.

Bibliografia

- Barański Z., 2005, *Wątki żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina*, Midrasz, nr 5 (97), 16–19.
- Bielniak N., 2008, *Motyw żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina // Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi*, red. Ksenicz A., Stasińska P., Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 47–57.
- Cieślík K., Smaga J., 1991, *Kultura Rosji przelomu stuleci (XIX–XX)*, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
- Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze*, 1991, red. Kłosowska A., Wrocław: „Wiedza o Kulturze”.
- Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski*, 2000, red. de Lazari A., t. 3, Łódź: „Ibidem”.
- Kołbuk W., 2010, *Rosyjskie piśmiennictwo przelomu XIX i XX wieku w obronie prawosławia na ziemiach nadbużańskich // Literatry i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu*, red. Ksenicz A., Łuczyk M., Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 235–242.
- Sawicka J., 1999, *Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej*, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
- Берков П.Н., 1956, *А.И. Куприн. Критико-биографический очерк*, Москва-Ленинград: Издательство АН СССР.
- Ефремова Т.Ф., 2000, *Новый словарь русского языка толково-образовательный (в двух томах)*, Москва: «Русский язык».
- Кулешов Ф.И., 1983, *Творческий путь А.И. Куприна (1883–1907)*, Минск: Издательство БГУ.
- Куприн А.И., 1970–1973, *Собрание сочинений в девяти томах*, Москва: Издательство «Художественная Литература».
- Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения*, 1998, ред. Складаревская Г.Н., Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.
- Унбегаун Б.О., 1989, *Русские фамилии*, перевод с английского, общая редакция Б.А. Успенского, Москва: «Прогресс».

Summary

LIFE IN THE BORDERLANDS IN ALEKSANDR KUPRIN'S STORIES

Having the opportunity to get acquainted with environmental and ethnographic realities of the western and southern borderlands of the Russian Empire, Aleksandr Kuprin presents, in his numerous stories, the uniqueness of these regions where different influences, i.e., Ukrainian, Jewish and Russian overlapped. He focuses on the artefacts of local material and spiritual cultures as well as the mentality, morality, topography, fauna and flora of the region. The writer repeatedly shows the negative results of culture clashes inevitable in these provinces. One of them can be the ease with which different antagonisms are created in the overcrowded, multiethnic and multireligious towns (Anti-Semitism) or the existence of various kinds of disproportions, i.e., socio-economical ones. With time Kuprin emphasizes the virtues of ethnic and cultural diversities of the community inhabiting the borderlands. The coexistence of disparate traditions and value systems favours mutual enrichment and that is why the writer thoroughly analyzes several aspects of cultural diffusion such as religious, linguistic, culinary, moral and urban ones.

Iwona Anna NDiaye

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

„SZLISSELBURSKA ODYSEJA” ...
DZIAŁALNOŚĆ ANTYPANSTWOWA I TWÓRCZOŚĆ
LITERACKA LEGENDARNEJ REWOLUCJONISTKI
WIERY FIGNER

Key words: Vera Figner, populism, revolutionary poetry, prose memoir, literary diary

Są natury, które nie gną się, można je jedynie złamać,
złamać śmiertelnie, ale nie nakłonić ku ziemi.
Do nich należała Wiera Nikołajewna...

Siergiej Iwanow¹

Od początku lat sześćdziesiątych XIX wieku w Rosji nasiliły się ruchy demokratyczne, w których coraz większą rolę zaczęły odgrywać kobiety, działające w kółkach rewolucyjnych, stowarzyszeniach socjalistycznych, biorące udział w zamieszkach studenckich i protestach. Inteligentki, podobnie jak młodzi rewolucjoniści, zaczytywały się w książkach Michaiła Lermontowa (1814–1841), Nikołaja Niekrasowa (1821–1878), Nikołaja Czernyszewskiego (1828–1889), Nikołaja Dobrolubowa (1836–1861) i innych postępowych pisarzy rosyjskich. Rewolucjonistki odrzucały stereotypowe postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie, zgodnie z którym ich przeznaczeniem miał być dom i wychowanie dzieci, a udział w działalności społecznej sprowadzać się do sfery charytatywnej. Epoka „rzeczywistego narodnictwa” w niespotykanym dotąd wymiarze aktywizowała rolę kobiety w ruchu społecznym i działalności politycznej. Nazwiska dwóch z nich stały się głośnie nie tylko w Rosji: Sofii Pierowskiej (1853–1881), pierwszej kobiety skazanej przez cara Aleksandra III w 1881 roku w procesie politycznym i Wiery Zasulicz

¹ Podaję w tłumaczeniu własnym na podstawie źródła: *Фигнер Вера Николаевна: биографическая справка, // Биографический указатель*, http://az.lib.ru/f/figner_w_n/text_0010.shtml [19.06.2014].

(1849–1919), której strzał do naczelnika miasta Petersburga, Fiodora Triepowa, stał się sygnałem do nowego zrywu narodnickiego.

Do rewolucjonistek, podążających za przykładem marksistki Wiery Zasulicz, należała także Wiera Figner (1852–1943), którą pociągało to, co „heroiczne, wzywające do walki i ofiar w imię wielkiej sprawy wolności” [Кони 1966, 132]². Któż mógł przypuszczać, że ta uroczą i dobrze urodzona panna wyrośnie na przywódczynię najbardziej znanej organizacji terrorystycznej w historii XIX-wiecznej Rosji... A jednak po rozpadzie organizacji Ziemia i Wolność³ to właśnie Figner weszła w skład komitetu wykonawczego organizacji Wola Ludu⁴, która dążyła do obalenia caratu i władzy. Jej przywódcy doceniali znaczenie walki politycznej dla zdobycia swobód demokratycznych, cel ten jednak realizowali za pomocą spisków i terroru indywidualnego (m.in. wielokrotne próby zamachu na cara Aleksandra II).

W ramach nowej organizacji Figner prowadziła agitację wśród robotników, studentów i wojskowych w Petersburgu i Kronsztadzie. Wierę uczyniono kimś w rodzaju sekretarza prasowego, do jej obowiązków należało przekazywanie za granicę fotografii skazanych, szczegółów zamachów, informacji o bezprawnych działaniach administracji więziennej. Figner uczestniczyła także w przygotowaniach do zamachów na Aleksandra II w Odessie (1880) i w Petersburgu (1881). Miała przewieźć dynamit, pomogła też w zatrudnieniu narodowolca Frolenki jako stróża na przejeździe kolejowym. W dniu poprzedzającym zamach Wiera Figner przez piętnaście godzin przygotowywała ładunki, jeden z nich okazał się śmiertelny.

Paradoksalnie apogeum działalności organizacji, która doprowadziła do śmierci Aleksandra II, stało się początkiem końca organizacji. Marcowy zamach okazał się ciosem dla samowładztwa, ale pojedynczy akt terrorystyczny nie został wsparty przez masowy ruch narodowy. W decydującym momencie narodowolcy okazali się „dowód-

² Obszernemu omówieniu życia i działalności Wiery Figner poświęcam rozdział w monografii *Kobiety i polityka w Rosji*, wydanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie w ramach serii „Muzy Rosyjskiej Historii” [NDiaye 2014, 163–198].

³ Ziemia i Wolność (Земля и Воля) – rewolucyjna organizacja konspiracyjna wywodząca się z ruchu tzw. narodników, działająca w Rosji w latach 1861–1864 oraz 1876–1879. Powstała z inicjatywy Aleksandra Hercena i Nikolaja Czernyszewskiego. Jej celem było wprowadzenie socjalizmu poprzez chłopską rewolucję. Dotychczasowa liczebność (3 tys.) uległa radykalnemu zmniejszeniu latem 1862 roku, po aresztowaniu wielu członków, w tym lidera Czernyszewskiego. Ponadto zniesienie prawa pańszczyźnianego przez cara zniweczyło plany wywołania powstania chłopskiego. W efekcie z organizacji wystąpili członkowie o bardziej umiarkowanych poglądach, wierzący w powodzenie reform carskich. Organizacja została reaktywowana w 1876 roku przez Aleksandra Michałowa, Gieorgija Plechanowa i Dmitrija Lizogrubę. Miała konspiracyjny charakter i liczyła ok. 200 członków. Za główne cele uznano: przekazanie całej ziemi w ręce chłopstwa, wprowadzenie wolności wyznania oraz przyznanie prawa narodom do samookreślenia się. Cele te miały być realizowane przy pomocy propagandy i agitacji wśród chłopów. Dopuszczano przeprowadzanie akcji terrorystycznych skierowanych przeciwko urzędnikom carskim.

⁴ Wola Ludu (Народная воля) – organizacja rewolucjonistów rosyjskich, powstała koło Lipiecka we wrześniu 1879 roku w wyniku rozłamu organizacji Ziemia i Wola. Najważniejsi przywódcy: Andriej Żelabow, Aleksandr Michajłow. Do organizacji należał także Polak Ignacy Hryniewiecki, który dokonał udanego zamachu na cara Aleksandra II. W języku rosyjskim słowo „воля” oznacza zarówno wolę, jak i całkowitą wolność, dlatego niektórzy tłumaczą nazwę organizacji także jako Wolność Ludu. Jednak Richard Pipes podkreśla, że „współczesne świadectwa dowodzą, że nazwa organizacji miała wyrażać ideę woli ludu” [Pipes 2011, 142].

cami bez armii” i ponieśli klęskę. W tym czasie prawie wszyscy członkowie nielegalnej organizacji byli poszukiwani przez policję i większość z nich trafiła do więzień. Ich los podzieliła również Wiera Figner, aresztowana w wyniku donosu członka organizacji, sztabkapitana Siergieja Diegajewa (vel Pell Aleksander). Wraz z jej aresztowaniem zakończyła się burzliwa historia organizacji Wola Ludu.

Po dwóch latach śledztwa, 10 lutego 1883 roku, Wiera Figner została osadzona w więzieniu. Petersburski Wojskowy Sąd Okręgowy skazał ją na śmierć. Po dziewięciu dniach oczekiwania na egzekucję została poinformowana o zmianie decyzji: karę śmierci zamieniono na dożywotnią katorgę. Przed wydaniem wyroku spędziła dwadzieścia miesięcy w pojedynczej celi w Twierdzy Pietropawłowskiej, kolejne dwadzieścia lat przebywała w Szliselburgu, zwanym „rosyjską Bastylią”.

Warunki panujące w twierdzy były bardzo ciężkie: pojedyncze cele, stała obserwacja, zakaz rozmów, jakichkolwiek kontaktów. Korespondencja była dozwolona dopiero od 1896 roku, zatem po ponad trzynastu latach od aresztowania, i miała bardzo ograniczony charakter. Można było pisać tylko dwa razy w roku, a treść listów była ściśle kontrolowana. Przekazywanie informacji na temat warunków i życia w więzieniu było zakazane, czyli więźniowie praktycznie nie mogli pisać o sobie. Takiej formy izolacji wielu nie wytrzymało fizycznie i psychicznie. Michaił Noworusski (1861–1925), skazany w procesie w sprawie Aleksandra Uljanowa (1866–1887) w 1887 roku, podliczył ofiary w okresie od sierpnia 1884 roku do stycznia 1906 roku: skazano trzynaście osób, zmarło piętnaście, samobójstwo w więzieniu popełniły trzy, zaś po wyjściu na wolność – cztery, psychicznie załamało się pięć, wkrótce po wyjściu z więzienia zmarły dwie. Łącznie czterdzieści dwie osoby. Z więzienia wyszły dwadzieścia cztery osoby, z których dziewiętnaście przesiedziało w twierdzy dziesięć lat i więcej. Okres izolacji wyniósł w sumie czterysta siedemdziesiąt siedem lat! [Новорусский 1920, 12].

Wiera Figner jako kobieta nie miała żadnych przywilejów: przy transporcie zakładano jej ciężkie kajdany, chodziła w aresztanckim sukienkowym stroju z żółtym znakiem karo na plecach. Poddawana była stałej obserwacji przez wizjer, przeszukiwaniom, karana karcerem. „Byliśmy pozbawieni wszystkiego, ojczyzny, człowieczeństwa, przyjaciół, towarzyszy i rodziny; odarci ze wszystkiego co żywe i wszystkich żyjących” – wspominała po latach [Фигнер 1964]. Figner miała swoją taktykę: przez wiele lat dobrowolnie rezygnowała z kontaktów z rodziną. Podjęła taką decyzję, aby łatwiej jej było znieść dożywotnie zamknięcie.

Pomagała również literatura i własna twórczość... W twierdzy obowiązywał zakaz posiadania utworów literackich i brak było możliwości zapisu własnych utworów, podstawową formą wyrazu stała się więc poezja, krótkie utwory, które można było łatwo zapamiętać. A zatem rolę swoistego dziennika poetyckiego pełniła jej pamięć. Dopiero, gdy reżim więzienny nieco osłabł, Figner mogła zapisywać swoje utwory. Ze wspomnień współwięźniów wiemy, że napisała kilka bajek i poetyckie wspomnienia o młodości. Zajmowała się także przekładem, przetłumaczyła między innymi powieść Josepha Kiplinga (1865–1936) *Kim* (1901). Niestety większość rękopisów uległa zniszczeniu [Кони 1966].

W 1904 roku, dzień przed wyjściem na wolność, Figner sama zniszczyła wszystko, co napisała. Jednak już w 1906 roku zaczęła publikować swoje wiersze. W Rosyjskim Państwowym Archiwum Literatury i Sztuki⁵ przechowywane są odpisy tych wierszy, spisane z pamięci. To niewielki stuczterostronicowy notes, zawierający czterdzieści dziewięć utworów poetyckich, zatytułowany *Zeszyt wierszy napisanych przez więźniów Twierdzy Szlisselburskiej i należący do WF (Тетрадь стихотворений, написанных узниками Шлиссельбургской крепости и принадлежащая ВФ)*. Niektóre z nich włączyła do drugiej części swoich wspomnień, opublikowanych w 1922 roku. Wśród nich wiersz skierowany do współwięźnia Germana Łopatina:

Лопатину

Нам выпало счастье – все лучшие силы
В борьбе за свободу всецело отдать...
Теперь же готовы мы вплоть до могилы
За дело народа терпеть и страдать!..
Терпеть без укоров, страдать без проклятий,
Спокойно и скромно в тиши угасать,
Но тихим страданьем своим – юных братии
На бой за свободу и равенство звать!

12 октября 1887 [Фигнер 1968]

Były to pierwsze strofy, które Figner napisała w celi więziennej. Były odpowiedzią na wiersz Germana Łopatina (1845–1918)⁶, o którym dowiedziała się za pomocą specjalnego systemu kodów dźwiękowych, który opracowali więźniowie, aby utrzymywać między sobą kontakt i przekazywać ważne informacje. Podstawę tego kodu stanowiła tabela o pięciu rzędach i sześciu kolumnach, zawierająca litery rosyjskiego alfabetu⁷. Dzięki niemu wysiłki władz więziennych, aby odizolować od siebie więźniów politycznych okazały się bezowocne [Pipes 2011, 158].

(...) Да будет проклят день, когда
На муку мать меня родила
И в глупой нежности тогда
Меня тотчас же не убила⁸

⁵ Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве.

⁶ German Łopatin – rosyjski działacz polityczny, rewolucjonista, członek Rady Głównej I Międzynarodówki, pierwszy tłumacz *Kapitału* Karola Marksa. Pomimo uzyskania stopnia doktora zrezygnował z kariery naukowej i urzędniczej. Wielokrotnie przebywał w więzieniu i na zesłaniu za działalność rewolucyjną, rozpowszechnianie nielegalnej literatury oraz idei socjalizmu, pomoc w ucieczce innym rewolucjonistom oraz jako podejrzany za udział w zamachu na cara Aleksandra II. W słynnym „procesie 21” („sprawa łopatinska”) w 1887 roku został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnią katorgę, którą odbył w Twierdzy Szlisselburskiej. Po osiemnastu latach zwolniony, na mocy amnestii 1905 roku. Na wolności ze względu na stan zdrowia zrezygnował z działalności rewolucyjnej na rzecz twórczości literackiej. Jego talent cieszył się uznaniem m.in. Iwana Turgieniewa, Lwa Tołstoja, Michaiła Gorkiego.

⁷ Tej formie więziennej komunikacji Wiera Figner poświęciła wiersz *Тук-Тук* z 13 grudnia 1887 roku: „(...) Кинь же ты книжку на время -/ Выйди из храма наук!/ Сбрось отвлеченностей бремя/ И отзовись на мой стук.../ Тук-тук!” [Фигнер 1968].

⁸ Druga strofa wiersza Germana Łopatina „Да будет проклят день, когда...”.

Gdy do Figner dotarły powyższe słowa, była tak poruszona zawartą w nich rezygnacją i pesymizmem, że postanowiła również odpowiedzieć formą poetycką, aby podtrzymać na duchu swojego współtowarzysza. Pierwsza próba literacka spotkała się z życzliwą oceną przyszłego literata, tłumacza i publicysty i zachęciła ją do dalszej twórczości. Antidotum na trudną więzienną rzeczywistość były przede wszystkim wspomnienia. Dlatego w swoich wierszach Wiera Figner bardzo często odtwarzała chwile dawnego życia na wolności, („*Прощальный взгляд сестры любимой...*”, „*В надежде увидаться снова...*”), albo symboliczne obrazy, jak na przykład bukiet róż, które jej siostra trzymała w dłoniach na ostatniej rozprawie sądowej. Zgodnie z obowiązującym zakazem Figner nie mogła otrzymać żadnych kwiatów, więc ich obraz wielokrotnie przywoływała w pamięci, aby choć w ten sposób „rozświetlić mrok więziennej celi”:

Розы

В тюрьме Шлиссельбургской, в казарме глухой
Среди дисциплины и будничной прозы,
Я всё вспоминаю те чудные розы,
Что ты принесла в дни суда надо мной.

Прекрасны и свежи те были цветы –
От чистого сердца дарила их ты...
И нежно, казалось, шептали они
О воле, о счастье в те скорбные дни...

Скажи ж, почему иногда так тосклива
Мне память об этих прелестных цветах?
Должно быть, была я глубоко счастлива,
Читая любовь в твоих милых глазах!
Теперь же не вижу я ласки твоей...
И чувством тяжелым сжимается грудь,
Когда, отвернувшись от стражи моей,
Я слезы о розах спешу отряхнуть!

Ко всё ж хорошо, что ты их подарила,
Что есть здесь порою о чем помечтать...
Последние в жизни ты розы вручила –
Да будет за то над тобой благодать!

1 января 1888 [Фигнер 1968]

Poezja Wiery Figner to swoisty „dziennik więzienny”, w którym rejestruje samotną i trudną codzienność („*Уж двадцать месяцев в тюрьме...*”, „*Когда в неудачах смолкает борьба...*”). Przede wszystkim jednak stanowi zapis bólu rozstania z najbliższymi, tęsknoty za szczęśliwym dzieciństwem, pamięci o rodzinnym domu (*Сестре, Старый дом, Весна*). Do najbardziej popularnych w środowisku rewolucjonistów należał wiersz poświęcony matce Wiery – Jekatierinie Figner (1832–1903), który przekazano poza mury przez więźnia przewożonego z twierdzy:

Матери

Если, товарищ, на волю ты выйдешь,
 Всех, кого любишь, увидишь, обнимешь,
 То не забудь мою мать!
 Ради всего, что есть в жизни святого,
 Чистого, нежного, нам дорогого,
 Дай обо мне ты ей знать!
 Ты ей скажи, что жива я, здорова,
 Что не ищу я удела иного –
 Всем идеалам верна...
 Было мне трудно здесь первое время:
 Страшно разлуки тяжелое бремя...
 Думала – сломит она.
 Но не сломила... Теперь не бледнею,
 Что уж надежды в душе не имею
 Мать дорогую обнять!..
 Мать не прошу я любить: сердце чувствует,
 Что и без просьб она любит, горюет,
 Образ мой в сердце хранит.
 Но пусть не плачет, меня вспоминая:
 Я весела... я бодра... Пусть родная
 Горем себя не томит!
 Пусть лишь в молитвах меня поминает,
 Пусть лишь крестом издали осеняет –
 Дочь трудный путь да свершит!..

16 января 1888 [Фигнер 1968]

Jednocześnie Wiera Figner w swoich wierszach, podobnie jak w realnym życiu swoją postawą starała się podtrzymać innych na duchu, przypomnieć o ideach rewolucyjnych i wesprzeć ich w chwilach załamania (*Соседу, Колыбельная песнь, „День-деньской за работой сидишь...”*). Najchętniej bezpośrednio zwracała się do adresata swoich słów. W takim przypadku wiersze przybierały formę listu, rozmowy, jak na przykład wiersz skierowany do narodowolca Wasilija Pankratowa (1864–1925), który spędził w Szlisselburgu czternaście lat (por. *Морозову, Ашенбреннеру, Похитонову, Т.Л. Манучарову, Яновичу*). Figner utrwaliła pamięć o wielu swoich współtowarzyszach, a zwłaszcza tych, którzy odeszli (*Памяти Баранникова, Л.А. Волкеништей...*).

Autobiograficzne wiersze Wiera Figner wykorzystywała także w publikacjach o charakterze publicystycznym, jak np. w broszurze *Росыжские więзienia (Русские тюрьмы)*, wydanej po raz pierwszy w Lozannie w 1911 roku. Broszura była wielokrotnie wydawana, również w tłumaczeniu na inne języki.

Piękną kartę jej niezłomnej i niezwykłej odwagi rejestrują wspomnienia wydane już na wolności. Po udostępnieniu jej akt ze sprawy sądowej, prowadzonej w 1883 roku, Figner zgromadziła materiał, który włączyła następnie do swoich wspomnień. *Więźniowie Szlisselburga (Узники Шлиссельбурга)* to pierwsza książka jej autorstwa, opublikowana w Moskwie w 1921 roku. Po jej wydaniu, na przełomie 1921 i 1922 roku pojawił się pierwszy tom niezwykłej autobiografii *Trwały ślad (Запечатленный*

труд)⁹, poświęcony historii rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. *Kiedy zegar życia stanął* (*Когда часы жизни остановились*) – tak po latach Wiera Nikołajewa nazwała drugą część wspomnień o pobycie w więzieniu, która kończyła się opisem wyjścia na wolność we wrześniu 1904 roku. Trzecia część – *Po Szlisselburgu* (*После Шлиссельбурга*), wydana w 1924 roku – obejmowała lata 1904–1917. Figner opowiada w nich o ciężkich przeżyciach i trudnych poszukiwaniach swojego miejsca w nowej porewolucyjnej rzeczywistości.

Wspomnienia Wiery Figner stanowią niezastąpione źródło historyczne i wpisują się w bogate tradycje literatury pamiętnikarskiej obok dokonań całej plejady rewolucjonistów-narodników. Przed nią o twierdzy szlisselburskiej pisali także inni współtowarzysze niedoli (L. Wolkensztejn, M. Aszenbrenner, O. Aptekman, M. Noworuszkij, M. Frolenko, N. Morozow i inni). Wśród różnorodnych pod względem treści i formy zapisów odnaleźć można i takie, które stanowią unikatowy materiał autobiograficzny charakterystyczny dla swoich czasów, stając się przysłowiowym zwierciadłem epoki. Dla okresu obejmującego lata trzydzieste po sześćdziesiąte XIX wieku taką książką były *Rzeczy minionie i rozmyślenia* (*Былое и думы*) Aleksandra Hercena, dla lat siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych – właśnie *Utrwalona praca* Wiery Figner.

Figner zdołała wyraziście i z talentem utrwalić ważny okres w historii rosyjskiej walki rewolucyjnej. Pierwszą część książki poświęciła rodzinie, dzieciństwu, nauce, kształtowaniu charakteru i światopoglądu, początkom swego udziału w ruchu rewolucyjnym. W centrum wspomnień pozostają wydarzenia odnoszące się do lat 1876–1883, a zatem okresu największej aktywności Figner, które w efekcie doprowadziły do jej aresztowania. Figner szczegółowo opowiada o tym, jak w strukturach Ziemi i Wolności dojrzewał nowy kierunek, jak bolesnym było przejście do etapu walki politycznej z samowładztwem, której głównymi narzędziami stał się rewolwer, sztylet i dynamit.

Rozdziały poświęcone Woli Ludu stanowią bogaty materiał do badań nad historią organizacji, stanowiąc wyjątkowe i ciekawe źródło poznania teoretycznych podstaw poglądów narodowolców. Figner utrwaliła sylwetki dawnych współtowarzyszy (Andrieja Żelabowa, Sofii Pierowskiej, Aleksandra Michajłowa, Nikołaja Morozowa i innych). Przede wszystkim jednak odkrywała psychologię więźnia zamkniętego na wiele lat w celi. Pokazywała jak rewolucjoniści przeciwstawiali powolnej kaźni swoją niezłomną wolę.

Wiera Nikołajewna pisała tak, jak mówiła, z głębokim przekonaniem, prawdziwie, prosto, lakonicznie. Pełna dramatyzmu treść, narracja ożywiająca obrazy z przeszłości i ludzi, którzy już dawno odeszli, wysoka moralność autorki – to wszystko zdecydowało o tym, że jej wspomnienia zajęły ważne miejsce wśród najznakomitszych utworów historycznoliterackich tego okresu. Wydanie wspomnień byłej więźniarki spotkało się z żywą reakcją czytelników. Figner otrzymywała setki listów, w tym także od byłych więźniów, którzy byli poruszeni psychologizmem i prawdziwością jej autobiograficznej prozy. Pozytywnie o jej pisarstwie wypowiadał się sam noblista Iwan Bunin (1870–1953)

⁹ Wydanie polskie ukazało się w 1962 roku w przekładzie J. Mincowej nakładem wydawnictwa Książka i Wiedza.

„Oto od kogo należy uczyć się pisać!” [*Фигнер Вера Николаевна: биографическая справка...*].

Utrwalony trud był znany nie tylko w Związku Radzieckim. Został przetłumaczony (jako *Noc nad Rosją*) na wiele języków, w tym niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, norweski, szwedzki i in. Uzyskane honoraria autorskie Figner przekazywała na rzecz pomocy szkołom, bibliotekom, muzeom. Szczególnie bliskie relacje utrzymywała ze swoją „małą ojczyzną”. W guberni kazańskiej patronowała kolchozowi, który nazwano jej nazwiskiem, a także kilku szkołom, sierocińcom i instytucjom kulturalnym. Figner przekazywała w darze książki, podręczniki i materiały piśmiennicze, szczerze ofiarowywała środki na budowę szkół oraz wyposażanie pracowni.

Twórczość literacka Figner nie ograniczała się tylko do wspomnień. Była również autorką esejów o historii walki społecznej, biografii wybranych rewolucjonistów, artykułów wstępnych i przedmów do książek poświęconych ruchowi rewolucyjnemu i narodnickiemu. W 1932 roku, z okazji osiemdziesiątych urodzin Wiery Figner, w siedmiu tomach wydane zostały jej dzieła zebrane. Ironią losu opowieść o strasznym życiu działaczy rewolucyjnych w „carskich lochach” ukazała się w czasie, gdy nowa władza radziecka budowała więzienia dla nowych opozycjonistów.

Wiera Figner zmarła 18 czerwca 1942 roku w Moskwie na zapalenie płuc w wieku dziewięćdziesięciu lat. Została pochowana na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie. Rosyjska rewolucjonistka przeżyła długie i niezwykle życie. Urodziła się za panowania Mikołaja I (1796–1855), najlepsze lata swojego życia poświęciła walce z jego następcą – Aleksandrem II (1818–1881), za co Aleksander III (1845–1894) i Mikołaj II (1868–1918) „nagrodzili” ją latami osadzenia w twierdzy, zesłania i prześladowań. Miała dziewięć lat, gdy zniesiono poddaństwo chłopów. Zmarła krótko przed dwudziestą piątą rocznicą ustanowienia władzy radzieckiej. Wiera Figner urodziła się w przededniu obrony Sewastopola w wojnie krymskiej, a zmarła w czerwcu 1942 roku, niedługo przed upadkiem tej twierdzy (4 lipca 1942 roku) w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ciężkie życiowe próby, którym została poddana, pełna niebezpieczeństw działalność w rewolucyjnym podziemiu, utrata bliskich, fiasko „wielkiej sprawy”, utrata wielu ideałów, a nawet dwudziestoletnie odosobnienie – nic nie zdołało jej złamać. Zwycięstwo Figner w dwudziestodwuletniej walce o przetrwanie w odosobnieniu było pryncypialnie ważne nie tylko dla niej. Bohaterska przeszłość rewolucjonistki, niezłomna postawa w twierdzy i jej ogromny autorytet moralny uczyniły z niej legendę za życia.

Postać Wiery Nikołajewny Figner praktycznie nie zachowała się w pamięci współczesnych jako autorki utworów literackich. Czasem wspomina się o niej jako o „rewolucjonistce”, rosyjskiej działaczce ruchu narodnickiego i eserce. Czasem dodaje się, że spędziła w carskim więzieniu i na zesłaniu dwadzieścia lat. Wśród nielicznych dowodów pamięci współczesnych o Wierze Figner możemy wymienić tablicę pamiątkową, umieszczoną na domu we wsi Nionoksa (przy ulicy nazwanej jej nazwiskiem), w którym w latach 1904–1905 odbywała karę zesłania. W 1928 roku niewielką asteroidę nr 1099 na jej cześć nazwano Fignerią.

Natomiast bogaty i różnorodny opis Wiery Figner utrwaliła literatura, która zwykle wrażliwsza bywa od pamięci historycznej. W 1885 roku Siemion Nadson (1862–1887), zainspirowany postacią rewolucjonistki, pozostający pod silnym wrażeniem słynnego „procesu pięćdziesięciu”, napisał wiersz *Na podstawie niejasnych znaków, dostępnych dla niewielu* (*По смутным признакам, доступным для немногих*, 1885). W 1950 roku wiersz *Wiera Figner* (*Вера Фигнер*) napisała Anna Barkowa (1901–1976), kobiecy głos rosyjskiej rewolucji, poetka określana mianem „proletariackiej Achmatowej”, trzykrotnie więziona pod zarzutem agitacji antyradzieckiej:

(...)

А потом все затихло и замерло
 Притаилась, как хищник, мгла.
 В Шлиссельбургских секретных камерах
 Жизнь созрела и отцвела.
 А потом, после крепости, – ссылка.
 Перезеды, патетика встреч,
 Чьи-то речи, звучащие пылко,
 И усталость надломленных плеч.

Жутко, дико в открытом пространстве,
 В одиночке спокойно шагнешь.
 И среди европейских странствий
 Била страшная русская дрожь.

Просыпалась ты словно в агонии,
 Задыхаясь в постельном гробу,
 С поздней завистью к участи Сони,
 И к веревке ее, и столбу¹⁰.

1950

Postać rosyjskiej rewolucjonistki została utrwalona również w prozie. Znalazła się galerii postaci historycznych opisanych przez Aleksandra Kuprina (1870–1938) w opowiadania *Gąsienica* (*Гусеница*), w którym autor nawiązuje do realnych wydarzeń z 1905 roku¹¹:

(...) Помню, меня очень заинтересовала разница в выражении лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа: „Поглядите, какая странность: у всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Константиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа – севастопольские героини, и еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных,

¹⁰ Cyt. na podstawie źródła: A. Баркова, *Вера Фигнер*, „Народная Воля”, <http://narovol.narod.ru/barkova.htm> [data dostępu: 24.07.2014].

¹¹ Opowiadanie po raz pierwszy było opublikowane w 1918 roku i nawiązywało do wydarzeń rewolucyjnych, których świadkiem była sam autor („Огонек”, 1918, 14 marca, nr 2). Zob. także: [Bielniak 2013, 111–121].

таких *человеческих* глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и – взгляните – какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным, второстепенным, будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливый, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, – потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше, на суровое, не женское дело, на смертный путь, на Голгофу”.

Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородки и ответил задумчиво:

– Да, это так. Я в партии, собственно, не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали: я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя, неиссякаемая святая теплота. Я замечал, что бесчестный человек, лжец или трус, не выдерживал и на секунду их прозрачного и тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях, под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея, и овладевает не так, как мужскою душою, частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца... Да, да, да... Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обычной, земной, тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое, деятельное сострадание подняли, всего на минуту, ее душу к небесам [Куприн 1973 т.7, 224–225].

Z kolei prozaik Władimir Wojnowicz (ur. 1932) napisał utwór *Stopień zaufania. Opowieść o Wierze Figner (Степень доверия. Повесть о Вере Фигнер*, seria: Пламенные революционеры) wydaną przez moskiewskie wydawnictwo Politizdat [Войнович 1972]. Nowe wydanie wyszło pod zmienionym tytułem – *Drewniane jabłko wolności. Powieść o przelotowym okresie w historii Rosji (Деревянное яблоко свободы: Роман о переломном периоде в истории России)* [Войнович 2008]. Ponadto warto przypomnieć rozdział „Figner” w poemacie *Uniwersytet Kazański (Казанский университет*, 1971) Jewgienija Jewtuszenki (ur. 1932) [Евтушенко].

Wiera Figner była urodzoną bojowniczką, stanowiła nadzwyczajny przykład hartu ducha, „wspaniały obraz sokoła w ludzkiej cielesności”, jak poetycko wyraził to rosyjski emigrant, laureat Nagrody Nobla, Iwan Bunin. Wysoka moralność, uczciwość, oddanie sprawie prezentowane przez Wierę Figner były podobne do tych, które cechowały wielu rewolucjonistów, ale wyróżniała ją jedność myśli i działania. Jej celem była rewolucja, unicestwiająca carat i przynosząca narodowi wyzwolenie. Na drodze do osiągnięcia tego celu nie było miejsca na strach czy zwątpienie. Dlatego nie ma powodu wątpić w szczerść słów rewolucjonistki, napisanych już w więzieniu w oczekiwaniu na karę śmierci: „Prawdę mówiąc uważam, że moje życie było szczęśliwe (z mojego punktu widzenia), i niczego więcej nie wymagam” [Фигнер 1964].

Bibliografia

- Bielniak N., 2013, *Kuprinowskie bohaterki na tle przemian społecznych przełomu XIX i XX wieku // Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej*, red. Ksenicz A., Stasińska P., Bielniak N., Urban-Podolan A., Zielona Góra, 111–121.
- Figner W., 1962, *Trwały ślad*, przeł. J. Mincowa, Warszawa.
- NDiaye I., 2014, *Kobiety i polityka w Rosji*, Olsztyn.
- Pipers R., 2011, *Zamachowcy i zdrajcy. Z dziejów terroru w carskiej Rosji*, tłum. Jeżewski W., Warszawa.
- Артър Ф., Даббади Д., 2008, *Автобиография как борьба: генезис второй части „Запечатленного труда” Веры Фигнер*, 13 marca, <http://www.item.ens.fr/index.php?id=223437> [19.06.2014].
- Войнович В.Н., 1972, *Степень доверия. Повесть о Вере Фигнер*, серия: Пламенные революционеры, Москва.
- Войнович В.Н., 2008, *Деревянное яблоко свободы: Роман о переломном периоде в истории России*, Москва.
- Кони А.Ф., 1966, *Воспоминания о деле Веры Засулич // А.Ф. Кони, Собрание сочинений: в 8 тт.*, т. 2, Москва.
- Куприн А., 1973, *Гусеница // А. Куприн, Собрание сочинений в 9 тт.*, т. 7: Произведения. 1915–1929, ред. Аكوпова Н.Н., Кулошова Ф.И., Куприна К.А., Мясников А.О., Москва, 224–231.
- „Народная воля” и „Черный предел”: *Воспоминания участников революционного движения в Петербурге в 1879–1882 гг.*, 1989, сост. Гинев В.Н., Цамутали А.Н., Ленинград.
- Незапечатленный труд: Из архива В.Н. Фигнер*, 1992, публ. Леонтьева Я.В., Юрьева К.С., Звенья: Исторический альманах, Вып. 2, Москва.
- Новорусский М.В., 1920, *Записки шлисselfбуржца. 1887–1905*, гл. 8: Статистические итоги, Петроград, http://ru-lib.3dn.ru/publ/novorusskij_mikhail_vasilevich_zapiski_shlisselfburzhca_stranica_12/1-1-0-6647 [19.06.2014].
- Фигнер В., 1906, *Стихотворения*, Санкт-Петербург.
- Фигнер В., 1932, *Полное собрание сочинений*, т. 4: Стихотворения, Москва.
- Фигнер В., 1933, *Избранные произведения: в 3 тт.*, т. 1: Запечатленный труд, т. 2: Когда часы жизни остановились, т. 3: После Шлисselfбурга, т. 5: Очерки, статьи, речи, т. 6: Письма, т. 7: Письма после освобождения, Москва.
- Фигнер В., 1964, *Запечатленный труд. Воспоминания: в 2 тт.*, Москва, http://az.lib.ru/f/figner_w_n/text_0080.shtml [19.06.2014].
- Фигнер В.Н., 1968, *Стихотворения // Поэты-демократы 1870–1880-х годов*, серия: Библиотека поэта. Большая серия, биографические справки, подготовка текста и примечания Базанова В.Г., Бессонова Б.Л., Бихтера А.М., изд. 2, Ленинград, http://az.lib.ru/f/figner_w_n/text_0060.shtml [19.06.2014].
- Фигнер Вера Николаевна. Биографический указатель*, http://az.lib.ru/f/figner_w_n/text_0010.shtml [19.06.2014].
- Zbiory archiwalne
РГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства), Ф. 1185, Оп. 1, Ед. хр. 146.

Summary

“SZLISSELBURG ODYSSEY”... ANTISTATE ACTIVITY AND LITERARY CREATION OF THE LEGENDARY VERA FIGNER

This article presents the literary work of Vera Figner (1852–1942), Russian activist of Narodniki, sentenced to death for the participation in the preparations for the assassination of Tsar Alexander II, changed into penal servitude for life. Before her judgment, Figner spent twenty months in the Peter and Paul Fortress in a single cell. For the following twenty years she lived in the Szlisselburg fortress, known as the “Russian Bastille.” Literature and her literary creation constituted the antidote to the difficult reality of prison. The Russian State Archive of Literature and Art possesses manuscript copies written in prison by Vera Figner from memory. A beautiful card of her steadfast attitude and extraordinary courage recorded in her memoirs was edited after her release from prison: *Prisoners from Szlisselburg, When the clock of life stopped, after Szlisselburg* and autobiography *Preserved work*. Vera Figner’s memoirs are an irreplaceable source of historical data and fit in with the rich tradition of literature, next to the achievements of the whole galaxy of revolutionaries-Populists (M. Noworusskij, M. Frolenko, N. Morozov and others). Figner was very talented and clearly captured an important period in the history of the Russian revolutionary struggle. The chapters devoted to the National Will provide a rich material for the study of the history of that organization, representing a unique and interesting source of knowledge of the theoretical foundations of people’s views. Figner beautifully painted the portraits of old companions, but above all discovered the psychology of the prisoner incarcerated for many years.

Grzegorz Ojcewicz

Szczytno

„JEDYNE, CO MNIE SMUCI – TO MYŚLI O TWOJEJ ZGRYZOCIE”. OBOZOWE LISTY MATKI MARII (JELIZAWIETY SKOBCOWEJ) DO SWOJEJ MATKI

Key words: German occupation, letters from the concentration camp, first wave Russian emigration

Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?
Ks. Hioba: 2,10 [*Pismo Święte...* 1990, 540]

List jako taki oraz jako gatunek literacki ma bardzo długą tradycję, sięgającą głębokiej starożytności¹. List jako gatunek literacki różni się znacznie od zwykłych listów, w których nie kształt językowy i aspekty kompozycyjne odgrywają pierwszorzędą rolę, lecz nastawienie na skuteczne doniesienie informacji. Takie zwykłe listy dopuszczały i wciąż dopuszczają niespójność narracyjną oraz błędy językowe. Internetowa korespondencja, którą prowadzi zwłaszcza młodzież, problemy natury językowej w epistolografii tylko współcześnie przejawiała. Od tak zwanych zwykłych listów o zwykłych często sprawach wypada odróżnić listy obozowe, które z uwagi na warunki, w jakich powstawały, zbudowały określoną ramę interpretacyjną. W danej ramie wiedza o więziennej egzystencji i odczuciach więźniów stanowi jedno z najważniejszych odniesień w rozumieniu tej specyficznej korespondencji. W znanej piosence *Medytacje wiejskiego listonosza* Skaldowie śpiewają: „Ja wiem, kto w życiu myśli – nie pisze nic. Kto bardzo kocha – pisze długi list”². Tę potoczną prawdę mocno zmienia obóz koncentracyjny, który właśnie lapidarność przekazu, a nie wielosłowność czyni najwyrazistszym znakiem miłości.

Dotąd nie zajmowano się szerzej obozową epistolografią Matki Marii – ani w Polsce, ani za granicą. Dlatego niniejsza wypowiedź jest swego rodzaju ingresem w tę bolesną część intymnego świata rosyjskiej mniszki. Pisząc o obozowych listach Matki Marii

¹ Zob. np. hasło „List” autorstwa Izabelli Adamczewskiej [Gazda, Tyniecka-Makowska 2006, 385-387].

² *Medytacje wiejskiego listonosza*: słowa – Leszek Aleksander Moczulski, muzyka – Andrzej Zieliński.

(1891–1945), mam na myśli cztery niewielkie objętościowo teksty, jakie w okresie od lutego 1943 do kwietnia 1944 wysyłała do swojej matki, Sofii Pilenko (1863–1962), znana rosyjska poetka „Srebrnego Wieku”, Jelizawieta Kuźmina-Karawajewa, która jako emigrantka przybyła do Francji wraz z rodziną w styczniu 1924 roku. Dwa listy pochodzą z hitlerowskiego obozu ulokowanego w Forcie Romainville w podparyskiej miejscowości Lilas³, dwa następne – z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

Tę smutną opowieść trzeba zacząć od adresatki – Sofii Pilenko, pochodzącej z arystokratycznego francuskiego rodu de Launay (Делоне) i będącej – według rodzinnych przekazów – krewną ostatniego komendanta Bastylli. Sofia Pilenko była matką pierworodnej córki Jelizawiey, która po wyjściu za mąż 19 lutego 1910 roku za Dmitrija Kuźmina-Karawajewa (1886–1959) stała się zaledwie na kilka lat Jelizawietą Kuźminą-Karawajewą⁴, a po drugim zamążpójściu za Daniła Skobcowa (1884–1968) w 1919 roku – Jelizawietą Skobcową. Sędziwa Sofia Pilenko towarzyszyła córce wiernie od czasu jej skomplikowanych narodzin aż do męczeńskiej śmierci, na każdym życiowym zakręcie: gdy ta rozczarowana małżeństwem rozwiodła się z Dmitrijem Kuźminem-Karawajewem, gdy rodziła poza związkiem małżeńskim pierworodną córkę Gajanę (1913–1936), gdy opuszczała z drugim mężem i dwójką dzieci Rosję (1920), gdy na emigracji pochowała najpierw córkę Anastazję (1926), a potem – na odległość, w ZSRR – Gajanę (1936), gdy w lutym 1943 roku została aresztowana przez gestapo, by nigdy już nie wrócić do prowadzonego przez siebie paryskiego przytułku i kaplicy przy ulicy Lourmel 77. Sofia Pilenko nie uczestniczyła w pochówku ani córki, ani wnuków – Gajany i Jurija. Umarła w ciszy i zapomnieniu⁵.

Podając temat obozowej korespondencji Matki Marii, chcę pokazać, że Jej listy są nie tylko dokumentem epoki, lecz także ważnym ogniwem w poznaniu szczegółów biograficznych przyszłej świętej z jednego z najtrudniejszych okresów w życiu mniszki z powodu nieludzkich warunków, jakich doświadczyła przed śmiercią w komorze gazowej. W jawny i zaszyfrowany sposób korespondencja z miejsc odosobnienia utrwala dzień powszedni obozu koncentracyjnego, wyraża obawy Matki Marii o losy swoich najbliższych, przede wszystkim zaś o syna, Jurija Skobcowa, oraz matki, Sofii Pilenko, która z uwagi na podeszły wiek i głęboką więź uczuciową z córką, niezwykle dojmująco przeżyła to rozstanie oraz brak nadziei na rychłą zmianę losu członków rodziny na lepszy.

³ Wzniesiony w latach 1844–1848 Fort Romainville hitlerowcy zamienili w 1940 na więzienie i obóz koncentracyjny, w którym przetrzymywano uczestników ruchu oporu. To spośród nich najczęściej wybierano ofiary, które rozstrzelano w odwecie za udane akcje francuskiej opozycji. W Romainville więziono podczas okupacji około 7000 więźniów, z czego 209 osób stracono bezpośrednio w forcie. Wśród znanych więźniarek przetrzymywanych w Romainville znalazły się między innymi Marie Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, May Pulitzer, Simone Sampaix, Hélène Langevin i Matka Maria (Skobcowa).

⁴ Faktyczny rozwód miał miejsce wiosną 1913 roku.

⁵ Więcej o Sofii Pilenko i jej silnej więzi z córką Jelizawietą zob. [Десанги 2011, 49–50].

List 1.

Datowanie względne – wedle stempla pocztowego – 27 lutego 1943. Napisany w języku francuskim w Forcie Romainville. Podpisany inicjałami: MM. Przekład na rosyjski – Jelena Klepinina-Arżakowska [Кузьмина-Караваева Е. Мать Мария 2001, 654]⁶.

Дорогая моя мамочка. Мы вместе вчетвером. Я часто вижу Юру. Он хорошо себя держит, как и мы. Мне было бы хорошо, если бы я не беспокоилась за тебя. Скажи Даниилу, что он может работать свободно, для нас самое необходимое – продукты питания, но вообще мы не голодаем. Вы можете поочередно посылать нам посылки. Пришлите макароны, картофель, фасоль, здесь есть возможность стряпать. Я бы хотела иметь тетрадь и ручку и что-нибудь для вышивки, а также белых ниток. Я думаю, что вам без нас труднее, чем нам самим. Писать можно раз в месяц. Можно присылать посылки, оплачиваемые Красным Крестом. Меня поместили в большой зал с 34 женщинами. Все хорошо организовано. Мы гуляем 2 часа в день. Это неплохо. Я надеюсь, что мы просидим недолго. Ты должна быть спокойной и не бояться за нас. Отец Дмитрий бодр и занимается. Юра увлечен новыми знакомствами, для него это познавательно. Я рада, что мы вместе. Скажи С. В., что я уверена в том, что она прекрасно справляется без меня, и я ее благодарю за всю работу. Я все время думаю, что для тебя и Даниила это испытание труднее, чем для нас. Пусть он ничего не меняет в своей обычной жизни, не имеет смысла: хлопотать должны друзья. Посылки я прошу не только для себя а так, чтобы я могла кое-что выделить для союзников, которые все со мной делятся. Единственное, что меня огорчает, – это мысли о твоём горе. Здесь мы отдыхаем и у нас много свободного времени. Мы не несчастны.

Я целую всех.

Komentarz

Matka Maria zwraca się do matki, Sofii Pilenko, słowami „Droga moja mamusiu”. Nie stawia przy tym wykrzyknika, nie ujawnia graficznie emocji. Forma „mamoczka”/mamusia sygnalizuje podtrzymywanie serdecznej i bardzo mocnej więzi z matką, powierniczką wielu życiowych sekretów, niezawodną w każdej sytuacji. „Jesteśmy we czwórce” – donosi na samym początku Matka Maria, podkreślając tym samym ważność właśnie tej informacji. Razem, a więc: ja, syn Jurij Skobcow (Юрий Скобцов, 1920–1944?), ojciec Dmitrij Klepinin (о. Дмитрий Клепинин, 1904–1944) i Fiodor Pjanow (Фёдор Пьянов, 1889–1969)⁷. Razem, a więc silniejsi. Wszyscy oni to najbliżsi

⁶ Jelena Klepinina-Arżakowska (1938) jest córką ojca Dmitrija Klepinina i posiadaczką części archiwum Matki Marii. Mieszka w Paryżu.

⁷ Według Władimira Warszawskiego do obozu w Romainville razem z Matką Marią w tym samym czasie oprócz wymienionych już osób trafili także inni jej najbliżsi współpracownicy, działający w ramach „Prawosławnej Sprawy” (Православное дело), jak Jurij Kazaczkin (Юрий Павлович Казачкин, 1899–1968) i Anatolij A. Wiskowski (Анатолий А. Висковский). Lat życia Wiskowskiego nie udało się mi ustalić. Wiadomo wszakże, że Kazaczkin przeżył obóz, a Wiskowski zmarł w obozie w dniu wyzwolenia (23 kwietnia 1945). Podaje za: [Варшавский 1998, 371; Hackel 2008, 161].

współpracownicy i wypróbowani przyjaciele Matki Marii z czasów jej działalności w ramach „Prawosławnej Sprawy” i przytułku na Lourmel 77.

Matka Maria preferuje na samym początku swego obozowego komunikatu matczyne uczucia. Uspokaja Sofię Pilenko, gdy pisze, że często widzi Jurę. Chociaż „często” to słowo okazjonalne i trudno powiedzieć, jaką ma ono rzeczywistą wartość znaczeniową w warunkach obozowych. Czy „często” oznacza na przykład dwa albo trzy razy na tydzień? By zwiększyć spokój swojej rodzicielki, Matka Maria ocenia postawę syna i pisze, że trzyma się on tak samo dzielnie, jak wszyscy pozostali z danej czwórki. To ważny szczegół, ponieważ Jura w chwili aresztowania przez gestapo miał zaledwie dwadzieścia trzy lata i w związku z tym był potencjalnie najbardziej podatny na argumenty siłowe Niemców.

Ze świata najgłębszej pokory płyną następne słowa Matki Marii: „Byłoby mi tu całkiem dobrze, gdybym nie musiała się o ciebie niepokoić”. Jak może być dobrze w niewoli, w zamknięciu, na niewielkiej przestrzeni, która musiała dotkliwie ograniczać rosyjską mniszkę nawykłą do pokonywania setek kilometrów podczas realizowania zadań wynikających z piastowanej funkcji w Rosyjskim Studenckim Ruchu Chrześcijańskim (Русское студенческое христианское движение) i poczucia potrzeby prowadzenia religijnej misji? Zaraz po tych najważniejszych informacjach następuje skok do innej sfery, bardziej egzystencjalnej. Więźniarka Romainville prosi o przekazanie swojemu byłemu mężowi, Daniłowi Skobcowowi, wiadomości, że ten może spokojnie pracować, jakby w ogóle w tym nieludzkim czasie, a zwłaszcza wtedy, gdy najbliższa rodzina przebywała od ponad dwóch tygodni w niemieckiej niewoli, można było bez emocji wykonywać codzienne czynności. Matka Maria, pisząc swój pierwszy list do Sofii Pilenko, była być może przekonana, że wkrótce sytuacja się radykalnie odmieni i wpływowi ludzie z ruchu oporu lub inni wpływowi ludzie z Francji ujmą się za nią, jej synem, ojcem Dmitrijem i Fiodorem Pjanowem i spowodują ich powrót do Paryża. Niestety, o czym później we wspomnieniach z wyrzutem napisze Danił Skobcow, nikt z tych, którzy mogliby pomóc, nie pomogli, a na skutki takiej postawy wobec czwórki aresztowanych nie trzeba było długo czekać⁸.

Dla każdej czulej matki ważna jest wiedza o tym, jak się żywią jej dzieci. Dlatego Matka Maria zapewnia, że w ogóle w obozie nie głodują, co należałoby raczej odczytać jako przeciwieństwo stanu faktycznego, skoro prosi ona o przysyłanie paczek, w których znalazłby się łatwy do przygotowania makaron, pożywne ziemniaki i fasola. Ale nie samym chlebem człowiek żyje, zwłaszcza gdy się jest tak dynamiczną osobowością twórczą, jak Matka Maria, dlatego córka prosi Sofię Pilenko, by przysłano w paczce także zeszyt, długopis oraz materiały do wyszywania. Po tym następuje zwrot ku ocenie

⁸ W *Niezauważonym pokoleniu* Władimir Warszawski pisał: „В сборнике, посвященном памяти матери Марии, Д. Е. Скобцов рассказывает, как после ее ареста он не встретил участия со стороны эмигрантов, которые могли бы помочь в хлопотах о ее освобождении. «Остался лишь осадок горечи от людского малодушия и безучастия. Или вот еще: очень высокое лицо в эмиграции встретило меня словами: – Язык ей следовало бы подрезать, болтала очень много, – а в дальнейшем разговоре это же лицо сказало: – У меня была оттуда (то есть из дома матери Марии) одна дама, которая сказала, что матери Марии, может быть, и поделом, а вот жалко о. Дмитрия» [Варшавский 1998, 372].

warunków, w jakich przebywa ona sama i pozostawieni w Paryżu najbliżsi. Matka Maria przypuszcza: „Myślę, że wam bez nas jest trudniej niż nam samym”, co należałoby ponownie odczytać przez zaprzeczenie: „Jest nam tutaj bardzo trudno bez was”.

Kolejne zdanie ujawnia fragment obozowego regulaminu: pisać wolno tylko raz na miesiąc, a to oznacza, że w lapidarnej korespondencji trzeba zawrzeć jak najwięcej wiadomości. Te z kolei najlepiej są transponowane za pomocą zdań prostych, pozbawionych językowych ozdobników i poetyckich figur, wolne od retoryki. Są to więc zdania absolutnie najzwyczajniejsze pod Słońcem, które nie tworzą wyrafinowanej kompozycji, tak typowej dla tekstów literackich Matki Marii. Dlatego w pierwszej korespondencji z Romainville otrzymaliśmy ciąg niezależnych zdań, dla których wspólnym mianownikiem stała się nowa obozowa rzeczywistość. W 1943 roku Niemcy przynajmniej oficjalnie respektowali jeszcze międzynarodowe konwencje i pozwalali na przysyłanie do obozu paczek, za które płacił Czerwony Krzyż. Również o tej możliwości wspomagania więźniów wspomina Matka Maria w liście z 27 lutego 1943 roku.

Kolejny skok narracyjny i zmiana tematu została powiązana z odsłoną obozowej egzystencji. Matka Maria donosi, że została umieszczona w wielkiej sali razem z innymi trzydziestoma czterema kobietami i że wszystko jest dobrze zorganizowane. Czy rzeczywiście było tak dobrze zorganizowane, jak by to miało wynikać wprost ze słów więźniarki? Jej i pozostałym przetrzymywanym w Romainville pozwolono na dwugodzinną „przechadzkę” po wyznaczonym obozowym szlaku, co znajduje uznanie w oczach Matki Marii, gdy komentuje: „To całkiem niezłe”. Wreszcie rosyjska mniszka z Lourmel 77 dotyka w środku listu rzeczy dla niej najważniejszej: wyraża nadzieję, że razem z innymi będzie tutaj przebywać niedługo, dlatego Sofia Pilenko powinna zachować spokój i nie obawiać się o ich losy. To zapewnienie również odczytałbym w poetyce zaprzeczenia: „Mamo, może być różnie. Jak długo to potrwa – nikt nie wie”.

Wątpliwe, by następne słowa Matki Marii o tym, że ojciec Dmitrij jest rzeźki i znalazł sobie odpowiadające mu zajęcie, a Jura cieszy się z nowo zawartych znajomości, mogły ukoić nerwy Sofii Pilenko. Być może dlatego Matka Maria po raz kolejny podkreśla, że cieszy się z faktu, że są w Romainville razem, bo stąd każde z nich czerpie od siebie siłę. Po tych słowach Matka Maria prosi Sofię Pilenko, by ta powiedziała niejkiej S.W., że S.W. radzi sobie wspaniale bez niej i że Matka Maria jest jej wdzięczna za codzienny trud. Kontekst podpowiada, że musi chodzić o kogoś z najbliższego otoczenia rosyjskiej mniszki, o kogoś, kto wspólnie z nią pracował w domu przy ulicy Lourmel 77. Wszystko wskazuje na to, że Matka Maria miała na myśli Sofię Wieniaminowną Miedwiediewą (1890–1974), późniejszą matkę Jelizawietę, autorkę wspomnień o Matce Marii zatytułowanych *Słowo*⁹.

⁹ Od Georgija Leszczenki wiem, że matka Jelizawieta zginęła tragicznie w Paryżu, potrącona przez samochód w trakcie przechodzenia przez jezdnię. Wraz z jej śmiercią przepadł jedyny ilustrowany własnoręcznie przez Matkę Marię tom jej poezji. Na profesjonalnej stronie internetowej poświęconej Matce Marii i prowadzonej przez Ksenię Kriwoszeinę czytamy we wspomnieniach Ariadny Wasiljewej o Sofii Miedwiediewej: „Но помимо постоянных жильцов на Лурмель толклось куда больше народу, не считая приходящих в церковь. Я уже называла Пянова и Ольгу Романовну. Была еще такая Софочка, существо экзальтированное, восторженное, поклонявшееся магушке и обожавшее Юру. Мать на Софочкины изъявления чувств

Pod koniec pierwszego listu powraca natrętna myśl o tym, komu jest ciężej: tym, którzy przebywają w niewoli, czy tym, którzy są na wolności: Sofii Pilenko i Daniłowi Skobcowowi? Matka Maria jest przekonana że dla nich doświadczenia ostatnich tygodni są trudniejsze. Czy w ten sposób starała się pocieszyć swoją rodzicielkę i oddalić smutne myśli o obozowej rzeczywistości i samotności? „Niechaj Danił niczego nie zmienia w swoim codziennym życiu, bo to nie ma sensu: pozałatwiać sprawy powinni przyjaciele” – nakazuje łagodnie mniszka z Lourmel 77. Daje też do zrozumienia, że oczekuje pomocy od tych, którzy są w stanie tę pomoc skutecznie zorganizować. Niestety, wpływowa rosyjska emigracja takiej pomocy nie zorganizowała.

W przedostatnim zdaniu pierwszego obozowego listu, najdłuższego w porównaniu z trzema pozostałymi, Matka Maria zapewnia, że prosząc o paczki, ma na myśli także współwięźniarki, które solidarnie dzielą się z nią tym, co same otrzymają z za murów Romainville. „**Jedynie, co mnie smuci – to myśli o twojej zgryzocie**” – podsumowuje swoje słowa rosyjska mniszka, akcentując tym samym wielkie zatroskanie o własną matkę-staruszkę. I ta myśl stanie się mottem przewodnim całej więziennej korespondencji. Finałowe stwierdzenie, zgodnie z którym więźniowie w Romainville dużo odpoczywają i mają wiele wolnego czasu, brzmi w kontekście obozowego życia dość groteskowo. „Nie jesteśmy nieszczęśliwi” – zapewnia filozoficznie Matka Maria. Lecz czy można temu lapidarnemu zapewnieniu bezgranicznie wierzyć? Formułą „Całuję was wszystkich” rosyjska mniszka zamyka pierwszy list do Sofii Pilenko. Zamyka jednocześnie pierwszy rozdział w obozowych relacjach między matką i córką.

List (pocztówka) 2.

Datowanie – 3 marca 1943. Napisany w języku francuskim w Forcie Romainville. Podpisany inicjałami: MM. Przekład na rosyjski – Jelena Klepinina-Arżakowska [Кузьмина-Караваева Е. Мать Мария 2001, 655].

Дорогая мамочка. Юра и его друзья нас покинули, но я, вероятно, скоро их увижу. Не беспокойся насчет посылок. Игорь и Софья имеют опыт, как их посылать туда. Я хотела бы как можно скорее воссоединиться с ними. Настроение мое и здоровье очень хорошие. Здесь немного шумно. Я за тебя беспокоюсь. Как дом? Я не получила еще ни одного письма, только две посылки. Напиши Даниилу, что я много думаю о нем. Я думаю, что С. В. сейчас трудно. Я нахожусь с вами больше, чем здесь. Я даю уроки русского языка. Здесь хорошо.

смотрела скептически, сбивала пронией. Софочка занималась исключительно делами церкви вместе с Константином Мочульским. Он же был церковным старостой”. [zob. Васильева, data dostępu: 21.05.2014]. Podkr. – G.O.

Komentarz

Drugi list Matki Marii do Sofii Pilenko musiał się zmieścić na kartce pocztowej, więc z konieczności nie mógł być formalnie rozbudowany. Fakt ograniczenia przestrzeni, podyktowany ramą pocztówki, może być dla piszącego źródłem określonego stresu, lecz dla badacza ma specyficzną zaletę, pozwala bowiem na obserwację, co w danym momencie dla adresanta jest najistotniejsze, z pewnych treści musi on bowiem z uwagi na szczupłość miejsca zrezygnować, a inne – wyeksponować.

Zwrot inicjujący pocztówkę jest podobny: „Droga mamusiu”, lecz już bez zaimka „moja”, co wynika zapewne z konieczności redukcji elementów mniej ważnych od innych. Na samym początku Matka Maria donosi o tym, co najbardziej wstrząsnęło nią samą, czyli o wyjeździe 26 lutego 1943 roku syna Jurija i jego przyjaciół z Romainville do obozu przejściowego w Compiègne¹⁰. Warto przy okazji zwrócić uwagę na datowanie: pierwszy list, według stempla pocztowego, wyszedł 27 lutego 1943 roku, a więc później niż stało się to, o czym donosi Matka Maria w pocztówce z 3 marca 1943. Fakt ten potwierdza moje przypuszczenie, że korespondencję więzienną zbierano w obozie z określonego czasu, na przykład z tygodnia, by potem w ciągu jednego lub kilku dni przekazać ją dalej oficjalną pocztą.

Jakby pocieszając przede wszystkim samą siebie, Matka Maria wyraża w tej korespondencji nadzieję, że zapewne wkrótce znów się zobaczy z przyjaciółmi i synem. Może to być wyraz nadziei jako takiej albo też mającej określone podłoże, jeśli przyjmiemy, że do rosyjskiej mniszki dotarła na przykład wiadomość o zamiarze przetransportowania jej i innych więźniarek do obozu przejściowego w Compiègne. Transport taki miał rzeczywiście miejsce i nastąpił po dwóch miesiącach, 26 kwietnia 1943 roku, licząc od daty opuszczenia Romainville przez Jurija Skobcowa i ojca Dmitrija w dniu 26 lutego 1943. W Romainville 26 kwietnia 1943 roku Matka Maria po raz ostatni dostrzegła z więziennej furgonetki byłego męża Daniila Skobcowa¹¹, który przyjechał do obozu, by przekazać jej paczkę, a w Compiègne, rzeczywiście, miała okazję, by również przez moment i po raz ostatni spotkać się z Jurijem¹². Następnego dnia, 27 kwietnia

¹⁰ W obozie przejściowym w Compiègne Jurij Skobcow, ojciec Dmitrij, Fiodor Pjanow i inni przebywali do 15 grudnia 1943 roku, a następnego dnia zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Stąd 25 stycznia 1944 Jurij Skobcow i ojciec Dmitrij zostali przetransportowani do podziemnego obozu pracy w Dora pod Buchenwaldem (Konzentrationslager Mittelbau-Dora). Zob. np. *Краткая летопись жизни матери Марии* [Мать Мария (Скобцова) 2004, 89-112].

¹¹ Piszę o tym również Daniil Skobcow w powojennym zbiorze Matki Marii, *Из воспоминаний Д.Е. Скобцова* [Мать Мария 1947, 153-159]. [zob. także Десанти 2011, 178; Hackel 2008, 157-158].

¹² Do tego wzruszającego spotkania doszło według Kseni Kriwoszeina w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku, a według Dominique Desanti – z 21 na 22 kwietnia 1943 roku. Myślę, że raczej ma w tym wypadku Ksenia Kriwoszeina, ponieważ dzień 26 kwietnia 1943 roku wypadł w niedzielę, a w poniedziałek 27 kwietnia, jak wiadomo, wyruszył już transport kobiet razem z Matką Marią do Ravensbrück. Gdyby było tak, jak podaje Desanti, czyli do spotkania miałyby dojść z 21 (środa) na 22 (czwartek) kwietnia, wówczas Matka Maria na pewno szukałaby jeszcze innej okazji do spotkania się z synem. Okazji jednak takiej już więcej nie było, co przemawia za datą podaną przez Kriwoszeinę. Według Desanti, Jurij Skobcow przedostał się do sektora żeńskiego pod pretekstem przyniesienia wiader z wodą. Matka z synem spędziła ten czas na rozmowie i modlitwie. Współwięźniarki zapewniały im ochronę i bezpieczeństwo [zob. Десанти 2011, 178].

1943 roku, z Compiègne do Ravensbrück wyruszył transport nr 19000, a w nim – późniejsza więźniarka z fioletowym trójkątem na obozowym pasiaku, literą „F” i numerem 19263, czyli Matka Maria.

Z Romainville więźniarka prosi matkę, by nie niepokoila się o przesyłki, ponieważ ich przyjaciele, Igor i Sofia, wiedzą, jak to robić. Igor – to zapewne Igor Kriwoszejn (1899–1987), bliski współpracownik Matki Marii, a Sofia – to Sofia Miedwiediewa. Jeszcze przed aresztowaniem Matki Marii razem zajmowali się wysyłaniem paczek dla uwięzionych w Compiègne. „Chciałabym jak najszybciej połączyć się z nimi” – wypowiada życzenie rosyjska mniszka, mając nadzieję na szybkie ujście syna i dawnych przyjaciół. Dalej pisze o zdrowiu, zapewniając starą matkę, że czuje się bardzo dobrze, lecz czy zapewnieniem tym mogła uspokoić własną matkę? Czy Sofia Pilenko mogła w te zapewnienia bezkrytycznie uwierzyć?

Nie wiadomo, co Matka Maria miała na myśli, gdy pisała, że „Jest tutaj trochę głośno”: przetłoczone sale? Komunikaty nadawane przez obozowe głośniki? Pokrzykiwania służb obozowych, w których dominowały dwa polecenia: „Szybciej!” i „Milczeć!”? Ponownie, jak w poprzednim liście, córka ujawnia zatroskanie o swoją matkę, zdaną na pomoc byłego zięcia i dobrych ludzi. „Jak tam dom?” – pyta Matka Maria, mając na myśli swój przyczółek miłosierdzia na ulicy Lourmel 77. I w domysle: „Czy Niemcy nie rozgromili wszystkiego do końca? Czy nie postąpili z ich cerkiewnym majątkiem tak samo, jak z „Prawosławną Sprawą”?

Do dnia 3 marca 1943 roku Matka Maria nie otrzymała jeszcze ani jednego listu z Paryża, lecz tylko dwie paczki. Prosi Sofię Pilenko, by przekazała byłemu mężowi, że wiele o nim myśli¹³. Wyraża też przypuszczenie, że Sofii Miedwiediewej również nie jest teraz łatwo. Po tym Matka Maria zamieszcza wieloznaczne zdanie: „Я нахожусь с вами больше, чем здесь”, podkreślając tym samym chyba ogrom myśli, jakimi nieustannie otacza swoją starą matkę, byłego męża i przyjaciół z ulicy Lourmel 77. Donosi także o tym, że naucza w obozie języka rosyjskiego, co jest dość nietypową informacją, zważywszy na więzienne warunki. Kończy lapidarnie: „Tutaj jest dobrze”. Wiadomo:

¹³ Zdaniem Georgija Leszczenki z rozmów z Daniilem Skobcowem miało wynikać, że ten ostatni do końca życia nie pogodził się ostatecznie z decyzją Jelizawiety Skobcowej o wstąpieniu do klasztoru. Miał do niej żal, uważał bowiem, że swoim wyborem zniszczy ona ich małżeństwo i jego samego. Skobcow niejednokrotnie upijał się i awanturował z tego powodu, lecz stanowczość jego żony nie zmieniła powziętego postanowienia. W końcu Skobcow skapitulował i po oficjalnym rozwodzie zostali przyjaciółmi. O tych bardzo trudnych dla Skobcowów dniach tak pisała Dominique Desanti (1914–2011): „Она повторяла: «Я ухажу не ради мужчинь». Он метал громы и молнии. Он знал, что все переменялось. Для того чтобы прокормить семью, он, атаман, стал шофером такси, «извозчиком», уличным работягой. Она вязала шарфы, шила куклы и сумки. Все – ради детей, ее матери, семьи. Теперь же нужно обо всем забыть. (...) После разумных доводов он проявлял истинно казачий темперамент. Лиза пыталась его убедить и говорила с ним с материнской лаской. Когда чаша терпения переполнялась, он хватал бутылку водки и пил прямо из горлышка. Рыдания прерывались криками: «Как можно предать человека, который все сделал для тебя? Столько вытерпел от тебя? Отца твоего сына? Как, я тебя спрашиваю?». Лиза пыталась брать его за руку, касаться его волос как ребенка, предающегося бессмысленной печали. Он то отталкивал ее, то пытался обнять, и тогда она, с неумолимой нежностью, отводила его руку в сторону (После войны он рассказывал об этом одному приятелю: «Я просто сходил с ума. Вся жизнь ускользала от меня»). Сцены порой не прекращались всю ночь напролет” [zob. Десанти 2011, 101-102].

inaczej przecież oficjalnego listu zakończyć by nie mogła. Brakuje na pocztówce formuły „Całuję was wszystkich”, która zamykała pierwszy list rosyjskiej mniszki do Sofii Pilenko.

List 3.

Datowanie względne – wedle napisu na kopercie – grudzień 1943. Napisany w języku niemieckim w Ravensbrück. Podpisany inicjałami: MM. Przekład na rosyjski – M. Gusiewa [Кузьмина-Караваева Мать Мария 2001, 655].

Дорогая моя мама, уже третий раз пишу тебе, но, к сожалению, от тебя нет ответа – ни письма, ни посылки. Я ничего не знаю о Юре – это рок. О себе я могу только сказать, что сейчас уже можно надеяться, что здоровье мое до конца заключения останется хорошим. Я чувствую себя сильной и крепкой, огромное желание всех вас увидеть и знать, что вы живы и счастливы. Я так много думаю обо всех друзьях, о работе, о будущем, больше всего всегда о Юре. Что делает Тамара Кл. и как ее муж? Я не хочу задавать много вопросов. Вы должны знать, что все меня интересует. Письмо или посылку я жду каждый день. Не беспокойтесь обо мне, все хорошо. Я стала совсем старой¹⁴.

Komentarz

Trzeci list do Sofii Pilenko opuścił mury Ravensbrück w grudniu 1943 roku. Matka otrzymała go 28 stycznia 1944 roku. Zwrot jest ten sam: „Droga moja mamo” i jak poprzednio – bez zamykającego go wykrzyknika czy kropki. Jakby w pośpiechu Matka Maria stawia po danym zwrocie przecinek i pisze o tym, co jest dla niej w danym momencie najważniejsze: uskarża się, że pisze do matki już po raz trzeci, lecz z jej strony nie ma, jak dotąd, żadnej reakcji: ani listu, ani paczki. Brak informacji wzmacnia w więźniarce 19263 wewnętrzny niepokój, drżenie serca wzmacnia także troska o los jedyne go syna Jurija. „Nic nie wiem o Jurze” – lapidarnie komentuje ośmiomiesięczną ciszę informacyjną Matka Maria i dodaje: „To fatum”, zdradzając tym samym znajdowanie się na granicy ludzkiej wytrzymałości i trwania w Bożej ufności. Wcześniej, gdy nagle zmarła Gajana, Matka Maria też miała chwilowe załamanie, była gotowa „rozprawić się” z Panem Bogiem i udowodnić Mu w sposób literacki Jego bezdusność. Skończyło się na zamiarze, lecz jej buntownicza nie została wówczas niezwykle mocno napięta [Ojcewicz 2013, 239-257].

Następne zdania w grudniowym liście, oddzielane przecinkami, a nie kropkami, należy według mnie przeczytać w poetyce zaprzeczenia i nie wierzyć Matce Marii, która zapewnia, że teraz można już mieć nadzieję, iż jej zdrowie do końca pobytu w obozie będzie dobre. „Czuję się silna i mocna” – pisze, chociaż należałoby wtedy

¹⁴ To ostatnie zdanie „Я стала совсем старой” Matka Maria napisała po rosyjsku [zob. Hackel 2008, 167].

napisać „Jestem coraz słabsza i tracę wzrok”. Ogromnie pragnie zobaczyć najbliższych i mieć pewność, że są żywi i szczęśliwi. Te pragnienia, jak pokaże dalszy bieg obozowej rzeczywistości, nigdy nie zostaną zniszczone.

Dalej Matka Maria pisze o tym, że bardzo dużo myśli o wszystkich przyjaciółach, o pracy na Lourmel 77, lecz najwięcej o synu Juriju. Przecież z trojga dzieci pozostał jej, jak zakłada, jeszcze tylko on. Nie wie i nie dowie się do końca swojego życia, że wkrótce, bo na początku lutego 1944 dojdzie do tragedii: 6 lutego 1944 umrze z wycieńczenia i choroby Jura, a trzy dni później, 9 lutego, ojciec Dmitrij¹⁵. Sądzę, że gdyby Matka Maria dowiedziała się o śmierci syna, będąc w Ravensbrück, niewykluczone, że zmarłaby z rozpacz. Tej trzeciej próby od losu mogłaby jednak nie wytrzymać. Hiob był dla Matki Marii wzorem niedoścignionym. Sama też upadała pod ciężarem życiowych tragedii i podnosiła się jak starotestamentowy bohater, lecz po ludzku przeżywała każde tragiczne doświadczenie. I jak Hiob czuła się obiektem zakładu między Bogiem a Szatanem. I jak Hiob, pomimo przeżytych nieszczęść i dręczących go wątpliwości, pozostała wierna Temu, który Ją powołał. Bóg wprowadził nie nagroził Matki Marii ani przywróceniem i pomnożeniem zdrowia, mienia oraz dzieci, lecz dał jej nieśmiertelność. W tym względzie w pełni dorównała Hiobowi.

„Co porabia Tamara Kl. i jak się ma jej mąż?” – pyta Matka Maria Sofię Pilenko, zdradzając tym samym brak informacji o losie Tamary Klepininej i jej męża, czyli ojca Dmitrija Klepinina. „Nie chcę zadawać wielu pytań” – kontynuuje więźniarka, co należy odczytać jako zaprzeczenie: „Mam masę pytań i wszystko mnie interesuje, lecz znikąd nie nadchodzi nadzieja”. Stąd tak czytelne są ostanie zdania w grudniowym liście, z których wynika, że każdego dnia coraz słabszymi oczyma Matka Maria wypatruje listu i paczki z domu. „Nie martwcie się o mnie, wszystko jest w porządku” – brzmi teraz znacznie mniej przekonująco niż za pierwszym razem, zwłaszcza że pointa jest dramatycznie poetycka: „Я стала совсем трапой”, a więc „Zestarzałam się całkowicie”. Czy tak napisałaby 53-letnia kobieta, która wcześniej niejednokrotnie zapewniała o dobrym samopoczuciu i zdrowiu?

Nie ma w trzecim liście przesyłanych wcześniej pocałunków. Wyziera zaś z niego martwy krzyk samotnej mniszki, pozostawionej samej sobie i wyniszczającym ją chorobom. Miną kolejne długie cztery miesiące zanim Matka Maria napisze ostatni obozowy list do Sofii Pilenko. Będzie to list pożegnalny, chociaż obie kobiety same tego jeszcze nie podejrzewają.

¹⁵ Geоргий Лесzczenko, którego ojcem chrzestnym był Daniil Jermolajewicz Skobcow, uważa, że brak jest dowodów na to jakoby Jurij Skobcow zginął razem z ojcem Dmitrijem Klepininem w podziemnym obozie koncentracyjnym w Mittelbau-Dora pod Buchenwaldem. Dlatego Daniil Skobcow szukał jeszcze po wojnie syna, zamierzał nawet w tym celu udać się do ZSRR, lecz plan ów ostatecznie porzucił, najprawdopodobniej pod wpływem życzliwych nacisków przyjaciół z dawnego grona Matki Marii. Z kolei Dominique Desanti pisze, że Jurij cierpiał w Dora na czyraczność, która przerodziła się w sepsę, w związku z czym 6 lutego 1944 roku wywieziono go z obozu i do niego już nie powrócił. Dlatego, najprawdopodobniej, w spisie zmarłych więźniów w Dora nie figuruje nazwisko Skobcowa i na tej podstawie, myślę, ojciec zdecydował się na poszukiwania syna [zob. Десанти 2011, 179]. Z kolei ojciec Siergiej Hackel pisze, że syna Matki Marii wysłano w nieznanym kierunku jakoby na leczenie, lecz dopiero około 24 lutego 1944 [Hackel 2008, 160-161].

List 4.

Datowanie względne – wedle stempla poczty niemieckiej – 4 kwietnia 1944. Napisa-ny w języku francuskim w Ravensbrück. Podpisany inicjałami: MM. Przekład na rosyjski – Jelena Klepinina-Arżakowska [Кузьмина-Караваева Мать Мария 2001, 655].

Дорогая моя мама. Получила от тебя 3 посылки, деньги и письмо. Не посылай мне сигарет и ничего, что нужно варить. Масло, яйца и печенье прибыли совершенно свежими. Я так рада была получить от вас всех вести. Если б я могла только знать адрес Юры. Не посылай мне больше денег, у меня вполне достаточно. Я здорова и жду с нетерпением, когда увижу всех моих любимых. Скажи моим друзьям из церкви и другим, чтобы они мне что-нибудь прислали к Пасхе. Это будет для меня большой радостью, Что будет с православным Западом? Я благодарю тебя. Я мно-го думаю о том, как все будет дальше, где каждый будет оставаться, что будет с Юрой.

Пиши мне.

Komentarz

Zwrot inicjujący tekst – jak w liście trzecim: „Droga moja mamó”; oszczędniej niż w liście pierwszym, gdzie użyto formy „mamusiu”. Nareszcie Matka Maria może podzie-lić się z Sofią Pilenko dobrą wiadomością, otrzymała bowiem trzy paczki, pieniądze i list. W paczce musiały się znaleźć papierosy, które tak chętnie paliła mniszka, chociaż nie powinna, oraz produkty do samodzielnego przygotowania pożywienia. W Ravensbrück sytuacja była jednak podwójnie inna: tutaj nie istniały warunki do robienia posiłków we własnym zakresie, a ponadto i siły Matki Marii były o wiele słabsze w porównaniu z tymi sprzed początku uwięzienia w Romainville. By uspokoić Sofię Pilenko, córka zapewnia, że takie produkty, jak masło, jajka i wypieki dotarły całkowicie świeże, będzie więc z nich użytek. Czy tak było w rzeczy samej? Trudno dziś przesądzić.

Ale nie samym chlebem człowiek żyje, więc zaraz po podziękowaniu za otrzy-mane produkty żywnościowe następuje radość z powodu wiadomości, jakie nadeszły z Francji. Musiały do Matki Marii napisać różne osoby, nie tylko stara matka, ponie-waż Matka Maria pisze, że ucieszyły ją informacje otrzymane „od was wszystkich”. Ale w wiadomościach tych nikt nie napisał, co się dzieje z Jurijem, nikt nie podał jego adresu. Nikt być może nawet nie wiedział, że jedyny syn Matki Marii od dwóch miesięcy już najprawdopodobniej nie żyje. „Nie przysyłaj więcej pieniędzy, mam ich wystarczają-co” – zapewnia dalej córka, co można przyjąć, że rzeczywiście dysponowała dostateczną ilością pieniędzy, a być może chciała tym dać do zrozumienia, że z pieniędzy tych nie będzie w stanie zrobić właściwego użytku, więc bardziej się mogą one przydać w Paryżu niż w obozie.

Wiedząc, jak wielkie znaczenie dla Sofii Pilenko miały zawsze informacje na temat zdrowia Matki Marii, ta zapewnia, jak zwykle, swoją rodzicielkę, że jest zdrowa i że z niecierpliwością oczekuje na spotkanie ze swoimi bliskimi. Nie opuszcza jej więc jeszcze

nadzieja, która będzie w zastraszającym tempie maleć w marcowych dniach 1945 roku. Lecz teraz, na początku kwietnia 1944, przed zbliżającą się Paschą, rodzi się optymizm i myśl o rychłej odmianie losu. Z biografii Matki Marii wiadomo, że w czasie tej ostatniej w jej życiu Paschy, która wypadła 16 kwietnia 1944 roku, mniszka-więźniarka po raz kolejny sprzeciwiła się obozowemu regulaminowi i przyozdobiła okna swojego baraku wycinankami z dostępnego w Ravensbrück papieru. W obozach koncentracyjnych nie wolno było bowiem obchodzić żadnych świąt. Matka Maria prosi, by Sofia Pilenko przekazała jej przyjaciółom z cerkwi oraz innym znajomym, aby przysłali jej cokolwiek na Paschę. To „cokolwiek” jest wyrazem minimalizacji potrzeb i maksymalizacji ograniczeń: najważniejsze są wiadomości zza więziennych krat, stamtąd, gdzie nie dociera obozowa udreka.

Biorąc pod uwagę nieludzkie warunki, w jakich przebywała Matka Maria w Ravensbrück, musi dziwić jej troska o stan prawosławnego Zachodu, o losy Cerkwi na emigracji. „Co będzie z prawosławnym Zachodem?” – pyta retorycznie rosyjska mniszka, jakby przeczuwając głęboki kryzys moralny i egzystencjalny, który nawiedzi ludzkość w związku z okrucieństwami II wojny światowej. Dziękuje matce, jak się można domyślać, za wszystko. Zapewnia na koniec, że dużo myśli o tym, jak się sprawy ułożą w przyszłości, gdzie każdy będzie, co się stanie z Jurijem. Na te pytania Matka Maria nie uzyskiwała już odpowiedzi w korespondencji z Sofią Pilenko. Stęskniona kontaktu z najbliższymi i najbliższą z najbliższych, swoją matką, więźniarka nr 19263, kończy ostatni obozowy list prośbą: „Pisz do mnie”. Nie przekazuje tradycyjnych pocałunków, ma bowiem wciąż nadzieję, że na długie pożegnanie jest jeszcze za wcześnie.

Na tym kończy się obozowa korespondencja Matki Marii z Sofią Pilenko. W czerwcu 1944 roku rosyjska mniszka przeżyje podniosłe utworzenie drugiego frontu w Europie. By uczcić to wydarzenie, rozpocznie wówczas wbrew obozowemu regulaminowi wyszywanie na więziennej chuście scen poświęconych lądowaniu wojsk alianckich w Normandii. Z każdym miesiącem słabnie coraz bardziej, dopadają ją coraz to nowe zdrowotne dolegliwości. 10 stycznia 1945 roku skrajnie wycieńczona, chora na dyzenterię, trafia do obozu w Jugendlager, położonego około 1 kilometra od Ravensbrück¹⁶. Żywy trup wraca do obozu macierzystego 3 marca 1945, lecz wkrótce w jeszcze gorszym stanie trafia ponownie do Jugendlager, skąd po jednym dniu zostaje odesłana z wyrokiem

¹⁶ Obóz śmierci Jugendlager utworzono z myślą o przyspieszeniu zabijania więźniarek. Piece krematoryjne pracowały przez całą dobę. W obozie nie było ani jednej toalety. Panowała epidemia dyzenterii. Zimą, przy ujemnych temperaturach, więźniarki zmuszono regularnie do stania po pięć godzin na apelach co najmniej dwa razy dziennie, odebrawszy im uprzednio koce, palta, buty i pończochy. Z obozu wywieziono wszelkie lekarstwa. Racje żywieniowe zmniejszono radykalnie. Jedna czwarta talerza czegoś rzadkiego, co nazywano zupą, stanowiła rację całodzienną. Przydział chleba ze 150 gramów zmniejszono do 60. Celem administracji było zabicie każdej więźniarki. Obraz Matki Marii po powrocie 3 marca 1945 roku z Jugendlager do obozu w Ravensbrück pozostawiła potomnym współwięźniarka Inna Webster: „Zastygłam z przerażenia na jej widok: pozostały tylko kości i skóra, oczy ropiały, pachniała tym strasznym słodkawym zapachem, charakterystycznym dla chorych na dyzenterię [...] Po raz pierwszy zobaczyłam Matkę Marię załamana, ale była bardzo miła, potrzebowała – jak się wydawało – łaskawości i pomocy, gładziła moją twarz i ręce [...] «Inna, Inna [...] nie będziemy się już rozstawaly... ja przeżyję. Ty jesteś z granitu, Ty mnie wyciągniesz». Zadawałam sobie pytanie: Co może zrobić ten ‘granit’?» [Hackel 2008, 173].

śmierci. 31 marca 1945 roku, w Wielką Sobotę, Matka Maria trafia do komory gazowej, poświęcając własne życie za życie innej więźniarki¹⁷. Tak świadomie kończy ziemski żywot, na wieki łącząc się z Tym i z tymi, których najbardziej kochała.

Wnioski

1. Istnienie listów świadczy o tym, że była formalna możliwość ich pisania w warunkach więziennych i wysyłania za pośrednictwem poczty obozowej.

2. Datowanie listów przyjęte w źródłach nie musi się pokrywać z rzeczywistą datą ich powstania. Trzeba bowiem uwzględnić funkcjonowanie reguł poczty obozowej i ewentualność zbierania listów na przykład z całego lub kilku tygodni, by przesyłać je hurtem. Trzeba też uwzględnić opóźnienia powodowane wewnętrzną perlustracją, co również wydłużało drogę listu od nadawcy do odbiorcy. Jedynie pocztówka (list 2) ma datowanie oryginalne, nakerśnione ręką Matki Marii, wszystkie inne datowania są względne i wskazują na wcześniejsze sporządzenie korespondencji w porównaniu z rzeczywistym momentem jej wysłania.

3. Wszystkie analizowane listy powstały w okresie uwięzienia Matki Marii w niemieckich obozach koncentracyjnych w latach 1943–1944, przy czym pierwsze dwa zostały napisane w Forcie Romainville, a dwa w Ravensbrück. Brak jest jakiegokolwiek korespondencji Matki Marii do Sofii Pilenko z ostatniego okresu pobytu zakonnicy w obozie zagłady w Ravensbrück, tj. od 1 stycznia do 31 marca 1945 roku, co wynika najprawdopodobniej z bardzo złego stanu zdrowia Matki Marii, uniemożliwiającego własnoręczne napisanie listu. Nie bez znaczenia mogły też być ograniczenia natury piśmienniczej, jak brak papieru i środka piszącego.

4. Występuje wyraźna dysproporcja między częstotliwością listów pisanych przez Matkę Marię w Romainville a Ravensbrück. Od ostatniego listu z Ravensbrück, datowanego 4 kwietnia 1944, do chwili śmierci Matki Marii w obozie zagłady 31 marca 1945 minął prawie rok. Zapewne był to czas dojmującego głodu informacyjnego, który mógł pogłębiać złe samopoczucie Matki Marii i źle wpływać na i tak już mocno nadszarpnięte zdrowie.

5. Wszystkie listy zostały napisane w językach obcych: francuskim (3) i niemieckim (1); żaden – po rosyjsku. Wybór języka nie był przypadkowy: Matka Maria pisała po francusku i po niemiecku, by przez „jawność języka” osłabić czujność wewnętrznej cenzury obozowej i donieść w ten sposób możliwie największą ilość informacji do adresatki. Sofia Pilenko знаła styl własnej córki i potrafiła czytać między wierszami. Trzeba także pamiętać, że zasady korespondencji obozowej były ściśle określone. Sprowadzały się do tego, że listy powinny być napisane w języku tego państwa, które podpisało konwencję genewską z 27 lipca 1929 roku o postępowaniu z jeńcami wojennymi, czyli przede

¹⁷ Według o. Siergieja Hackela: „Podjechały ciężarówka, żeby zabrać kobiety. Rozkazano, żeby nie brać żadnych rzeczy. Matce Marii kazano zdjąć okulary. «Kiedy zaprotestowała, że bez okularów nic nie widzi, zabrano jej okulary siłą». Ostatni raz zawieziono ją do Jugendlager. Wcześniej ledwo stała na nogach, teraz już tylko pełzała” [Hackel 2008, 176–177].

wszystkim w języku angielskim, francuskim i niemieckim, lecz nie rosyjskim, ponieważ ZSRR danej konwencji nie podpisał [Art. 35-41, data dostępu: 7.04.2014]. Dlatego Matka Maria pisała swoje listy po francusku i po niemiecku, tylko raz umieściwszy w końcu jednego z listów zdanie w języku rosyjskim, ryzykując zatrzymanie korespondencji przez obozową cenzurę.

6. Zawartość semantyczna listów potwierdza pełnię władz umysłowych Matki Marii i jej trwanie do ostatnich chwil w najgłębszej pokorze i nadziei na miłosierdzie Boże, które stało się dla przyszłej świętej jedynym duchowym sposobem na przetrwanie w nieludzkich warunkach.

7. Nie ma w obozowych listach Matki Marii miejsca na wyrafinowaną kompozycję i retorykę. Literackość wyparło pragnienie podzielenia się z rodziną wiedzą o obozowej egzystencji – dniu powszednim i potrzebach żywieniowych. Literackość ustąpiła także miejsca niepokojowi przede wszystkim o los jedynego syna Jurija i życie sędziwej matki, Sofii Pilenko. Zgodnie z wymogami obozowymi listy powinny być napisane BARDZO czytelnym pismem. W zawartości listów nie powinny się były znaleźć żadne dziwne zwroty i wyrażenia, natomiast wielkość listu nie powinna przekraczać określonej liczby stron: najczęściej 1–1,5 strony. Po etapie cenzury każdy list był zaopatrywany w stempel obozowy z numerem obozu i jego adresem. Wysyłka listów zajmowała się kancelaria obozowa¹⁸.

8. Pod obozowymi listami widnieją inicjały „MM”, czyli Matka Maria (мать Мария). Podpis ten jest zgodny z wcześniejszym zwyczajem Matki Marii, która w ten sposób oznaczała swoją korespondencję prywatną i świadczy o autentyczności listów.

Zapytajmy na koniec o to, co najbardziej w sensie emocji uniwersalistycznych wyziera zza obozowych liter – nadzieja czy rozpacz? A może raczej budząca się – coraz pełniej i znajdująca coraz częściej potwierdzenie w obozowym życiu – świadomość odchodzenia od wrazenia przejściowości losu, jakie pojawiło się, zapewne, w pierwszych miesiącach przebywania Matki Marii w obozie koncentracyjnym w Romainville, na rzecz świadomości, pogłębionej pobytem w Ravensbrück, o przebywaniu w śmiertelnej obozowej pułapce i konieczności dokończenia życia przez więźniarkę nr 19263 całkowicie inaczej, niż by tego chciała i planowała? Życiowy finał dokonał się świadomie w komorze gazowej, oferując za cierpienie i miłosierdzie wieczną nagrodę w niebie¹⁹. „Увезли немцы мать Марию, о. Дмитрия, Юру, и хотя война прекратилась, но с ними исчезло что-то светлое, любящее и доброе и наступил у людей мрак, злоба, ненависть, суды, ругань, вообще мракобесие. Дай, Боже, всем опомниться и да вернет Господь Милосердный мир душам нашим” [Мать Мария (Скобцова) 2004, 81] – tak o czasach okupacji i latach po niej mówiła Sofia Pilenko. Jej słowa zachowują swoją ważność do dzisiaj. Jest w nich to samo przesłanie macierzyńskiej troski o cały świat, które wcześniej pozostawiła ludziom Matka Maria.

¹⁸ Za wszelkie uściślenia na temat zasad korespondencji obozowej związanej z Matką Marią dziękuję Pani Kseni Kriwoszejn z Paryża, niestrudzonej badaczce życia i twórczości rosyjskiej mniszki.

¹⁹ Matka Maria została kanonizowana 16 stycznia 2004 roku. Wspomnienie Jej święta Kościół Prawosławny obchodzi 20 lipca.

Bibliografia

- Art. 35–41 *Sekcji IV. O stosunkach jeńców wojennych nazewnałtr* // *Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych*, podpisana w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. i ratyfikowana przez RP zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r., DzU 1932, nr 103, poz. 866; URL: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19321030866> [data dostępu: 7.04.2014].
- Hackel S., 2008, *Matka Maria (1891-1945)*, tłum. H. Paprocki, Białystok, Fundacja OIKONOMOS, Gdańsk: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska.
- Ojcewicz G., 2013, *O filologii śledczej, czyli tajemnica śmierci Gajany Kuźminej-Karawajewej – córki św. Matki Marii // Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej*, red. Wojan K., Konefał E., Gdańsk, 239-257.
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych*, 1990, opr. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa.
- Słownik rodzajów i gatunków literackich*, 2006, red. Gazda G., Tyniecka-Makowska S., Kraków.
- Варшавский В., 1998, *Незамеченное поколение // Русский Париж*, red. Буслакова Т.П., Москва.
- Васильева А., *Париж, улица Лурмель, 77*, <http://mere-marie.com/life/parizh-ulitsa-lurmel-77/> [21.05.2014].
- Десантис Д., 2011, *Встречи с матерью Марией: неверующая о святой*, пер. и перераб. Т. Викторовой, Санкт-Петербург.
- Кузьмина-Караваева Е. Мать Мария, 2001, *Равнина русская. Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии, художественная и автобиографическая проза. Письма*, Санкт-Петербург.
- Мать Мария (Скобцова), 2004, *Красота спасающая. Живопись, графика, вышивка*, автор-составитель К.И. Кривошеина, Санкт-Петербург: Искусство – Санкт-Петербург.
- Мать Мария, 1947, *Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк*, Париж.

Summary

“THE ONLY THING THAT SADDENS ME IS THE THOUGHT OF YOUR SORROW.” LETTERS FROM THE CONCENTRATION CAMP WRITTEN BY MOTHER MARIA (ELIZAVETA SKOBTSOVA) TO HER MOTHER

This article analyzes four letters sent by Mother Maria (Elizaveta Kuzmina-Karavayeva, Skobtsova by marriage) to her mother Sofia Pilenko during the Second World War. Two of those letters were written in Fort Romainville, a Nazi concentration camp located in France and the other two in Ravensbrück, a concentration camp in Germany. The letters are not only a document of their era but also an important link in the process of discovering biographical details describing one of the most difficult periods of the future saint's life and the inhumane conditions she had experienced before she died in a gas chamber. The letters written by Mother Maria in a cryptic way illustrate everyday life in the camp and express her worries about the fate of her loved ones, especially her son Yuri Skobtsov, arrested by the Gestapo and incarcerated in the concentration camp with his mother. The letters also describe her concerns about her mother, Sofia Pilenko, who due to old age and deep emotional bond with her daughter experienced a lot of distress during their separation and lost her hope for the improvement of their fate.

Ewa Pańkowska

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku

МЕЖДУ ПОСТМОДЕРНИЗМОМ И «НОВЫМ РЕАЛИЗМОМ»: ЛЕЙТМОТИВЫ В ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА И ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Key words: freedom, escape, Buddhism, cruelty-violence, rebel

Эстетический плюрализм, воздействие друг на друга и скрещивание различных направлений и течений, появление пограничных зон и новых художественных феноменов, тенденция к межжанровости и полижанровости, плюрализм языков, моделей, методов, причем в одном произведении – это, несомненно, характерные приметы развития современной русской литературы [Скоропанова 2014]. Таким образом, «духом времени» может быть названо именно явление взаимопроникновения и преодоления замкнутости отдельных направлений, и в итоге возникновение своего рода «литературной радуги» [Иванова 2007], живого, но небесконфликтного, диалога писательских поколений и индивидуальностей, в котором наблюдаем разнообразие, разнородность художественных инициатив.

Как заметил критик и литературовед Сергей Чупринин: «и реализм, и натурализм, и концептуализм, и постмодернизм, и другие *измы* рассыпались на писательские индивидуальности. (...) Частное возвысилось над общим... Книги стали важнее и интереснее тенденций» [Чупринин 1997, 207]. Писательские индивидуальности наделены правом самореализации, возможностью в той или иной степени путем собственных творческих поисков и усилий воздействовать на ход литературного развития, не принося присяги верности какому-либо направлению, группе, школе [Современная русская литература конца XX – начала XXI века 2011, 19].

Из числа самых ярких, самых популярных (не только в России, но и за ее пределами), самых обсуждаемых современных писательских индивидуальностей мы выбрали Захара Прилепина, представителя «нового реализма», и Виктора Пелевина, которого исследователи чаще всего относят к постмодернистскому направлению,

хотя необходимо подчеркнуть, что в целом творчество этого прозаика с трудом поддается классификации [Некрасов 1999, 67]. Литературоведы указывают также на «пристрастие» Пелевина к фантастическому реализму, связь с «киберпанковским стилем», с интернетовской сетлитературой, сюрреализмом, постреализмом (синкретическим образованием, включающим реалистическую и постмодернистскую традицию), что только подтверждает вышеупомянутый тезис об эпохе литературной эклектики.

Объектом данного исследования является художественная стратегия именно этих авторов, так как, по нашему мнению, несмотря на многие расхождения в эстетическом и идеологическом планах, совершенно другой писательский стиль, между литераторами намечаются некоторые параллели. Их соединяет, например, восприимчивость к проблемам современной России и ее жителей, а также наличие героя, который не принимает сложившийся за окном мир («постсоветский порядок», политическую систему). Цель нашей работы заключается в выявлении на материале романа Пелевина *Чапаяв и Пустота* (1996) и романа Прилепина *Санька* (2006) основных черт созданных писателями мужских персонажей. Пелевинского героя условно предлагаем назвать «правдоискателем-беглецом», а Прилепинского – «воином-действителем». В настоящей статье мы сосредоточим внимание на важных в творчестве писателей мотивах¹: у Пелевина это – «плен ума»-свобода, у Прилепина – насилие-жертвенность.

Пелевин, несомненно, является одной из ключевых фигур современной российской словесности. Автор-невидимка², мистификатор, посеявший сомнения в реальности собственного существования, культовый писатель, «фантазирующий летописец» постсоветской эпохи³, один из самых рафинированных интеллектуалов современности, публицист, философ, зеркало русской литературной традиции – это лишь некоторые характеристики, определяющие статус и место прозаика в современной культуре [Переслегина 2011, 504].

Критики-законодатели сразу отнесли творчество Пелевина к промежуточной зоне между массовой и „настоящей” литературой [Сушилина 2001]. Многие упрекают писателя в упрощенности текстов, рассчитанных, по их мнению, исключительно на нетребовательного «потребителя» [Сиротин 2012], подчеркивая при этом, что Пелевина совсем не интересуют нравственные вопросы, и в результате

¹ Следует добавить, что в контекст произведений обоих авторов органически вписан образ дороги-пути, столь характерный для русской литературы. Это символ, вобравший в себя множество значений: жизни, судьбы, смерти, поиска истины, поиска идентичности как отдельной личности, так и национальной идентичности [Прохорова 2013, 197].

² Несмотря на большие тиражи и культовый статус, факты биографии и характер Пелевина практически никому не известны, так как писатель воздерживается от контактов с прессой.

³ Произведения Пелевина являются своеобразным источником сведений о современной России и ее жителях, а в более широком плане о современном мире. В них содержится постмодернистский комментарий к важнейшим событиям постсоветской России: Пелевин намекает, например, на: штурм Белого дома в октябре 1993 г. (это событие расценивается как попытка России двинуться по западному пути развития), августовский кризис 1998 г., усиление роли ФСБ в бизнесе в 2000–2002 годах, протестные выступления 2011–2012.

он создает нечто «хулиганское», «наплевательское», очень легкое и свободное [Гетманский 2014]. Другие исследователи, в свою очередь, назвали писателя «русским Борхесом» [Генис 1994], для некоторых Пелевин оказался единственным, кто мог претендовать на роль своеобразного наследника Гоголя и Булгакова [Берхин 2014], преемника линии социальной сатиры. Таким образом, открытым до сих пор остается вопрос, кто Пелевин на самом деле – талантливый писатель-мыслитель или хитроумный «шарлатан» [Гурин 2014], неутомимый литературный работник, «бестселлермакер-ремесленник» [Немзер 2014], которому все время успешно удается подогревать интерес читателей.

«Пелевин, конечно, учитывает запросы массового читателя, использует тематический материал и технику популярной, массовой культуры⁴, но одновременно интертекстуальностью, полидискурсивным характером своей прозы⁵ апеллирует к самой искушенной аудитории⁶. Писателю в какой-то степени удалось, согласно основным предпосылкам постмодернизма⁷, снять извечную оппозицию между высокой, элитарной и массовой, развлекательной литературами. Как справедливо замечает исследователь новейшей русской литературной эпохи, Михаил Эпштейн: Пелевин – это не массовая и не элитарная литература, а литература взаимного подстрекательства массы и элиты. Благодаря Пелевину происходят чудеса социально-психологической трансмутации: массовый читатель чувствует себя удостоенным элитарных почестей, посвященным в намеки и перемиги избранных, – а элитарный читатель присоединяется к массам, жаждущим чуда и откровения, пусть даже в самой дешевой или нарочито удешевленной упаковке (чем дешевле упаковка, тем по контрасту драгоценнее содержимое)» [Эпштейн 2004].

Особую роль играют в текстах Пелевина формы художественной условности, приемы сатиры, гротеска и пародии, ирония (чаще всего сатирическая), гипербола⁸. Литературовед Ванда Супа указывает, что в произведениях писателя налицо примеры комической абсурдизации действительности и философской мысли из разных систем. Уместно здесь подчеркнуть, что у Пелевина абсурд становится неизменным

⁴ Например, в романе *Священная книга оборотня* (2004) Пелевин использует мотив вервольфа, один из наиболее распространенных мотивов в голливудском кино. Одновременно Пелевинские оборотни существенно отличаются от аналогичных киноперсонажей. Это не опасные, безжалостные хищники, они намного умнее людей. В романе это люди представлены примитивными существами, наделенными порой избыточной и ничем не оправданной склонностью к насилию.

⁵ Творческий метод Пелевина соединяет в себе художественность, философичность, социологизм.

⁶ См.: «Двойное кодирование» [Ильин 2001].

⁷ Одним из первых программных манифестов постмодернизма считается статья Лесли Фидлера *Пересекайте границы, засыпайте рвы*, опубликованную впервые в декабре 1969 года в журнале «Плейбой».

⁸ Для произведений писателя характерен своеобразный колеблющийся градус серьезности. Сергей Корнев определил это как «игру на грани стеба», то есть когда остроумно, но парадоксально, когда не ясно, говорят ли это всерьез, или это издевательство, пародия или даже пародия на пародию, или проповедь идеи под видом издевательства над ней. Таким образом, читатель вынужден мобилизовать все свои интеллектуальные ресурсы, чтобы хотя в некоторой степени понять, что имел в виду автор, и самостоятельно оценить серьезность и значимость высказываемых автором мнений [Корнев 2014, *Столкновение пустот...*].

свойством и элементом повседневного мира: и пропитанной фальшью советской реальности, и постсоветской с вездесущей рекламой, содержание которой ни в коем случае нельзя соотносить с правдой, нравственностью, духовными ценностями [Supa 2011, 124–125].

Пелевин недоволен властью, той, что есть, той, что была и, наверное, той, что будет. Соответственно, в его произведениях мы найдем критику советской власти и сатиру на ушедшую эпоху, критику существующего строя и сатиру на героев современной российской политической сцены⁹, а присутствующий в произведениях Пелевина фантастический элемент открывает большие возможности для сравнительно безболезненного (в литературном смысле) внедрения в текст актуального политического «мессиджа» [Иванова 2006]. Например, в романе *Священная книга оборотня* ситуацию в России метко комментирует мифическое существо – лиса-женщина А Хули:

«Реформы (...) идут здесь постоянно. (...) Их суть сводится к тому, чтобы из всех возможных вариантов будущего с большим опозданием выбрать самый пошлый. Каждый раз реформы начинаются с заявления, что рыба гниет с головы, затем реформаторы съедают здоровое тело, а гнилая голова плывет дальше. Поэтому все, что было гнилого при Иване Грозном, до сих пор живо, а все, что было здорового пять лет назад, уже сожрано» [Пелевин 2004, 102].

Ярчайшими приметам творчества прозаика являются, типичные для постмодернистского письма, игровой характер, интертекстуальность, монтаж несопоставимых дискурсов, но одновременно в его текстах содержится учительность – черта русской классической литературы. Эти элементы синтеза свидетельствуют о поиске автором новых путей, противоположных деконструкции постмодернизма. «Учительность» прозы Пелевина прежде всего связана с буддизмом. Писатель гармонично вводит в свои произведения буддистский дискурс и обращается к буддистскому пониманию свободы – свободы ума, которая обозначает полное освобождение от любых обусловленностей, любых субъективных эмоциональных и психологических предвзятостей. Пелевин пытается привести читателя к мысли о том, что из жизненного тупика, в котором оказался современный человек¹⁰, все-таки есть выход. Согласно концепции прозаика, этот выход заключается именно в освобождении от рационализма и интуитивном проникновении в природу вещей, другими словами, в духовном развитии и внутреннем просветлении (самопознании), которое в дзен-буддизме называется «сатори» [Дитковская 2010]. Следует подчеркнуть, что во многих работах Пелевина центральной является именно эта идея освобождения сознания и достижения героями высшего уровня развития своего Эго, т.е. этапа, на котором они в состоянии понять и выразить себя [Макеева 2014].

⁹ Политизированность, столь несвойственную западному постмодерну, можно отнести к отличительным особенностям постмодернизма в России [Маньковская 2000].

¹⁰ В текстах Пелевина мы найдем сатиру на современное общество потребления, обличение торжества материальности над духовностью.

Для того, чтобы обрести просветление (постичь истинную сторону вещей), Пелевинский герой выбирает «уход-исчезновение» – путь деконструкции привычных представлений о мире и человеке. Условно его можно назвать «ушельцем» (или «беглецом»), так как он декларирует полный отказ от участия в жизни общества. Он любой ценой стремится вырваться из плена социальных условностей и форм и одновременно прорваться к основным законам, которые скрыты за ликом материального мира. Мы имеем дело со своеобразным духовным эскапизмом – бегством от жизни, отказом от ложной видимости (в поисках истины), попыткой освободиться от чужих иллюзий¹¹ [Макеева, Нагорная].

Одной из форм эскапизма является бегство в болезнь, т.е. «спасение» в безумии от еще более безумного мира [Лихина 1997]. Такой «побег» совершает, например, заглавный герой романа *Чапаев и Пустота* (1996). В потоке продолжающихся социальных, исторических катаклизмов¹² герою не удается найти свое настоящее «я» [Шевченко 2002, 256]. Интеллигент, художник (поэт), Петр Пустота, недоволен окружающим миром – «новорусским периодом», и поэтому бежит от фантома первоначального накопления капитала¹³. Сначала молодой человек бежит в психбольницу (Петр страдает раздвоением личности и в бреду считает себя комиссаром легендарного Чапаева¹⁴), а потом в некое метафизическое пространство – во Внутреннюю Монголию (в другое измерение)¹⁵, где обретает последнюю свободу, сходную с буддистским освобождением от пут материального мира и бремени личности [Липовецкий 2008, 419]. Пелевинский герой в силу склада своего ума, склонности к рефлексии становится как будто «лишним», он не «стадный», не массовый, наоборот – он личность-исключение из своего поколения [Иванова 2014], так как сопротивляется массовизации и унификации, «борется» со стереотипами массового сознания, навязываемыми индивидууму масс-культурой. Пелевин создает образ нестандартной личности, по словам литературоведа Дарьи Зарубиной, «куль-

¹¹ Устойчивыми для пелевинского художественного мира компонентами оказываются буддистский тезис „мир – это только мое впечатление“ и мотив симулятивной природы реальности. Писатель указывает, что человеку часто это „впечатление мира“ навязывают, заменяют его чужим, а человек этого не осознает [Макеева 2014]. Понятие реальности у Пелевина множится: во-первых, это реальность будничная, имеющая симулятивный характер (автор обращается также к понятиям „гиперреальности“ или „сверхреальности“, которую воспроизводят телевидение, реклама), во-вторых, реальность потусторонняя, тоже иллюзорная и галлюцинаторная по сути, в-третьих, единственно подлинная внутренняя реальность индивидуального сознания [Нагорная 2007].

¹² В романе представлена Россия переломных эпох: 1918–1919-й и 1990-е годы. Изображены времена, когда жизнь утрачивает свои гармоничные законы, когда во всем царствует исключительно хаос.

¹³ Петр не принимает борьбу за деньги или социальный статус как цель своей жизни. Он не хочет стать «новым русским» (бизнесменом, членом общества «духовной пустоты»), поэтому вместо «неподлинного» существования в рамках общественной структуры, гарантирующего деньги, комфорт, он выбирает «подлинное» существование вне ее: самопознание и умение жить собственной жизнью, которая обладает внутренним смыслом, а не связана с внешней целью, подсказанной другими [Корнев 2014, *Блюстители дихотомий...*].

¹⁴ Пелевинский Чапаев – мудрец, гуру, учитель духовного освобождения. Имя легендарного командира «фаршируется» новыми смыслами.

¹⁵ Это можно сопоставить с достижением полноты и гармонии собственного существования, т.е. с вхождением в состояние Нирваны.

турно одаренной» личности, находящейся в состоянии выбора между культурой и цивилизацией, т.е. между духовностью, свободой, чувством, уникальностью¹⁶ и модой, стремлением к комфорту, к всеобщему равенству, доходившему до утраты личностных особенностей [Зарубина 2007]. Пелевин в своих произведениях возражает против всякого рода средств и способов манипулирования сознанием, против порабощения и превращения человека в пустую оболочку без идентичности¹⁷. Он критикует и современного человека-потребителя, который без сопротивления подчиняется «рекламно-телевизионной магии». Главный герой романа *S.N.U.F.F.* (2011), Демьян-Ландульф Дамиллола Карпов замечает: «я [...] просто свободный неангажированный человек, привыкший обо всем на свете думать своей собственной головой» [Пелевин 2011]. Это предложение можно считать сжатой характеристикой «положительных» Пелевинских героев-беглецов, индивидуалистов¹⁸.

Захар Прилепин: писатель, журналист, политик, общественный деятель, телеведущий, актер, музыкант – фигура на российском литературном небосклоне заметная¹⁹ и противоречивая. Его прозу высоко оценивают читатели, критики [Бондаренко 2004], но и коллеги-писатели²⁰. Резкая критика современной российской власти (открытая антипутинская позиция), выраженная Прилепиным как в публицистике, так и в художественных текстах²¹, сначала сделала его кумиром многих россиян, но в дальнейшем демонстративный антилиберализм писателя настроил против него либеральную общественность.

Как подчеркивает сам автор: «люди чувствуют отсутствие позы, игры, и это влияет на успех моих книг»²². Своим первым романом *Патологии* (2004), написанным на материале чеченской войны, Прилепин действительно заявил о себе не как писатель-интеллектуал, щедрый на вымысел, экспериментирующий

¹⁶ Как констатирует филолог и критик Марк Липовецкий, Пелевин с самых ранних текстов исследует именно индивидуализированные или стремящиеся к личностному самоопределению сознания [Липовецкий 2008, 420].

¹⁷ Отсюда внимание писателя к разным формам зомбирования сознания: к феномену идеологии, рекламы, возможностям компьютерных технологий [Скоропанова 2002, 433.]

¹⁸ Совершенно другой жизненный путь выбирает герой романа *Generation 'П'* (1999) Вавилена Татарский, литератор, который в постсоветскую эпоху превращается в «криэйтора» рекламных текстов и концепций. Он не «беглец», наоборот, он целиком и полностью принадлежит российской реальности конца XX века. Пелевин доказывает, что это ложный выход. Татарский проходит путь возвышения до главы некоего тайного ордена Гильдии Халдеев, поставляющей России симулятивную реальность (мир телевизионных фикций), но в конечном счете его самого замещают таким же симулякротом – массмедийным продуктом.

¹⁹ В отличие от Пелевина Прилепин стал одной из основных медийных фигур в современной литературе: он легко находит контакт с собеседником, охотно дает интервью, лицо писателя появляется на телеэкранах, во всевозможных глянцевого изданиях, в фотосессиях для журналов того же рода [Гликман 2011].

²⁰ На интернет-сайте Прилепина помещены позитивные, а иногда даже восторженные отзывы о его творчестве литераторов противоположных эстетических и идеологических конфессий, в том числе и Пелевина.

²¹ Прилепин неразделимо соединяет литературное творчество с позицией политического протеста [Липовецкий 2012].

²² «Вы все будете меня ненавидеть, а я напишу такие книги, что не признать меня вы не сможете». Интервью с Захаром Прилепиным.

и играющий со словом²³ (отвергая тем самым постмодернистские стратегии), но во-первых как очевидец (автор принимал участие в боевых действиях в Чечне и в 1996-м и 1999-м годах), рассказывающий о «справде жизни», во-вторых как писатель из народа – человек «из глубинки» [Латынина 2007]. Прилепин ориентируется на эстетику традиционного «критического реализма»²⁴, использует также некоторые приемы коммерческой, массовой культуры. Например, в романе *Санька* (2006) при изображении «революционного экшна», т.е. сцены расправы современных революционеров с политическими противниками, революционно-романтическая взволнованность стиля сочетается со стилистикой голливудского боевика [Костырко 2006]. В романе *Черная обезьяна* (2011), в свою очередь, писатель прибегает к элементам фантастики и гротеска. Он включает в произведение вымышленно-историческую новеллу об армии детей-убийцев, которая штурмом берет условный средневековый город. Никто не в состоянии противостоять этим малолетним жестоким существам, не знающим ни жалости, ни страха смерти [Басинский 2011]. Вообще мир, описываемый в этом романе, отвратителен: грязь, пьянство, запустение, бедность, одичание, полное равнодушие к чужой боли и вездесущая жестокость [Латынина 2011], повседневное насилие. Этот мир как будто заражен насилием, как будто зверское насилие становится или, к сожалению, уже является социальной нормой, вписанной в «народный» быт.

Мотив жестокости и насилия является очень важным в творчестве Прилепина. В романе *Патологии* писатель изображает будничность войны и пытается объяснить механизм взаимной жестокости, жестокости обеих сражающихся сторон, причем жестокости, иногда совершенно неоправданной. Прилепин наглядно показывает, как насилие умножает насилие, как атмосфера страха и стремление выжить любой ценой ведет к озверению людей, а в итоге – и к военным преступлениям (бессудным расстрелам) [Латынина 2011].

Сценами насилия переполнен также роман *Санька*. Его сюжет связан с деятельностью участников леворадикальной молодежной организации «Союз созидающих». Вопреки названию, деятельность «союзников» носит не столько созидающий, сколько откровенно экстремистский, разрушительный характер. «Союзники» ненавидят всех, кто в России представляет «лживую» власть, всех, кто служит «гадкому, нечестному, неумному»²⁵ государству [Прохорова 2013,

²³ Каламбуры, игра слов, литературные ребусы – это неотъемлемая часть пелевинского повествования. Писатель работает с языком, в котором разнообразные, иногда чужеродные, дискурсы смешались неразделимо и соединились в «чудовищные» гибридные конструкции, например: теологическая беседа на жаргоне уголовников в романе *Чапаяв и Пустота*. [Липовецкий 2008, 412].

²⁴ Произведения Прилепина непосредственно отсылают к литературе XIX/XX веков (напр., к творчеству Ф. Достоевского, Л. Толстого, М. Горького, А. Солженицына). Как замечает А. Латынина, писателю не только слово «реализм» нравится, но он и ничего не имеет против «социалистического реализма». «Это моя литература, (...) она мне близка и понятна. Я вообще советский человек по большому счету» [Латынина 2007].

²⁵ Главный герой романа рассуждает: «Гадкое, нечестное и неумное государство, умерщвляющее слабых, давшее свободу подлым и пошлым, – отчего было терпеть его? К чему было жить в нем, ежеминутно предающем самое себя и каждого своего гражданина?» [Прилепин 2006].

196–197]. «Союзники» стремятся совершить «справедливую» революцию и дать счастье «простому народу». В *Саньке* Прилепин создает социально-психологический тип современного молодого бунтаря, революционера, ненавидящего мир социальной несправедливости: существующий строй, общество потребления с его социальным расслоением²⁶. Главный герой романа, Александр Тишин вместе со своими друзьями-«союзниками»²⁷ борется с лицемерием, подлостью действующей власти²⁸, с одной стороны, и с общественной апатией, с «погруженными в спячку» оппонентами-интеллектуалами – с другой. Осознание морального превосходства над «людьми власти» и полная, бескомпромиссная уверенность в собственной правоте (правоте, которая не требует доказательств)²⁹ дают Тишину и его соратникам ощущение права на действие и на применение жестокости как реакции на несправедливое насилие со стороны стражей государства (милиции, представителей органов безопасности)³⁰. Однако постепенно Саша как будто запутывается и в своих взглядах, и в «борьбе за справедливость». Молодой человек начинает превращаться, в сущности, в преступника, готового грабить, разрушать и даже убивать за идею. Необходимо при этом подчеркнуть, что в герое есть немало детского: нешуточная взрослая жесточенность сочетается в нем с детской неготовностью видеть последствия совершаемых им поступков и детской верой в чудо сильной руки командира-революционера («современного Чапаева»), который одним своим появлением заставил бы врага в страхе бежать и тем самым освободил бы Россию, восстановил справедливость [Прохорова 2013, 197–198]. Можно констатировать, что поведение Тишина пропитано «разрушительным патриотизмом»³¹, но прежде всего стремлением к гибели и желанием доказать себе и другим, что он готов принять страдания³² и смерть. Складывается впечатление, что идеалом этого борца за социальную справедливость является не победа, не новое, справедливое общество,

²⁶ Действие романа происходит в начале 2000-х годов.

²⁷ Следует заметить, что герой Прилепина во многом автобиографичный, обладающий прилепинским опытом, выражающий авторские взгляды. Писатель не затушевывает, а наоборот подчеркивает, например, что прототипом для «Союза созидающих» послужила запрещенная в России Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова, а сам Прилепин состоял в этой партии [Костырко 2006].

²⁸ Государство и органы власти воспринимаются Сашей как бесовская злая сила, от которой Россию любой ценой надо освободить [Прохорова 2013, 198].

²⁹ Тишин заявляет: «Ни почва, ни победа, ни справедливость – ничто из перечисленного не нуждается в идеологии (...). Все, что есть в мире насущного, – все это не требует доказательств и обоснований. Сейчас насущно одно – передел страны, передел мира – в нашу пользу, потому что мы лучше» [Прилепин 2006].

³⁰ Саша уверен, что спасти Россию и вернуть ей чувство собственного (национального) достоинства и справедливость способна лишь новая революция, а ведь революция не обходится без крови, без жертв, без насилия. Поведение и взгляды Саши вызывают некоторые ассоциации с мыслью Раскольникова о великой цели, оправдывающей любые средства [Сухих 2008, 293, 295, 296].

³¹ Это жажда разрушения всего, что ассоциируется с властью, правительством, нечестным государством. «Союзники» бьют витрины дорогих магазинов крушат «макдональдсы», поджигают автомобили.

³² Саша готов пожертвовать своим телом и своей душой. Он вполне отдает себе отчет в том, что готовность пролить чужую кровь делает его «проклятым», но ради родины он на это готов [Сухих 2008, 294]. Духовная опустошенность героя представлена Прилепиным как закономерная жертва – неопровержимое доказательство любви к России.

а борьба и героическая смерть³³. Он сознательно выбирает путь самоуничтожения ради демонстрации протеста и ищет героической смерти. В Прилепинском революционере сочетаются присущие молодости максимализм, любовь к крайностям, мятежное, анархическое начало, стихийность [Прохорова 2013, 197–198]. Именно поэтому бунт становится для него формой существования, вне бунта он как будто не может жить [Беляков 2006]. Идеология Прилепинского «воина» располагается на уровне инстинктов, эмоций, а не сознания [Липовецкий 2012]: «В наше время идеологичны... инстинкты! Моторика! Интеллектуальное менторство устарело, исчезло безвозвратно» [Прилепин 2006]. Прилепинский бунтарь выбирает тактику своеобразного «бездумья»³⁴, так как она избавляет личность от мук сомнения, от труда и голода выяснения [Пустовая 2009], заглушает противоречащий доводам разума и ненависти «голос сердца» [Сухих 2008, 294], зато предоставляет такие стимулы к действию, которые не требуют никаких обоснований [Пустовая 2009].

Как замечает М. Липовецкий, в *Саньке* насилию Прилепиным придается дополнительное значение. Насилие становится самым сильным, болезненным, страшным, но необходимым проявлением витальности. С такой точки зрения понятно, что желание участвовать в стихии разрушения, которым горят «союзники», является главным доказательством их жизнеспособности, активности. Герои увлекают необычной энергией, силой своей натуры, но одновременно отталкивают проявлениями этой силы [Гликман 2011]. Используемые «союзниками» «насильственные приемы» сопротивления власти ничем не отличаются от приемов органов той же власти. В «сражении» обе стороны отличаются жестокостью – здесь не действуют ни сдерживающая сила закона, ни нравственные барьеры: порядочность, милосердие, сострадание [Прохорова 2013, 197]. В итоге «трудно увидеть принципиальное различие во „властной ментальности“ нынешних и будущих „хозяев страны“» [Костырко 2006], и это, конечно, настораживает. Национализм и расизм «союзников», их подозрительность, даже пренебрежение к интеллектуальному миру, культ героизма, непосредственно связанный с культом жертвенности и смерти, тоже вызывают обоснованные опасения.

В заключение можно констатировать, что спорность тем, которые затрагивают и Пелевин, и Прилепин, используемые ими литературные стратегии, высказываемые взгляды – все это дает возможность диаметрально различного подхода к их творчеству – от полного приятия до такого же абсолютного отвращения. Несомненно, ни Пелевин, ни Прилепин не оставляют читателей равнодушными, их творчество вызывает широкий резонанс не только в пределах России. Произведения этих литераторов провоцируют разговоры и дискуссии, остаются открытыми для различных интерпретаций и оценок.

³³ Героическая смерть приобретает для «союзников» самоценное значение (конкретные социальные проблемы отходят на второй план), смерть для них становится ритуальным приобщением к «телу родины» [Липовецкий 2012].

³⁴ «Союзники» не рассуждают – просто действуют. В их поведении намечается приоритет первобытных инстинктов и моторики над рассудительностью, наблюдается даже иррационализм, тесно связанный с «культом действия» ради действия [Липовецкий 2012].

Библиография

- Басинский П., 2011, *Не будите черных обезьян. О новом романе Захара Прилепина и спорах о нем* // Российская Газета, 27.06.2011, <http://www.rg.ru/printable/2011/06/27/kniga.html> [04.05.2014].
- Беляков С., 2006, *Заговор обреченных, или Захар Прилепин как зеркало несостоявшейся русской революции* // Новый Мир, № 10, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/10/be15-pr.html [21.05.2014].
- Берхин И., *Прогулки с Котовским или из мениппей снов не выкинешь*, <http://pelevin.nov.ru/stati/o-cotovskiy/1.html> [15.02.2014].
- Генис А., 1994, *Русский Борхес* // Новый Мир, № 12, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/12/genis.html [15.02.2014].
- Гетманский И., *Загадки и отгадки Виктора Пелевина*, <http://pelevin.nov.ru/stati/o-getm/1.html> [16.02.2014].
- Гликман К., 2011, *Новый, талантливый, но... Захар Прилепин* // Вопросы литературы, № 2, <http://magazines.russ.ru/voplit/2011/2/g17-pr.html> [28.06.2014].
- Гурин С., *Виктор Пелевин: личность или личина?*, http://www.eparhia-saratov.ru/pages/3728_viktor_pelevin_lichnost_ili_lichina [15.02.2014].
- Дитковская И., *Коды буддизма и массовой литературы в произведениях В. Пелевина 90-х гг.*, http://www.bdpu.org/scientific_published/akt_probl_sl_filol-14/46.doc [17.09.2010].
- Зарубина Д., 2007, *Универсалии в романном творчестве В.О. Пелевина* // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Иваново, <http://w3.ivanovo.ac.ru/win1251/science/avtoreferat/zarubina.doc> [10.05.2009].
- Иванова Л., *Катарсис пустоты. В. Пелевин «Чапаяев и Пустота»*, <http://www.proza.ru/2009/03/26/31> [01.06.2014].
- Иванова Н., 2006, *Ultra-fiction, или Фантастические возможности русской словесности* // Знамя, № 11, <http://magazines.russ.ru/znamia/2006/11/iv1-pr.html> [26.09.2007].
- Иванова Н., 2007, *Ускользящая современность. Русская литература XX-XXI веков: от «внекомплектной» к постсоветской, а теперь и всемирной* // Вопросы литературы, № 3, <http://magazines.russ.ru/voplit/2007/3/iv7-pr.html> [10.05.2014].
- Ильин И., 2001, *Постмодернизм. Словарь терминов*, Москва: Интрада, <http://terme.ru/dictionary/179/word/%C4%C2%CE%C9%CD%CE%C9+%CA%CE>, [29.09.2009].
- Корнев С., *Блюстители дихотомий. Кто и почему не любит у нас Пелевина*, <http://pelevin.nov.ru/stati/o-krn1/1.html> [15.02.2014].
- Корнев С., *Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? Об одной аванюре Виктора Пелевина*, <http://pelevin.nov.ru/stati/o-krn2/1.html> [15.02.2014].
- Костырко С., 2006, *По кругу* // Новый Мир, № 10, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/10/ko16-pr.html [21.05.2014].
- Латынина А., 2007, *«Вижу сплошное счастье...»* // Новый Мир, № 12, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/12/la11-pr.html [21.05.2014].
- Латынина А., 2011, *«Даже уж не знали за что похвалить...». К рассуждениям по поводу романа Захара Прилепина «Черная обезьяна»* // Новый Мир, № 10, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2011/10/la13-pr.html [04.02.2014].
- Липовецкий М., 2008, *Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов*, Москва: Новое литературное обозрение.
- Липовецкий М., 2012, *Политическая моторика Захара Прилепина* // Знамя, № 10, <http://magazines.russ.ru/znamia/2012/10/li12-pr.html> [09.02.2014].

- Лихина Н., 1997, *Актуальные проблемы современной русской литературы. Постмодернизм. Учебное пособие*, Калининград, Издательский дом: Калининградский государственный университет http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/lihina/02.php [01.06.2008].
- Макеева К., *Творчество Виктора Пелевина*, <http://pelevin.nov.ru/stati/o-mak/1.html> [01.07.2014].
- Маньковская Н., 2000, *Эстетика постмодернизма*, Санкт-Петербург, Алетейя, http://www.i-u.ru/biblio/archive/mankovskaja_estetika/07.aspx [10.08.2011].
- Нагорная Н., *История и сновидение в творчестве В. Пелевина*, <http://lik.altnet.ru/Kritika/nagor.htm> [07.09.2007].
- Некрасов С., 1999, «Мечты, мечты, где ваша сладость?» Проблема авторства в отсутствие автора // Библиография, № 3, 67–73.
- Немзер А., «Как бы типа по жизни». «Generation 'П'» как зеркало отечественного инфантилизма, <http://www.guelman.ru/slava/writers/nemzer.htm> [15.02.2014].
- Пелевин В., 2004, *Священная книга оборотня*, Москва: Эксмо.
- Пелевин В., 2011, *S.N.U.F.F.*, Москва: Эксмо, <http://www.litmir.net/br/?b=140212> [23.05.2014].
- Переслегина Е., 2011, *Женщина и кошка в рассказе В. Пелевина «Ника» (анализ ключевого концепта)* // Вестник Нижегородского университета, № 6 (2), 504–507, http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2011_6/113.pdf [04.12.2013].
- Прилепин З., 2006, *Санькя*, Москва: Ad Marginem, http://loveread.ws/read_book.php?id=11951&p=24, http://loveread.ws/read_book.php?id=11951&p=41 [23.07.2014].
- Прохорова Т., 2013, *Формы проявления национальной идентичности в романе Захара Прилепина «Санькя»* // Филология и Культура, № 2 (32), 196–199, http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=system/files/43_4.pdf [28.06.2014].
- Пустовая В., 2009, *Матрица бунта* // Континент, № 140, <http://magazines.russ.ru/continent/2009/140/пу23-pr.html> [07.01.2014].
- Сиротин С., 2012, *Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме* // Урал, № 3, <http://magazines.russ.ru/ural/2012/3/ss11-pr.html> [18.02.2014].
- Скоропанова И., 2002, *Русская постмодернистская литература. Учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов*, Москва: Флинта: Наука.
- Скоропанова И., *Спецсеминар «Реализм, Модернизм, Постмодернизм в русской литературе XX века»*, <http://www.bsu.by/Cache/pdf/204993.pdf> [07.05.2014].
- Современная русская литература конца XX — начала XXI века*, ред. Тимина С., Москва: Издательский центр «Академия», 2011, http://www.academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment_19150.pdf [30.05.2014].
- Сура W., 2011, *Термины «абсурд», «парадокс», «нонсенс» в контексте теории сатиры и гротеска* // Studia Wschodniosłowiańskie, t. 11, 99–126.
- Сухих О., 2008, «Очень своевременные книги» (О традициях Ф.М. Достоевского и М. Горького в романе Захара Прилепина «Санькя») // Вестник Нижегородского университета, № 6, 290–296, http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2008_6/50.pdf [07.05.2014].
- Сушилина И., 2001, *Современный литературный процесс в России. Учебное пособие*, Москва: Изд-во МГУП, <http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook027/01/part-004.htm> [04.10.2006].
- Чупринин С., 1997, *Есть ли у «Знамени» будущее? Двенадцать мнений о перспективах русских литературных журналов* // Знамя, № 1.
- Шевченко Л., 2002, *Русская проза трех последних десятилетий (70–90 годы XX века). Пособие для студентов*, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
- Эпштейн М., 2004, *Роман Арбитман, Сергей Боровиков, Михаил Эпштейн, Юрий Арабов, С. Витицкий (Борис Стругацкий), Виктор Пелевин. Академический выбор. Конференц-зал* // Знамя, № 5, <http://magazines.russ.ru/znamia/2004/5/konf10-pr.html> [13.02.2014].

Summary

BETWEEN POSTMODERNISM AND “NEW REALISM”: LEITMOTIFS IN SELECTED LITERARY WORKS OF VICTOR PELEVIN AND ZAKHAR PRILEPIN

The aim of this article is to discuss literary strategies of two contemporary Russian writers: postmodernist Victor Pelevin and realist Zakhar Prilepin. These authors present different styles and generations, but there is some similarity between them, for example sensitivity to problems of contemporary Russia and Russians. Their heroes do not accept post-Soviet reality. Pelevin has created “the hero-refugee,” an individualist who does not want to participate in social life. He leaves Russia and goes to another dimension of human existence. Prilepin’s hero fights with the government. This writer has created a new character – a contemporary “revolutionist” (a rebel) who hates the consumer society. Two novels are analyzed in this paper: *Buddha’s Little Finger (Chapayev and Void, 1996)* by Pelevin and *Sankya (2006)* by Prilepin.

Сергей Преображенский

Российский университет дружбы народов, Москва

ПОЛЬСКИЙ ВЕРЛИБР В РУССКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Key words: Polish vers libre, Russian vers libre, plurisegmental structure of verse, poetic translation, Czesław Miłosz

Непосредственным поводом для написания настоящей статьи были опубликованные материалы конкурса переводчиков *Милош по-русски* [2013]. Однако предметом интереса стало то, чем польская версия верлибра отличается от русской и как этот факт отражается в русском переводе польского оригинала. При всей универсальности верлибра как «международного» [Гаспаров 1989, 254] стиха, у него, безусловно, имеется национальная специфика, связанная с тем, что главным генетическим признаком этого явления стиховеды разных наций дружно признают его «паразитарность»: «в... ограниченном смысле ритмическую структуру свободного стиха можно считать «паразитарной», то есть такой, существование которой зависит от других «более аутентичных» структур» [Червенка 2011, 144]. «Верлибр, очевидно, способен возникнуть лишь на определенной стадии развития национальной стиховой культуры, обеспечивающей ему необходимый «фон», на котором его «минус»- природа ощущается читателем как достаточный ритмообразующий фактор» [Орлицкий 1991, 82]. Поэтому, так сказать, идиознической стороной верлибра является его «дезорганизирующая» направленность в отношении сложившихся в национальных версификационных культурах регулярностей. Традиционный стих в любой национальной литературе выполняет прежде всего функцию вторичной сегментации текста, накладывающейся на естественную синтаксическую, поддерживаемую естественной интонацией. Если у верлибра нет собственных регулярных сигналов вторичной сегментации, то можно ли его считать стихом? Известный польский стиховед А. Кулявик предлагал вообще отказаться от общепринятого термина «верлибр, или свободный стих» и обсуждать лирическую «немерную композицию», специально оговаривая факт её практической неприменимости в большой поэтической форме, если речь идет о польской традиции: «Kompozycja nienumeryczna realizuje się w programowym unikaniu jakichkolwiek regularności

językowych w wersach, a jedynym czynnikiem, którym może operować, jest pauza wersyfikacyjna (...), uzyskać można trzy typy kompozycji: monosystemową składniową, monosystemową askładniową i bisystemową, czyli realizującą oba systemy wersyfikacyjne. Wszystko to sprawia, że kompozycje nienumeryczne są zróżnicowane w zależności od tego, jak układa się relacja: pauza – działą składniowe» [Kulawik 1994, 235]. Нетрудно заметить, что в версии А. Кулявика в качестве меры «немерного» стиха выступает позиция естественной синтагматической паузы, что плохо согласуется с практикой вычурных анжамбеманов, характерной для современного верлибра [np. Pszczołowska 1975, 24], однако, по-видимому, такой подход опирался на господствовавшие тенденции в польском верлибре довоенного периода. В русском стиховедении (нельзя утверждать, что это мнение в полной мере разделяют сами поэты) радикальное определение верлибра дал М.Л. Гаспаров, объявивший «свободный стих» в своем роде антиподом фонетического стиха, иначе говоря, «нестихом», поскольку в нем в качестве сигналов вторичной сегментации выступают не звуковые, а графические указатели: «если бы текст был напечатан как проза, сплошной строкой, каждый читатель был бы волен членить и интонировать его как «синтаксически», более спокойно, так и «антисинтаксически», более напряженно, и все интерпретации были бы равноправны. Но так как текст (...) напечатан отдельными строчками, то из этого множества интерпретаций выделяется как правильная лишь одна...» [Гаспаров 2004, 16]. При таком взгляде на вещи идиоэтнический компонент стихового синтаксиса редуцируется «до нуля», проблема адекватного перевода верлибра автоматически снимается с повестки дня, подменяясь единственным требованием – соблюдением графической эквилинейности. Специально изучавший русский верлибр Ю.Б. Орлицкий, однако, подчеркивал, что, при отсутствии общих правил создания верлибровых композиций, каждое отдельное стихотворение в идеале формирует собственный инструментарий средств, узаконивающих вторичную – по отношению к «написанному сплошной строкой» (М.Л. Гаспаров) тексту – сегментацию: «Мы понимаем свободный стих (верлибр) как самостоятельную систему современного русского стихосложения, опирающегося в своей структуре на единственный ритмообразующий признак – ритм строк...» [Орлицкий 1991, 82]. Сходным образом смотрят на организацию верлибра и польские литературоведы, например, Р. Хандке, задав риторический вопрос «Czy istotnie z całego arsenału środków rytmizacyjnych wiersza regularnego zachował on tylko wers, a więc zdolność również pozaskładniowego dzielenia frazy poetyckiej?» [Handke 2008, 103], затем предлагает анализ текста, долженствующий показать, что переданный графически синтаксический произвол не единственное поэтическое свойство верлибра. Если солидаризироваться с подобной трактовкой, то одной из важнейших задач художественного перевода верлибра становится поиск в собственном поэтическом языке адекватных средств, способных отразить, хоть в некоторой степени, репертуар сигналов сегментации, примененных в оригинале. При этом сам «гештальт» верлибра должен сохраниться, то есть, скажем, русский читатель по переводу должен несомненно понимать, что имеет дело со «свободным стихом» польского

оригинала. Решение этой задачи осложняется тем, что в русском поэтическом языке безусловно различаются полиметрия (монтаж текста из отдельных стихов разной длины и мерности) и верлибр как таковой. Собственно, разновидность верлибра, включающего регулярные стихи наряду со стихами, не имеющими регулярного ритма, существует в русской традиции, такого рода тексты стиховеды относят к классу «нечистых» верлибров [Орлицкий 1991, 84-85], но соотношение в подобных верлибрах должно складываться в пользу «немерных» строк приблизительно 4:1. Большинство русских «верлибров» по этому критерию попадают скорее в разряд полиметрии, даже если руководствоваться авторской, а не фонетической разбивкой на стихи. Например, стихотворение составителя большой антологии русского верлибра Карена Джангирова:

«Вздрагиваю!
От скрипа дремучей улитки [ям3].
От искривления корня далекого дерева.
От полночного всплеска морского булыжника.
От колебания ласточки в недрах рассвета... [ан4].
Такая во мне – [амф2]
тишина»

В полиметрической (не зависящей от авторской графической интенции) разбивке текст приобретает еще более регулярный характер: «Вздрагиваю! От скрипа – [дол.х4]/ дремучей улитки – [амф2]/ От искривления корня – [ан3]/ далекого дерева – [амф2]/ От полночного всплеска морского – [дак3]/ булыжника – [0]/ От колебания ласточки в недрах рассвета... – [ан4]/ Такая во мне тишина – [амф3]». В нерегулярном одиночестве остается «булыжник».

В польской традиции, как представляется, четкая дистинкция полиметрии и верлибра вовсе отсутствует даже в теории: полиметрию, содержащую достаточное количество анжамбеманов, стиховед-поляк скорее всего уверенно отнесет к верлибру. Второй важный момент – неоднородная природа возможной польской полиметрии, подразумевающей как силлабическую, так и силлабо-тоническую основы и, естественно, их комбинацию, ср.: «W każdym razie już samo wykorzystywanie przerzutni i wersów średniówkowych w wierszu nieregularnym pokazuje, jak trudno obejść się bez stałych i nawet doraźnych cech sylabizmu» [Pszczółowska 1975, 37]. При том нужно принимать во внимание ту первостепенную значимость, которую в польской системе версификации имеет цезура, и тот факт, что, в отличие от русской традиции, при определении цезуры «по-польски» ритмический фактор оказывается важнее синтаксического. То есть если в предполагаемом до- или послецезурном сегменте сохраняется относительная синтаксическая самостоятельность словосочетания, пусть и не подтверждаемая в рамках стандартного синтаксического членения предложения на группы, не обозначаемая пунктуационно, то такой отрезок будет трактоваться как самостоятельная и регулярная часть стиха, хотя полный стих может выглядеть нерегулярно: (ср. рассуждения А. Кулявика о 5+n-сложниках Ц. Норвида [Kulawik 1994, 234] и Л. Пщоловской

о регулярных полустихах, превращающихся в метрические единицы верлибра [Pszczolowska 1975, 35–36]. Последнее, о чем следует сказать: то неравное положение, которое занимает верлибр в польской и русской поэтической традициях. Если в довоенной Польше верлибр стал основной формой поэтического самовыражения, и его нынешний авторитет бесспорен ввиду ведущего места верлибристов в польской поэзии в целом (Ч. Милош, Т. Ружевиц, З. Херберт, В. Шимборская и др.), то в русской современной поэзии дело обстоит иначе, например, за десять лет (2003–2013) большая поэтическая премия «Московский счет» ни разу (!) не была вручена убежденному верлибристу. Несмотря на ежегодно проходящие фестивали верлибра (Москва–Санкт-Петербург, организатор – Ю.Б. Орлицкий), постоянные заявления части литературного сообщества о пережиточном характере регулярно-го стиха, мнение экспертной аудитории не удается поколебать. Таким образом, в задачу русского переводчика всякий раз входит как некое дополнение – убедить в законности и непримитивности верлибра как поэтической формы, выбранной переводимым автором. Автор настоящей статьи придерживается представлений о верлибре, сходных скорее с польскими, чем с русскими. Думается, что «агогика» [Kulawik 1994, 221] верлибра определяется соотношением внутри текста трех типов сигналов постановки паузы: 1. Естественная синтактико-интонационная пауза, соответствующая правилам интонационного (супрасегментного) оформления высказывания в литературном языке (ПИ); 2. Паузы в конце стихового отрезка, чьи границы определяются в соответствии с навыком стиходеления, сложившимся на основе представлений о совокупности подобных сигналов, используемых в национальной версификации (ПС); 3. Искусственных (авторских, партитурных) пауз, которые вменяет в обязанность соблюдать графическая разбивка настоящего текста и которые являются зоной контраста по отношению и к первым и ко вторым (ПА). Своеобразие взаимодействия всех трех видов пауз и есть фонетическая основа верлибрового стиха. Например, «агогика» стихотворения *Kiedy księżyc* Ч. Милоша будет выглядеть приблизительно так

«Kiedy księżyc [ПИ] i spacerują [ПС] kobiety [ПИ] w kwiciastych [ПС?] sukniach [ПС, ПИ, ПА]

Zdumiewają mnie ich oczy, [ПИ, ПС] rżęsy [ПИ] i całe urządzenie świata [ПС, ПА, ПИ].

Wydaje mi się.[ПИ] że z tak wielkiej [ПС] wzajemnej skłonności [ПС, ПИ, ПА]

Mogłaby wreszcie wyniknąć [ПС] prawda ostateczna [ПИ, ПА]» [Miłosz 1980, 112].

Будучи одним из поэтов, убежденно отказавшихся от простой силлабики и силлабо-тоники в пользу «агогических» верлибровых композиций, Ч. Милош многократно подчеркивал ритмическую произвольность своих текстов. Это нашло отражение в употреблении весьма специфичных квазитерминов с целью автохарактеристики стиля, склада собственной поэзии – дукcja, inkantacja [Skubalanka 2006, 37–38], а также в метапоэтических декларациях, вроде следующей: «Zasadniczo poezja i proza mają to wspólnego, że kadencja zdania słyszana jest w uchu (...), kadencje poezji i kadencje prozy są zasadniczo poddane innej dyscyplinie» [Tosza 1993, 30]. Очевидно, что польский нобелиат отнюдь не считал свой верлибр

построением, не имеющим внутренней архитектоники. Напутствуя соревнующихся переводчиков, организатор конкурса Н. Горбаневская акцентировала их внимание именно на «агогических» композициях: «Значит, важно, что в одних случаях он выбирает верлибр, в других – более или менее ритмический и рифмованный стих» [Горбаневская 2013, 11]. К сожалению, представления переводчиков и поэтов о закономерностях как польского, так и русского верлибров отражают скорее профессиональную мифологию, чем языковую реальность. Из десяти предложенных к переводу стихотворений пять были бесспорными верлибрами, отдельные стихи которых не соразмерялись по длине, два – пограничье верлибра и полиметрии (*Spotkanie, Czaszka*). В стихотворениях, проявляющих тенденцию к мерности и регулярности, русские переводчики эту тенденцию как правило усиливали, ср.: «...Jest tą wyschnięta kością, nie próbuje zgadnąć.// Zostaje tak, rozmyśla wiek jeden i drugi» (*Czaszka*) [Милош по-русски 2013.]. «Стал этой высохшей костью, она не гадает. Так и сидит она век и один, и второй, размышляя» (пер. Владимира Штокмана). При этом то средство, которое в польском оригинале сближает верлибр с полиметрией, – регулярное появление послесезурного шестисложника: «nie próbuje zgadnąć»; «wiek jeden i drugi» в русском переводе аналога не получает.

Очевидно главенствующим для русских переводчиков чистых «немерных композиций» Ч. Милоша стало соблюдение графической эквилинеарности. Например, вторая строфа знаменитого стихотворения *Biedny chrześcijanin patrzy na getto*:

«Pszczoly odbudowują [ПС] plastry płuc[ПИ], [ПА]
 Mrówki odbudowują [ПС] białą kość, [ПИ], [ПА], [ПС]
 Rozdzierany jak papier, kauczuk, [ПИ] płótno, skóra, len [ПА]
 Włókna, materie, celuloza,[ПИ], [ПС] włos, węzowa łyska, druty
 Wali się w ogniu dach, ściana [ПИ], [ПС] i żar ogarnia fundament. [ПИ], [ПА]
 Jest już tylko piaszczysta, zdeptana [ПИ], [ПС] z jednym drzewem [ПА]
 bez liści [ПА]
 Ziemia»

В русских переводах выглядит так:

«Пчелы [ПИ?] обживают [ПИ?] пазухи легких. [ПИ] [ПА]
 Муравьи [ПИ?] обживают [ПИ?] белую кость. ПИ] [ПА]
 Разрываются, как бумага, [ПИ] каучук, полотно, кожа, лен, [ПА], [ПИ], [ПС? –
 если учесть тоническое стиходеление]
 Волокна, ткани, клетчатка, [ПИ] волос, змеинная чешуя, провода [ПИ], [ПА].
 Разрушаются в огне [ПИ] крыша и стена [ПИ], жар охватывает фундамент. [ПИ]
 Остается только песчаная, [ПИ] затоптанная, [ПИ?] с одним деревом [ПА]
 без листьев,
 Земля».
 (Лилия Юсупова)

«Пчелы обживают легочные пласты,
 Муравьи обживают белую кость. (курсив переводчика – С.П.)
 Раздирается бумага, каучук, полотно, кожа, лен,
 Волокно, материя, целлюлоза, волос, чешуя ужа, прутья,
 Падает в пламя крыша, стена, и жар охватывает фундамент.

Остается только песчаная, вытопанная, с одним деревом без листьев,
Земля».

(Анастасия Векшина)

«Пчелы обстраивают соты легких

Муравьи обстраивают белую кость, (курсив переводчика – С.П.)

разодраны бумага, резина, холст, кожа, лен,

волокна, ткани, клетчатка, щетина, змеиная шкура, проволока.

В огне рушатся крыши и стены, жар пожирает фундамент.

Остается только одна песчаная, вытопанная, с одним голым деревом
почва.»

(Игорь Булатовский)

У двух переводчиков имеется идентичное отклонение от графической разбивки оригинала – выделения в отдельную строку атрибутивного *bez liści*. Если у И. Булатовского это, видимо, мотивировано выбором лексического эквивалента («голый») – грамматического прилагательного, связанного сильной определительной связью с существительным, семантически не подходящего для помещения в автономную строчку, то мотивация А. Векшиной менее очевидна. Иные, сопровождающие, визуальные сигналы верлибра используются И. Булатовским и А. Векшиной вопреки отсутствию подобных явлений в переводимом оригинале. К таковым относится у И. Булатовского чередование строчных и прописных букв в начале стихового отрезка, у И. Булатовским и А. Векшиной – выделение рефренных строк курсивом («игра шрифтом», не особенно принятая в классическом стихе).

Собственно, нерегулярное, произвольное чередование сверхдлинных и сверхкоротких строк в русской традиции также выступает как сигнал верлибра, стало быть, для польских стихов, устроенных подобным образом, соблюдение графической эквilinearности в переводе – путь к увеличению искомой адекватности. Вопрос, однако, насколько русское графическое деление на строки передает фонетическое своеобразие польского оригинала в смысле взаимодействия пауз. Сравнивая оригинал и перевод Лилии Юсуповой легко увидеть, что в русском варианте верлибр лишился версификационной поддержки – стиховой паузы, то есть стал более интернациональным, но значительно менее имманентно регулярным.

Для образцов «смешанного» польского верлибра, где регулярности присутствуют куда более концентрировано, соблюдения одного лишь правила графической эквilinearности недостаточно. Хотя бы потому, что некое единство средней длины строки соблюдается. Вот последнее трехстишие из *Młodość* Ч. Милоша:

«Będziesz iść ulicami jarzących się stolic południa

Przywrócony twoim początkom, widząc w zachwyceniu

Biel ogrodu, kiedy w nocy spadł pierwszy śnieg».

Как представляется, польский компетентный читатель атрибутирует его как фрагмент текста верлибра. Главным сигналом будет, вероятно, превышение или существенное уменьшение стандартной длины силлабического стиха и явное отсутствие цезуры на ожидаемых регулярных местах (после 5–6–7 слога). Возможно,

из ряда выбивается первая строка, которая при желании может читаться не только как извод польского гексаметра, но и как подобие ямба, или комбинация отрезка ямба и амфибрахия.

Когда русский переводчик сталкивается с польским верлибром, подобным приведенному выше, он явно нарушает соотношение мерности и немерности.

«Будешь ходить по улицам сверкающих южных столиц
вернувшись к своему началу, изумленно любуясь
белым садом в ночь первого снега».

(Игорь Булатовский)

1 – Дольник дак3 /+амф3

2 – ям4/+ан3

3 – ан3

«Ты пойдешь по проспектам столиц лучезарного юга.
Возвращенный к своим началам, не налюбуйешься
Белым садом, когда ночью лег первый снег».

(Владимир Окунь)

1 – дак4

2 – дольник ан3+ не налюбуйешься – амбивалентный

3 – ан4

По сути дела, русский перевод превращает верлибр в полиметрию и, тем самым, задает фонетический механизм дополнительной сегментации, который в польском варианте не является регулярно действующим. Причины, по которым это происходит, по-видимому, коренятся в разной силе сигналов «дезорганизации» в силлабической и силлабо-тонической традициях. Отступление от традиционных длин силлабики в польской традиции – сильный и самодостаточный сигнал верлибра, он поглощает спорадические регулярные стихи. В русской традиции любое подобие ритмической регулярности – сигнал традиционной силлабо-тоники, следовательно, «дезорганизирующую» тенденцию нужно усиливать. Н. Горбаневская написала в своих «Заметках председателя жюри»: «Когда в регулярном верлибре больше двух строк подряд идут белым стихом, возникает ненужная инерция» [Горбаневская 2013,11]. Впрочем, в репертуаре русских фонетических средств не так много сильных дезорганизирующих сигналов. Один из сильных – нарушение правила Р. Якобсона – К. Тарановского на переакцентуацию: «Или упрямец? Слишком в моде нытье» (_UU_U_U_UU_) – 9-я строка из перевода *Przepis* (*Рецепт*) А. Векшиной. Подобного рода фонетические структуры не поддерживают сквозной ритмической интенции в рамках русской силлабо-тоники и переводит единственно возможную ритмизацию в режим чистой тоники (если повторяется из строки в строку – сигнализирует о логэде).

Есть еще один очевидный прием деритмизации, связанный со словоупотреблением: использование слов, превышающих среднюю длину русского слова и несущих на себе только одно ударение. Сравним три варианта одной строки: «Falsz uczuć odgaduje się po fałszu frazy» (*Przepis*) в трех вариантах: «Фальшивость фразы выдает фальшивость пафоса» (И. Булатовский). «Лживость чувств выдает

фальшивая фраза» (Татьяна Дубинина). «Фальшь чувств угадывается за фальшью фразы» (Денис Пелихов). «Фальшивая фраза разоблачает фальшивые чувства» (А. Векшина). Создание «чистого» русского верлибра требует от автора серьезных версификационных усилий, если он не остается в плену иллюзии, что графика решает всё. Для польского автора ритмизация в рамках верлибра выступает как дополнительный прием, увеличивающий своеобразие текста. Для русского ритмизация – признак сходства с другими образчиками русского верлибра, лишенными, по сути, метрического своеобразия. Поэтому всякая метризация и ритмизация, использование паронимических аттрактантов, внутренних рифм (см. выше «жар пожирает», «резина-щетина» И. Булатовского) оказываются признаками антиверлибра или, в лучшем случае, смещения его с так или иначе традиционным стихом. Однако чистый русский верлибр, ввиду его редкости и трудности в исполнении, в сознании большинства читателей вовсе не выглядит изысканным стихом, достойным эстетического внимания. История и русского, и польского верлибра достаточно темна (в отличие от немецкого), их общая генетическая связь с французским «свободным стихом» достаточно сомнительна [Урбаньска 2009, 349], и очевидно, что кроме декларативного утверждения об «освобождении» стиха, ни поляки, ни русские ничего общего с французской традицией не имели. Чувствовать же, где точки приложения дезорганизующего освободительного импульса в чужом версификационном пространстве переводчики еще не научились. Оттого необыкновенный Ч. Милош в русском отображении выглядит довольно общо (на русском верлибрическом фоне), поскольку переводчики еще не выработали набора приемов, создающих у русского читателя фонетический, а не графический образ польского верлибра.

Библиография

- Гаспаров М.Л., 1989, *Очерк истории европейского стиха*, Москва.
- Гаспаров М.Л., 2004, *Русский стих начала XX века в комментариях*, Москва.
- Горбаневская Н.Е., 2013, *Милош по-русски. Заметки председателя жюри // Милош по-русски*, Москва, 11.
- Милош по-русски*, 2013, Москва.
- Орлицкий Ю.Б., 1991, *Стих и проза в русской литературе*, Воронеж.
- Урбаньска Д., 2009, *Свободный стих и ритмический стих в современной польской поэзии // Славянский стих 8*, Москва.
- Червенка М., 2011, *Принцип свободного стиха // Смысл и стих*, Москва.
- Handke R., 2008, *Poetyka dzieła literackiego*, Warszawa.
- Kulawik A., 1994, *Poetyka*, Kraków.
- Miłosz C., 1980, *Wiersze wybrane*, Warszawa.
- Skubalanka T., 2006, *Język poezji Czesława Miłosza*, Lublin.
- Pszczółowska L., 1975, *Przyczynek do opisu współczesnej wersyfikacji polskiej // Teksty*, nr 1.
- Tosza E., 1993, *Stan serca. Trzy dni z Josifem Brodskim*, Katowice.

Summary

POLISH FREE VERSE FROM THE RUSSIAN POINT OF VIEW

This article discusses the status and the main plurisegmental characteristics of Polish and Russian vers libre, and evaluates the possibilities of adequate translation from the Polish versification paradigm into the Russian one. The analytical material comprises the texts presented by Russian translators at the competition “Miłosz in Russian” which was organized to celebrate Czesław Miłosz’s centenary.

Patryk Witczak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ANDRZEJ NIEMOJEWSKI I MICHAŁ ARCYBASZEW WOBEK REWOLUCJI 1905 R.

Key words: Russian Revolution 1905, Andrew Niemojewski, Mikhail Artsybashev

Przełom XIX i XX w. przyniósł Europie nasilenie ruchów rewolucyjnych spowodowanych walką klasy robotniczej o zwiększenie swoich praw. Ferment społeczny nie ominął również Rosji. Niezadowolenie ludu, klęska w wojnie z Japonią i, zdaniem wielu, nieudolność Mikołaja II doprowadziły do tego, iż imperium rosyjskie całkowicie zmieniło swoje oblicze. Swego rodzaju próbą generalną i zapowiedzią przełomowych dla Rosji wydarzeń 1917 r. stała się krwawa niedziela i tzw. pierwsza rewolucja rosyjska 1905–1907 r. [Zajączkowski 2009, 154–156]. Rewolucja 1905 r. odcisnęła silne piętno nie tylko na ówczesnej literaturze rosyjskiej, lecz także na literaturze młodopolskiej. Nie należy zapominać o tym, że po niepowodzeniu powstania styczniowego Królestwo Polskie, chociaż nie zostało przez carat zlikwidowane, to praktycznie utraciło swoją autonomię. Dlatego też dla Polaków solidaryzowanie się z Rosjanami miało głębszy wymiar niż walka o prawa robotnicze. Oni walczyli również o wolność i poszanowanie polskości [Klonowski 1955, 5].

W swojej monografii, pt. *O tym, jak Młoda Polska posiwała*, J. Jakóbczyk wlicza aż pięćdziesięciu dwóch pisarzy młodopolskich, którzy w swojej twórczości poruszyli tematykę rewolucji 1905 r. Przy czym badacz podkreśla, iż z pewnością nie jest to lista pełna [Jakóbczyk 1992, 7]. T. Wróblewska stwierdza nawet, że „rewolucyjny temat stał się modą” [Wróblewska 1968, 80]. Ogrom materiału sprawia, iż z jednej strony cieszył się on dużym zainteresowaniem badaczy¹, z drugiej – jest to materiał na tyle różnorodny, że niezwykle trudno go przejrzeć i sklasyfikować. Pomimo tego, że swego czasu temat rewolucji 1905 r. w literaturze młodopolskiej był dość intensywnie eksploatowany przez polskich literaturoznawców nadal pozostaje w tym obszarze wiele do zbadania, o czym

¹ Na szczególną uwagę zasługuje praca zbiorowa pod red. M. Janion, w której kilka obszernych szkiców poświęcono rewolucji 1905 r. [Janion 1971]. Ciekawe, iż książkę wydrukowano w Łódzkiej Drukarni Dzielowej, mieszczącej się przy ul. Rewolucji 1905 r.

może świadczyć chociażby wydana w ubiegłym roku monografia bydgoskiego polonisty M. Kurkiewicza, który obraz rewolucji analizuje w kontekście motywu krwi [Kurkiewicz 2013, 162–313].

Na wydarzenia lat 1905–1907 można spojrzeć z dwóch perspektyw: polskiej i rosyjskiej. Jako materiał egzemplifikacyjny posłuży nam zbiór opowiadań A. Niemojewskiego, pt. *Ludzie rewolucji*² oraz rewolucyjna proza przyszłego emigranta M. Arcybaszewa. Obaj pisarze w okresie świetności wywoływali swoimi poglądami żywe dyskusje w środowisku literackim Rosji i Królestwa Polskiego³. Obaj po śmierci zostali również na długie dziesięciolecia zapomniani, a ich twórczość pomału na nowo wkracza do świadomości współczesnych czytelników i krytyków.

Cykl nowel Niemojewskiego, wydany pod wspólnym tytułem *Ludzie rewolucji*, światło dzienne ujrzał w 1906 r., a więc właściwie jeszcze w trakcie trwania zawieruchy rewolucyjnej. Tym samym Niemojewski stał się jednym z pierwszych, który zareagował na rozgrywające się wokół niego wydarzenia. Dlatego też nie dziwi fakt, że utwory te mają charakter szkicowy, publicystyczny, odbiegający od późniejszych literackich ujęć obrazu rewolucji, jakie wykreowali m. in. A. Strug, S. Żeromski czy W. Reymont [Strug 1971, 1947; Żeromski 1964]. Krótkie formy prozatorskie Niemojewskiego wyróżnia za to duża wartość dokumentalna. Stanowią swego rodzaju reportaż z pola walki. Na tomik *Ludzie rewolucji* składa się osiem niewielkich objętościowo nowel, które konstruowane są wokół pojedynczych scen, epizodów, zdarzeń, mających charakter zindywidualizowany i rozumianych jako „najdrobniejsze cząstki fabuły” [Handke 2008, 275]. J. Jakóbczyk konstatuje, iż zdarzenia w utworach Niemojewskiego są „osamotnione” i „pozbawione możliwości organizowania się w bardziej skomplikowane konfiguracje, brakuje bezpośrednio «przed» i «po»” [Jakóbczyk 1992, 50]. A. Grajewska określa omawiane utwory Niemojewskiego jako „obrazki z życia rewolucjonistów”. Literaturoznawczyni podkreśla, że „główny akcent Niemojewski stawia nie na ideologiczną interpretację opisywanych wydarzeń, lecz na sposoby rewolucyjnego działania”. Prowadzi to do tego, iż brak w *Ludziach rewolucji* „ogólniejszego spojrzenia na to, czym jest rewolucja, (...) na spodziewane i dokonujące się konsekwencje” [Grajewska 1971, 201].

W otwierającym cykl *Ludzie rewolucji* opowiadaniu *Ptak* autor wyklada filozofię i etykę prawdziwego rewolucjonisty, której nosicielem jest tytułowy Ptak – pracownik podziemnej drukarni. Podstawowym zadaniem, stawianym przez Niemojewskiego przed idealnym rewolucjonistą jest przekreślenie swojej przeszłości. Autor przekonuje: „Nie masz matki, nie masz ojca, (...) nie pragniesz szczęścia, nie ulegasz pokusom sławy, nie wierzysz w żadne nagrody przed grobem i za grobem, żyjesz anonimowo, pracujesz

² A. Niemojewski, *Ludzie rewolucji i inne opowiadania*, wstępem poprzedził J. Krzyżanowski, Czytelnik, Warszawa 1961. Cytując fragmenty opowiadań wchodzących w skład tego cyklu strony podawać będą w nawiasach.

³ J. Krzyżanowski w swoim szkicu o Niemojewskim pisał: „[...] namiętnie atakowany przez ludzi, którym słowo „postęp” z trudem przychodziło przez usta, zarliwie podziwiany przez tych, którzy słowem tym się zachłystywali przy każdej sposobności. Ile w tym rozgłosie tkwiło jakichś nieporozumień, przekonać się łatwo...” [Krzyżanowski 1961, 5]. Na temat kontrowersji, jaki wywoływała twórczość M. Arcybaszewa pisał I. Michajłowski [Михайловский 2011, 236–240].

anonimowo, cała moralność twoja jest etyką anonima rewolucyjnego” [189]. Zdaniem cytowanego już J. Jakóbczyka „osamotnienie rewolucjonisty” oraz „zrezygnowanie z życia rodzinnego” w celu całkowitego poświęcenia się działalności rewolucyjnej jest jednym z głównych motywów rewolucyjnej prozy Młodej Polski. Literaturoznawca podobne akcenty odnajduje m. in. w *Żydóweczce* M. Konopnickiej oraz *Wigiliach* A. Struga [Jakóbczyk 1992, 54].

Niemojewski nie poddaje idealizacji rewolucji jako zjawiska niszczycielskiego. Śmierć w cyklu *Ludzie rewolucji* jest wszechobecna, jednak jej nieuchronność nie wywołuje wśród rewolucjonistów przerażenia. Jest ona bagatelizowana. W omawianym przez nas *Ptaku* czytamy: „Nad każdym z nich (nad rewolucjonistami – P.W) wyrósł niesformułowany wyrok śmierci. Ale śmierć jest fizjologicznie i psychologicznie tylko kwestią nerwów, a przyrodniczo i filozoficznie tylko przemianą materii” [192]. Tytułowy Ptak bez chwili wahania poświęca własne życie dla ocalenia od dekonspiracji tajnej drukarni, dla której pracował. Na jego martwym licu nie malował się grymas bólu i strachu, lecz błędnego spokoju: „jak gdyby ten kulą przewiercony mózg myślał jeszcze, a myśląc widział oczyma duszy nowe mieszkanie (...) i jakiegoś nowego Ptaka, który co rano wychodzi z bibułą zadrukowaną, a co wieczór wraca z bibułą świeżą” [195].

Warto zwrócić uwagę, iż Ptak, hołdujący etosowi rewolucjonisty, jest osobą całkowicie anonimową. Anonimowość jest główną cechą bohaterów rewolucyjnego cyklu Niemojewskiego. Autor ukazywał swoich bohaterów w akcji, w trakcie wykonywania określonych zadań. To właśnie kolejne zadania określały rewolucjonistę, a nie jego wewnętrzne przeżycia. I. Maciejewska w związku z tym stwierdza, iż w nowelach Niemojewskiego ważni nie są rewolucjoniści, lecz ich czyny. Badaczka dodaje: „Ta redukcja osoby na rzecz wielkich wydarzeń dotyczyła także sfery mentalno-ideologicznej. Ludzie rewolucji, dokonujący czynów wymagających odwagi i inteligencji, nie są przedstawiani w myśleniu, nie reprezentują w tego typu literaturze homo politicus” [Maciejewska 1991, 56]. Również w noweli o przewrotnym tytule *Święto rewolucji* odnajdujemy kontynuację specyficznego postrzegania śmierci oraz gloryfikację anonimowości. Niemojewski w niej pisze: „W rewolucji zaciera się nieubłagana linia demarkacyjna między żywymi a poległymi. Oni wszyscy razem stanowią – jedną walczącą społeczność” [225].

W *Ludziach rewolucji* Niemojewski sięgnął także po często powtarzający się w młodopolskiej literaturze rewolucyjnej motyw antagonizmu między synem a ojcem. Za przykład może nam posłużyć opowiadanie *Jur* inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. 1 listopada 1905 r. w trakcie demonstracji rewolucyjnej zginął Melcer – Rosjanin, syn pułkownika żandarmerii. Jak podaje A. Grajewska, ten autentyczny epizod stał się także tematem opowiadania *Przeciw ojcu* Marion (właśc. Cecylia Glucksman) oraz *Rewolucji* K. Tetmajera [Grajewska 1971, 196]. Młody Jur, bohater utworu Niemojewskiego, stopniowo porzuca swoje środowisko i angażuje się w działalność rewolucyjną Polaków. Raniony kulą przez rosyjskiego żołnierza Jur ginie, a jego zakrwawiony sznел staje się sztandarem rewolucjonistów [245].

Śmierć Jura nabiera symbolicznego znaczenia i może być interpretowana jako ponowne zbliżenie się do siebie dwóch nacji: polskiej i rosyjskiej. Wskazuje na to ogromny

szacunek rewolucyjnego tłumu, który rozstał się aby matka mogła ucałować poległego syna [245]. Możemy założyć, że przelana przez Jura krew zmywa hańbę jego ojca, bowiem sam bohater wspomina, iż „nic nie pozostało, tylko tym czerwonym odczynnikiem zmyć piętno Kainowe” [229]. M. Kurkiewicz nazywa śmierć młodego Rosjanina „krwawym progim” oraz „symbolem zgody” obu narodów [Kurkiewicz 2013, 276]. Rzeczywiście możemy stwierdzić, że pojednanie Polaków i Rosjan stanowi główny temat tego opowiadania. Jur w rozmowie ze swym kompanem, również Rosjaninem, przekonuje: „ruski człowiek to jeszcze niekoniecznie starszy cenzor i płaszcz z czerwoną podszewką. Ruski człowiek to już Sazanow, Kalajew, to robotnik zbuntowany, to owe tłumy, do których strzelano w Petersburgu” [229].

Wspólnota dążeń i solidarność narodu polskiego i rosyjskiego pojawia się również we wspomnianej już *Latawicy*. Wydarzenia w Sewastopolu, Charkowie czy Petersburgu stopniowo zasklepiły „dziejową ranę nienawiści do ludu rosyjskiego” [210], którą za wszelką cenę próbowała rozerwać na nowo kontrrewolucja, głosząc hasła: „Moskał was zdradzi”; „Moskał urządza tylko prowokację, aby tym łatwiej wziąć was potem za łeb” [211].

Cykl *Ludzie rewolucji* Niemojewskiego zamyka nowela *Pan Jezus w Warszawie*. Utwór ten opowiada o Chrystusie wysłanym do Polski aby stwierdzić, czy plotki na temat tragicznej sytuacji w kraju nad Wisłą są prawdziwe. Po zesłaniu na Ziemię trafia on do warszawskiego aresztu. Nowela *Pan Jezus w Warszawie* silnie piętnuje działalność Kościoła katolickiego w omawianym przez nas okresie. Chrystus relacjonując Ojcu wydarzenia rozgrywające się w Warszawie stwierdza: „Cuda się dzieją na polskiej ziemi, choć kanoniki rażone ślepotą, a biskupy na lęk ludzki głuche” [261]. W opowiadaniu ponownie poruszony został także wątek jedności. Rewolucja przedstawiona została jako zjawisko jednoczące masy. O ile w *Jurze* doszło do pojednania Rosjan i Polaków, o tyle w utworze *Pan Jezus w Warszawie* bratają się przedstawiciele wszystkich partii oraz wyznawcy różnych religii (Żydzi z katolikami) [261]. Tym samym wspólnota więzienia stwarza wspólnotę celów [Maciejewska 1991, 56]. W opowiadaniu *Pan Jezus w Warszawie* Niemojewski podsumowuje poglądy wyłożone wcześniej przez siebie w pozostałych utworach *Ludzi rewolucji*.

W świetle powyższej analizy możemy jednoznacznie stwierdzić, iż rok 1905 był dla Niemojewskiego momentem przełomowym w historii swojej ojczyzny. Pisarz pokładał ogromne nadzieje w działaniach rewolucyjnych rozgrywających się zarówno na obszarze Królestwa Polskiego, jak i imperium rosyjskiego. Dlatego też jego utwory o tematyce rewolucyjnej cechuje zrozumienie dla opisywanych krwawych wydarzeń oraz całkowite poparcie dla rewolucjonistów.

Rosyjscy pisarze, postrzegając działania rewolucyjne 1905 r. z innej perspektywy niż młodopoleanie, na stronicach swoich utworów często tworzyli przeciwstawne obrazy rewolucji. Jednym z rosyjskich literatów, którzy stanowczo zareagował na wydarzenia 1905 r. był przyszły emigrant pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego M. Arcybaszew. Pisarz odpowiedział na rewolucję całym cyklem nowel i opowiadań, wśród których znajdują się m. in. *Rewolucjonista* [1912], *Krwawe piętno* [1906], *Cienie poranka* [1907], *Ludzka fala*

[1907]. Rozważania na temat zasadności walk rewolucyjnych znaleźć możemy również w jego innych utworach, nie poświęconych w całości tematowi rewolucji, takich jak nowela *Przerażenie* [1905], czy głośna powieść *Sanin* [1907]. A. Błok, oceniając rewolucyjną twórczość autora *Sanina*, pisał: „Арцыбашев – бесспорно талантливый писатель и более сознательный, чем писатели-специалисты революции” [Блок, online].

Podobnie jak Niemojewski, Arcybaszew bohaterami swoich rewolucyjnych utworów uczynił przede wszystkim ludzi prostych, a nie wysoko postawionych działaczy, intensywnie włączających się w działalność antycarskich partii i organizacji. Bohaterowie Arcybaszewa to ludzie często nieświadomie i wbrew swej woli umieszczeni w centrum walk rewolucyjnych. Cytowany wyżej Błok podkreślał, iż Arcybaszewowi „удается гораздо лучше психология масс, а не индивидуальная психология” [Блок, online], co, jak już zauważyliśmy, wyróżniało również krótkie formy prozatorskie Niemojewskiego. Mimo wszystko jednak Arcybaszew koncentrował się również na wewnętrznym świecie kreowanych przez siebie bohaterów, co znalazło odzwierciedlenie w opowiadaniu *Krwawe piętno* [Арцыбашев 2009]⁴. W utworze tym Arcybaszew przedstawia jeden z epizodów 1905 r. z perspektywy tzw. „małego człowieka” – Anisimowa, naczelnika kolejowej stacji, do której zbliżają się carskie wojska w celu stłumienia powstania. Arcybaszew z detalami rozprawia o wewnętrznych rozterkach tego nieszczęśnika skazanego na śmierć. Anisimow jest pełnym przeciwieństwem wykreowanego przez Niemojewskiego etosu rewolucjonisty, którego wzór stanowił Ptak. Bohater Arcybaszewa pomimo tego, iż zdaje sobie sprawę z beznadziejności swej dotychczasowej egzystencji, nie chce umierać. Kurczowo trzyma się życia stwierdzając: „мне жаль и ту жизнь, которая у меня! Какая бы она ни была, а жаль...” [458]. W przeciwieństwie do bohaterów *Ptaka* Niemojewskiego, Anisimow nie wyrzeka się także w swojej ostatniej godzinie rodziny i pisze do żony list, w którym próbuje ubrać w słowa targające nim emocje [461]. Robi to jednak bardzo nieudolnie, gdyż, jak zaznacza T. Prokopow, sam nie jest w stanie pojąć tego, co dzieje się w jego wnętrzu i wokół niego [Прокопов 1994, 16]. A. Wołkow dodaje, że w finale *Krwawego piętna* Arcybaszew obnaża fakt, iż ani Anisimow, ani tłum rewolucjonistów, nie rozumieją tak naprawdę o co walczą i w imię czego giną [Волков 1964, 123]. Myśl ta znajdzie swoją kontynuację również w innych rewolucyjnych utworach autora *Sanina*.

Obraz rozstrzelanego Anisimowa ukazuje bezwzględność rewolucji oraz jej niszczycielski charakter. Różowa plama krwi na białym śniegu symbolizuje natomiast antynomię człowiek-przyroda. A. Błok zauważał w związku z tym, że: „погружаясь в стихию революции, Арцыбашев начинает чувствовать природу, окружающие предметы, все мелочи – гораздо ярче и тоньше” [Блок, online]. Kontrast między ludzkością a przyrodą potęgują także promienie jasnego słońca, które pomagają wsiąknąć krwawemu piętnu w „рыхлую живую землю” [466]. Tym samym można dojść do wniosku, iż ludzkość stanowi dla Arcybaszewa symbol niszczycielskiej siły, przyroda natomiast – dojrzewania i życia.

⁴ Dalej w tekście strony cytatów z tego utworu podaję w nawiasie. Uwaga dotyczy również pozostałych tekstów Arcybaszewa.

Poruszony przez Arcybaszewa temat niezrozumienia dla hasel rewolucji i bezmyślnego angażowania się w działalność rewolucyjną poruszony został także w pierwszej rosyjskiej powieści pornograficznej, pt. *Sanin* [Арцыбашев 2009]. *Sanin* został wydany w tym samym roku co *Matka* Gorkiego [Gorki 1974] i jest swego rodzaju odpowiedzią na utwór autora *Myśli nie na czasie*. Obaj pisarze ukazują w jaki sposób idee rewolucji oddziałują na młodych Rosjan, wywodzących się z niższych warstw społecznych. O ile jednak bohaterów Gorkiego znamionuje pełne zrozumienie dla głoszonych przez siebie hasel i wiara w słuszność walki i podejmowanego ryzyka, o tyle Arcybaszew całkowicie dyskredytuje środowiska rewolucyjne. Spotkania walczących o prawa robotnicze w *Matce* młodych socjalistów są pełne pasji i przybliżały ich do „życia godnego ludzi” [30], każde ich zebranie „było jak gdyby szczeblem długiej, pochylej drabiny, która wiodła gdzieś w dal z wolna podnosząc ludzi” [31].

Rewolucjoniści Arcybaszewa są natomiast znudzeni, pozbawieni chęci podjęcia realnej walki, ich działalność ograniczała się do czytania niezrozumiałych dla nich broszur. Jeden z głównych działaczy rewolucyjnych prowincji Szafrow był, zdaniem innego bohatera powieści – Jurija Swarżycy, „наивным студентиком, играющим в революцию” [63]. Swarżyc, niegdyś aktywny rewolucjonista, zesłany za swą działalność na rodzinną prowincję, przedstawiony został przez Arcybaszewa w sposób karykaturalny. Czytając na jednym z posiedzeń tekst broszury nie zastanawia się on nad jej treścią, lecz nad tym, czy jego oratorskie zdolności zrobią odpowiednie wrażenie na jednej ze słuchających go kobiet [65]. Tak ostra krytyka działalności rewolucyjnej sprawiła iż Arcybaszew i Gorki znaleźli się po dwóch stronach barykady i ich stosunki znamionowała wzajemna niechęć⁵.

Niezrozumienie dla rewolucyjnych hasel wyróżnia także nowelę *Cienie poranka* [Арцыбашев 2009], do której Arcybaszew wprowadza wątek suicydologiczny, co potęguje potępienie rewolucji jako takiej. Liza i jej przyjaciółka Dora decydują się na odebranie sobie życia po tym, jak umiera ich towarzysz, przewodniczący koła rewolucyjnego. Dziewczęta w jednym momencie straciły nie tylko przyjaciela, ale przede wszystkim sens dalszego egzystowania, choć ostatecznie na samobójstwo, poprzez strzelenie do siebie z rewolweru, zdecydowała się tylko Liza. Przed dokonaniem aktu definitywnego samobójczynie spisały krótki list: „В смерти нашей, конечно, просим никого не винить. Мы умираем оттого, что жизнь вообще не стоит того, чтобы жить” [387].

Arcybaszew ukazuje na przykładzie Lizy jak niebezpieczne może stać się dla jednostki zbyt silne poczucie przynależności do kolektywu. Stosując nomenklaturę E. Durkheima, Lizę moglibyśmy określić typem samobójcy-anomisty. Francuski socjolog przekonywał bowiem, iż warunkiem tego rodzaju samobójstwa jest zaprzestanie regulowania działalności ludzkiej [Durkheim 2011, 331]. W tym przypadku jest to działalność organizacji rewolucyjnej. Jak przekonuje Durkheim, tak nagła zmiana wywołuje wstrząs u osoby, która pozostaje przy życiu. Ponieważ nie jest ona przystosowana do nowych warunków, staje się bardziej podatna na samobójstwo. M. Nikołajew dodaje, że wprowadzając do swojego opowiadania taką fabułę, Arcybaszew próbuje podkreślić całkowity

⁵ Patrz na ten temat więcej: [Krzyżowska-Protasienia 2004 t. LXXI, 72–75].

brak sensu żywiołu rewolucji oraz jej niszczycielską siłę [Николаев, online]. Przecież Dora, która ostatecznie nie zdecydowała się na akt definitywny, jakim jest odebranie sobie życia, w zakończeniu utworu zostaje schwytana przez wojska carskie i, jak możemy się domyślić, ginie.

Najbardziej reprezentatywnym utworem dla rewolucyjnej linii twórczości Arcybaszewa jest nowela *Ludzka fala* [Арцыбашев 1994, II]. W napisanym w 1907 r. utworze przeplatają się epizody powstania w Moskwie, powstania marynarzy w Sewastopolu oraz historia pancernika „Potiomkina” i rozruchy w odesskim porcie. O ile we wspomnianych wyżej utworach Arcybaszew opowiadał o prostych ludziach rzuconych wbrew swojej woli w centrum walk rewolucyjnych, o tyle w *Ludzkiej fali* pisarz próbuje naszkicować różne postawy wobec rozgrywających się wydarzeń.

W związku z powyższym Błok wyróżnił dwa typy pisarzy, tzw. „czechowców” i „gorkowców”. W związku z tym autor *Dwunastu* pisał: „Герои революционных повестей горьковского типа — люди обреченные, пропадают, так пропадают, — зато делают дело. Герои же «чеховцев» сводят зачастую счеты с бытом, с жизнью (...) Их немного жаль, потому что они типичные славные люди, а не босяческие «умопостигаемые характеры», напропалую прожигаящие жизнь” [Блок, online].

Zdaniem Błoka „gorkowcy” wymykają się śmierci, a „czechowcy” wręcz przeciwnie, wciąż przybliżają się do niej. Do „czechowców” zaliczyć możemy Arcybaszewa i wykreowanego przez niego głównego bohatera *Ludzkiej fali* – młodego studenta Konczajewa, będącego wyrazicielem jednej z trzech postaw wobec przełomowych wydarzeń 1905 r.

Ludzka fala rozpoczyna się od stwierdzenia, że: „через несколько часов город будет разгромлен пушками, что на тротуарах будут валяться трупы” [572]. Tej proroczej wizji tragicznych wydarzeń Arcybaszew od razu przeciwstawia opis spokojnej przyrody, nie robiącej nic sobie z tego, że ludzkość na własne życzenie dokonuje samozagłady: „от газонов бульвара тянет густым, пряным запахом земли, с моря дует теплый, почти летний ветер и дышится так легко, как может дышаться только теплой, тихой и ясной весной” [572].

Spacerujący Konczajew zamiast strachu odczuwa silne podekscytowanie i podniecenie [573]. Tym samym już na początku noweli *Ludzka fala* Arcybaszew kreśli pierwszy typ bohatera-rewolucjonisty i jego stosunek do rewolucji. Konczajew to idealista, wierzący w zasadność rewolucji. Podobnie jak bohaterowie utworów Niemojewskiego zdaje on sobie sprawę z tego, iż wprowadzanie wielkich zmian potrzebuje ofiar. Opozycjonistą Konczajewa jest lekarz Ławrienko, który swoje lata młodości dawno ma już za sobą. Arcybaszew zestawia ze sobą młodość i roztropność, charakterystyczną dla osób z dużym bagażem doświadczeń. Ławrienko próbuje studiować zapał Konczajewa, przekonując, że ponoszenie ofiar nie ma sensu, ponieważ: „Свобода будет для тех, кто останется в живых, кто в число жертв не попадет (...) А для тех, кто погибнет, будет уже не свобода, а только смерть. (...) для них все будет кончено, и кто же покажет им за что они умерли...” [578]. Lekarz zarzuca młodemu pokoleniu brak wyobraźni i niedojrzałość: „Вы хотите свободы, хотите (...) сделать революцию и освободить

людей (...) Но мне кажется, что вы ставите революцию выше своей жизни только потому, что вы еще очень молоды душой и не успели сознать, какое (...) сокровище для вас – ваша жизнь” [579]. Nie mniej jednak, pomimo poczucia braku sensu podejmowania jakiegokolwiek walki Ławrienko chce spełnić swój obowiązek i bierze udział w powstaniu. Zachowuje się inaczej niż inny bohater analizowanej noweli, również lekarz, Zarnicki, który pomimo obietnic w ostatniej chwili wycofuje się z podjęcia walki sprzeniewierzając się swojej maksymie, wedle której: „Лучше тридцать лет жить, да пить живую кровь, чем жить триста лет, да питаться мертвечиной” [603].

W *Ludzkiej fali* Arcybaszew podkreśla niezaprzeczalny wpływ rewolucji na dusze wszystkich jej uczestników i obserwatorów. Uwagę zwracał na to jego bohater Konczajew: „Важно то, что все почувствовали, что такое свободная жизнь, почувствовали, как с нею и все становятся лучше, общительнее, интереснее... Этого уже не забудут...” [603]. Arcybaszew daleki jest jednak od aprobaty młodzieńczego buntu Konczajewa, bliżej mu natomiast do Ławrienko czy Zarnickiego, którzy w ostateczności ocalili to co mieli najcenniejsze, czyli swoje życie. Skrytykował tę postawę po raz kolejny M. Gorki, stwierdzając, że: „Люди «Человеческой волны» – сплошь трусы” [Горький, online].

W świetle przeprowadzonej wyżej analizy rewolucyjnych utworów A. Niemojewskiego i M. Arcybaszewa możemy stwierdzić, iż poglądy obu pisarzy na wydarzenia lat 1905–1907 znacznie od siebie odbiegały. Przyczyniły się do tego różnice w bagażu doświadczeń Polaka i Rosjanina. Niemojewski odziera swoich bohaterów z osobowości, kreując ich na trybiki wielkiej maszyny rewolucyjnej. Ważne dla niego są ich czyny, a nie przeżycia. Przelewana na ulicach Warszawy krew jest niezbędną ofiarą, którą należy złożyć, chcąc osiągnąć postawione przed sobą cele. Doskonałym podsumowaniem poglądów pisarza są napisane przez Niemojewskiego strofy: „O Roku Wielki! Tyś jak mistrz nauczał, // Że słońce ludów zbratania nie zgasło! // A kiedy wulkan na wschodzie zahuczał, // Tyś mu z ziem naszych lot odrzucił hasło, // Krwią wypisując sojusznicze słowa, // Że Polska wstaje i że jest LUDOWA!” [Krzyżanowski 1961, 10].

Arcybaszew wręcz przeciwnie wciela się w rolę psychologa, ukazując nam emocje, jakie targają rewolucjonistami w trakcie toczonych walk. Nie tylko nie potępia on dezercji, ale przekonuje, iż podejmowanie walki nie ma sensu. Bohaterowie utworów Arcybaszewa często nie są gotowi na śmierć, bawią się w rewolucję. O ile Niemojewskiego nazwać możemy wyrazicielem poglądów większości młodopolan, o tyle ocena krwawych wydarzeń 1905 r. dokonana przez Arcybaszewa wywołała fale krytyki w środowisku literackim, a do najzagorzalszych oponentów pisarza przystąpił wspomniany przez nas M. Gorki. Jednak już kilka lat później po przewrocie 1917 r. również i rosyjscy pisarze zaczęli mówić zgodnym głosem, jawnie potępiającym działania bolszewików.

Bibliografia

- Арцыбашев М., 2009, *Крoвaвое пятно, Санин, Тени утра* // Арцыбашев М., *Санин. Роман. Повести и рассказы*, Москва: Эксмо.
- Арцыбашев М., 1994, *Человеческая волна* // Арцыбашев М., *Собрание сочинений в трех томах*, т. 2, Москва: Терра.
- Блок А., *О реалистах*, <http://ruslit.traumlibrary.net/book/blok-ss09-05/blok-ss09-05.html#work009> [25.04.2014].
- Волков А., 1964, *Русская литература XX века. Дооктябрьский период*, Москва: Просвещение.
- Горький М., *Разрушение личности*, http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0420.shtml [06.05.2013].
- Михайловский И., 2011, «Арцыбашевщина» и социально-культурный контекст, *Политическая лингвистика*, № 3(37), 236–240.
- Николаев М., *Особенности творчества М.П.Арцыбашева*, http://az.lib.ru/a/arcybashew_m_p/text_0420.shtml [02.04.2014].
- Прокопов Т., 1994, *Жизни и смерти Михаила Арцыбашева* // Арцыбашев М., *Собрание сочинений в трех томах*, т. 1, Москва: Терра.
- Durkheim E., 2011, *Samobójstwo. Studium z socjologii*, przeł. Waker K., Warszawa: Oficyna Naukowa.
- Grajewska A., 1971, *Od „piękności walki” do „odnowy duszy wspólnej” (Literatura w poszukiwaniu sensu rewolucji)* // *Literatura polska wobec rewolucji*, red. Janion M., Warszawa: PIW.
- Gorki M., 1974, *Matka*, przeł. Górska H., Warszawa: PIW.
- Handke R., 2008, *Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury*, Warszawa: PWN.
- Jakóbczyk J., 1992, *O tym, jak Młoda Polska posiwała. Proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku*, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
- Klonowski S., 1955, *Wstęp // Rok 1905 w literaturze polskiej*, opracował i wstępem opatrzył Klonowski S., Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 5.
- Krzyżowska-Protasienia G., 2004, *Michaił Arcybaszew w ocenie rosyjskiej krytyki literackiej lat 1901–1992*, *Slavica Wratislaviensia*, t. LXXI.
- Krzyżanowski J., 1961, *Autor „Ludzi rewolucji”* // Niemojewski A., *Ludzie rewolucji i inne opowiadania*, Warszawa: Czytelnik.
- Kurkiewicz M., 2013, *Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski*, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
- Literatura polska wobec rewolucji*, 1971, red. Janion M., Warszawa: PIW.
- Maciejewska I., 1991, *Rewolucja i niepodległość. Z dziejów literatury polskiej lat 1905–1920*, Kielce: Wydawnictwo Szumacher.
- Niemojewski A., 1961, *Ludzie rewolucji i inne opowiadania*, wstępem poprzedził J. Krzyżanowski, Warszawa: Czytelnik.
- Strug A., 1947, *Ludzie podziemni*, Warszawa: Wiedza.
- Strug A., 1971, *Dzieje jednego pocisku*, Warszawa: Czytelnik.
- Wróblewska T., 1968, „Kniaź Potiomkin” i antynomie rewolucji, *Dialog*, z. 3.
- Zajączkowski W., 2009, *Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji*, Warszawa: MG.
- Żeromski S., 1964, *Opowiadania*, Warszawa: Czytelnik.

Summary**ANDREW NIEMOJEWSKI AND MIKHAIL ARTSYBASHEV
AND THE REVOLUTION OF 1905**

The Russian Revolution of 1905 disturbed not only the Russian literature, but also the Young Poland. In the workers' battles Polish people saw a chance to recover their own independence. Therefore, the images of revolution created by Russian and Polish writers differed significantly from each other. This article analyzes Niemojewski's and Artsybashev's revolutionary prose. Niemojewski glorifies revolutionaries. His heroes lay down their lives for freedom. Artsybashev discredits the revolution and argues that it does not make sense, because those who fight for freedom die and will not experience it.

Чеслав Горбачевский

Кафедра русского языка и литературы

Южно-Уральский государственный университет Челябинск

ЛЕГЕНДЫ О ПОЛКОВНИКЕ ГАРАНИНЕ В ТЕКСТАХ ВОСПОМИНАНИЙ КОЛЫМСКИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ

Key words: legend, Garanin, memoirs, Kolyma, Dalstroj

В рассказе В.Т. Шаламова *Последний бой майора Пугачёва* (1959) повествователь акцентирует внимание на том, что на Крайнем Севере, «в этой стране надежд, [...], стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой» [Шаламов 1998, 319]. На колымском «краю света» для простого доходяги (например, Андреева из рассказа Шаламова *Май* (1959) даже сгущённое молоко и консервированная колбаса, доставляемые сюда по лендлизу, обретают – ни много, ни мало – статус *легенды* [Шаламов 1998, 515].

На Колыме не только обычная человеческая еда становилась легендой, но легендарный ореол приобретали и местные начальники. Один из них – Степан Николаевич Гаранин, начальник Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей в период с декабря 1937-го по сентябрь 1938 года, – до своего фактического ареста с последующим приговором к исправительно-трудовым работам в лагерях, т. е. до своего падения из „высших сфер” на землю.

Истории и легенды о Гаранине и таком явлении, как «гаранинщина»¹ в лагерной среде связаны, большей частью, с тем страхом, который Гаранин наводил на «вверенных ему» заключённых. Во времена правления Гаранина на Колыме было расстреляно свыше десяти тысяч невольников, однако точную цифру назвать едва

¹ О том, что такое «гаранинщина» Шаламов в рассказе *Курсы* писал: «Это было время, известное по Колыме и по всей России под названием «гаранинщины», хотя правильной было бы назвать это время «павловщиной» по имени тогдашнего начальника Дальстроя. Полковник Гаранин был только заместителем Павлова, начальником лагерей, но именно он был председателем расстрельной тройки и подписывал весь 1938 год бесконечные списки расстрелянных» [Шаламов 1998, 1, 473]. Т. Перельштейн (Рубман) писала в своих воспоминаниях: «На место Берзина назначили Гаранина и Павлова, жестоких и бессердечных палачей. Под их руководством условия содержания заключённых изменились до неузнаваемости» [Перельштейн (Рубман) 2003, 101].

ли представляется возможным, поскольку часть документов в архивах Дальстроя была уничтоженной вскоре после смерти Сталина.

Легенды о Гаранине – одни из устойчивых устных повествований предвоенного, военного и послевоенного периодов на Колыме. Подтверждением этому служат многочисленные свидетельства бывших колымских заключённых: «Крепко запомнился людям полковник Гаранин, неполный год было его царствование, а нагнал он страху *на долгие десятилетия: тысячи легенд и рассказов*, где быль мешается с вымыслом, ходили о нём; наверное, и сейчас (т. е. в 60-е – 70-е гг., когда А.С. Яроцкий работал над своими воспоминаниями) старики в какой-нибудь палатке геологов или в бараке дорожников долгим зимним вечером у горящей печки рассказывают их новым колымчанам» [Яроцкий 2003, 119]. Власть Гаранина на Колыме Яроцкий справедливо называет «царствованием», поскольку имя царька тесно связано с понятиями «страх» и «произвол».

В предисловии к циклу своих колымских рассказов Георгий Демидов так характеризовал дальстроевое «государство в государстве»: «На фоне фактического крепостничества, абсолютного бесправия одних и произвола других в Дальстрое расцвёл омерзительный сталинский феодализм местных царьков и подцарьков» [Демидов 2008, 16].

Фрагменты приведённых ниже текстов показывают вариативность интерпретации одного из колымских эпизодов, связанных с именем начальника УСВИТЛа. Запущенная сверху легенда об убийстве Гаранина², которого, как мы знаем, тоже отправили в лагерь, тем не менее, жила на Колыме своей жизнью.

Суть одной из основных версий мнимой гибели Гаранина заключается в том, что настоящего Гаранина якобы убили японцы, а взамен него тайно внедрили японского диверсанта, впоследствии разоблачённого и расстрелянного «сталинскими соколами». Один из главных персонажей романа Юрия Домбровского *Факультет ненужных вещей* (1964–1975) приводит именно этот, японский «извод» легенды³: «Ехал из Магадана на океанском пароходе вновь назначенный начальник лагеря. Ну, конечно, патриот, гуманист, и всё такое. А к нему в каюту забрался японский диверсант; ну и дальше как по фильму: свернул ему шею, выбросил в окно, а сам переделся в его форму, забрал документы и приехал на место назначения. Стал выполнять задание. Всё. А разоблачили его случайно: жена приехала и увидела, что это не тот. Вот такая была версия.

– И верили? <...>.

– Ну это кто как. Я-то, например, не очень» [Домбровский 1993а, 474-475]. Версия, спущенная сверху «через бригадиров», оказалась неубедительной для самих заключённых, хорошо знакомых с фабрикацией дел и колымской заправочной

² «через бригадиров пустили слух (...), – пишет Домбровский о том же в *Факультете ненужных вещей* [Домбровский 1993а, 5, 474].

³ Правда в романе Домбровского фамилия Гаранина напрямую не называется, но колымский подтекст и реалии красноречиво свидетельствуют о том, что «начальник лагеря», скорее всего, и есть Гаранин.

действительностью. Однако этот факт мало учитывался теми, кто «вдыхал в легенду жизнь», поскольку мнения «лагерной пыли» никто спрашивать не собирался.

Повествователь рассказа Шаламова *Как это началось* (1964) говорит о конспирирующей легенде, в которой «японского шпиона» разоблачает не жена, как в романе Домбровского, а родная сестра Гаранина: «Прикрывающая» легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его (т. е. Гаранина) арест и смерть. Настоящий Гаранин якобы был убит японским шпионом на пути к месту службы, а разоблачила его *сестра Гаранина*, приехавшая к брату в гости.

Легенда – одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей [Шаламов 1998, 386–387]. Ключевые слова «японский шпион» рассчитаны были на то, чтобы направить мысли масс в нужное русло, однако многими эта версия с самого начала была встречена с недоверием: «это нелепая формулировка, чтобы концы в воду» [Налимов 1994, 198], это «сказка для взрослых»⁴, рассчитанная на то, чтобы быстро замести следы.

К легенде с расстрелом Гаранина обращается в *Записках лагерного художника* Николай Билетов, проведший в заключении на Колыме более двадцати лет. Билетов не обходит вниманием мотивы генезиса легенды, которые оказываются созвучными размышлениям в текстах Шаламова и Домбровского: «Позднее, когда казнили и Гаранина, на Колыме кто-то – уж не сами ли энкавэдэшники? – усиленно распространял легенду: мол, на место врага народа Берзина из Москвы был послан хороший, честный чекист Гаранин, но по дороге Гаранина убил диверсант, завладел его документами, прибыл с ними на Колыму и стал расправляться с невинными людьми» [Билетов 1994, 86]. Билетов, как и многие другие свидетели колымских событий, пишет о том, что предшественник Гаранина был куда менее кровожадным начальником, чем его преемник. О времени «гуманного правления» Берзина тоже слагались легенды. Память о берзинском либерализме, обращение к сравнительно лучшим временам, само по себе делало догаранинский период легендарным – настолько был разительным контраст старых и новых порядков, внедрявшийся в тюремно-лагерную систему со второй половины 1937-го года.

Подневольные люди, которых гнали на Колыму, имели, в основном, отдалённое представление о конечном пункте своего назначения, а чаще всего не знали о нём почти ничего достоверного. Зачастую представления о невольничьей Колыме у тех, кто был пока на «материке», складывались по слухам и легендам: «Ходили слухи, что рабочие приисков (в том числе и «зеки») получают большие деньги, что некоторые накапливают их чуть ли не мешками. Потом мы узнали, что это касается только вольнонаёмных, а не «зек», и что так или почти так было с начала «открытия Колымы», когда начальником Дальстроя НКВД (так называлась вся колымская система приисков) был некто Берзин. Рассказывали, что при нём колымчане-дальстроевцы жили как сыр в масле. Но Берзин был «разоблачён» как

⁴ Сравни с распространённым блатарским выражением: «Не веришь – прими за сказку», в котором «сказка» выражает крайнее презрение к слушающему. Не лишена этой «презрительной» составляющей к адресату легенда о расстреле Гаранина.

«враг народа», и всё приняло иные, суровые формы» [Вагнер 2004, 86–87]. И хотя в действительности при Берзине заключённые не катались как сыр в масле, всё же слова Вагнера не являются большим преувеличением, поскольку слишком велик был контраст берзинского и гаранинского периодов. Известную роль в таком status quo сыграли и «законы жанра», когда значимое событие, да ещё и в специфических условиях, непременно обрастало изрядной долей вымысла.

Крамольные разговоры о начальниках приобретали статус строжайших табу, одно только упоминание заключёнными имени Гаранина могло привести к предсказуемым последствиям. Так, в тексте воспоминаний Павла Галицкого один из колымских начальников полковник Нагорнов строго наказывает з/к Козловского за ответ на вопрос о статье, по которой тот осуждён:

«– (...) какая статья? (...)

– Известно какая, гаранинская!»⁵, – произнёс Козловский [Галицкий 1993, 82].

Результатом дерзости, компрометирующей честного полковника Гаранина, якобы несправедливо награждающего десятилетними сроками заключённых, стало водворение провинившегося з/к на штрафной прииск сроком на шесть месяцев⁶, где Козловский «доплыл» окончательно. События, описанные выше Павлом Галицким, происходили во второй половине 1937 года, в пору расцвета гаранинского произвола.

Отголоски легенды о Гаранине звучат в воспоминаниях Надежды Иоффе, осуждённой в 1936 году к отбыванию срока на Колыме: «Забегая вперед, скажу, что когда Гаранина сняли, а по слухам и расстреляли, говорили, что он вовсе не полковник Гаранин, а бандит, убивший настоящего Гаранина и присвоивший его документы. Я лично никогда этому не верила. Во-первых, назначение на Колыму он получал в Москве, где, несомненно, должны были знать в лицо настоящего Гаранина. А во-вторых, он был типичным представителем органов того периода. Такие гаранины, в меньшем масштабе и с меньшими полномочиями, были на каждой командировке, в каждом лагпункте, в каждой тюрьме» [Иоффе 1992, 133]. Надежда Иоффе как бы выражает коллективное мнение колымчан, не веривших, несмотря на все запреты и конспиративность, в спущенную сверху легенду о гибели полковника Гаранина. Хотя заключённые, по причине отсутствия достоверной информации, домысливали то, чего тоже могло и не быть, как не было и расстрела Гаранина.

В словах Иоффе звучит мысль об обыденности существования на Колыме конца 30-х гг. кровавых самодуров разного масштаба (от уголовников и бригадиров до начальника Дальстроя). Нечего и говорить о том, что радость, облегчение и чувство заслуженного возмездия заключённые испытали после мнимого расстрела Гаранина.

⁵ В тот же период появился термин «гаранинская десятка», т. е. десять лет заключения.

⁶ Отправка на штрафной прииск – «хуже расстрела» [Шаламов 1998, 2, 160], – говорит повествователь рассказа Шаламова *Житие инженера Кипреева*.

Любопытно, что многочисленные утверждения очевидцев того, что Гаранин сам расстреливал заключённых, Шаламов относит к неправдоподобным: «После говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал лично – а только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь» [Шаламов 1998, 386]. Свидетельство Шаламова – одно в ряду многих. В мемуарных текстах других авторов – бывших колымских зэка – мы находим совершенно противоположное, а именно подтверждения того, что Гаранин не только подписывал смертные приговоры в составе расстрельной тройки, но и сам участвовал в их «приведении в исполнение».

Алексей Яроцкий: «Гаранин не гнушался и сам ролью палача, я знаю много случаев, когда *он сам стрелял*, иногда просто под горячую руку. У нас на Утинке он застрелил какого-то доцента-математика, который вёз неполную тачку. Гаранин это увидел и спросил его: «Что сволочь, саботируешь?» Ответ был достоин математика – «Моя работа прямо пропорциональна получаемому питанию» [Яроцкий 2003, 118].

Ольга Адамова-Слиозберг: «Он [Гаранин] многим добавлял «за саботаж» новый срок – 10 лет, в лагерях *своей рукой расстреливал людей*» [Адамова-Слиозберг 1993, 141].

Евгения Гинзбург: «Полковник Гаранин, заместитель Сталина на этой окоченевшей колымской земле, император и самодержец всеколымский в конце тридцатых годов. Полковник был всем сердцем предан интересам производства. Он так болел за план добычи золота, что не в силах был сдержать праведный гнев, если видел, что какой-нибудь враг народа, симулируя болезнь или слабость от голода, вяло управляет со своей тачкой. И так как полковник Гаранин был натурой порывистой и пылкой, то он нередко выхватывал свой револьвер и *сражал симулянта наповал прямо в забое, у рабочего места*.

Впрочем, чаще полковник проявлял похвальную выдержку и предварительно заносил фамилии саботажников в записную книжку. Уже потом, на другой день, он издавал приказ: таких-то и таких-то за контрреволюционный саботаж, выразившийся в систематическом невыполнении плана, – к высшей мере наказания.

Такие списки читались на разводах и поверках. Прочтут и добавят: приговор приведён в исполнение.

Иногда люди попадали в гаранинские списки и без личных столкновений с полковником, очевидно просто по характеру своих следственных дел» [Гинзбург 1089, 299].

Одну из типичных историй, слышанную от «не менее, чем двухсот очевидцев», приводит А.В. Жигулин в главке «Шахтёрские рассказы» своей книги *Чёрные камни*:

«– Иван Кузьмин (горный мастер, бывший з/к), а вы Гаранина помните?
– Ничего себе сказал – помните! Да я его видел, почти как тебя, когда он строй заключённых обходил! И не один – со свитой. Он ещё и не приехал, а по телефону дана была весть: может заехать, лично проинспектировать лагерь. Он ещё из Магадана не тронулся, а мы в Палатке всем лагерем строим стоим. Всё вычищено,

выкрашено, жёлтым песочком посыпано. Начальство бегаёт, нервничает. Вдруг слух: едет, едет! А ворота лагеря уже настежь открыты. Въезжает он целой колонной – несколько легковых «эмков», несколько грузовиков с охраной. Выходит из первой машины, свита мгновенно – по бокам. И все с маузерами поверх полушубков. Сам в медвежьей шубе. Грозный. Глаза запойные, свинцовые. Начальник нашего лагеря, майор, к нему подбегает, докладывает, голос дрожит: «Товарищ начальник УСВИТЛа НКВД!.. Весь личный состав отдельного лагерного подразделения построен!..» – «Отказчики есть?» – «Есть!» – трепетно отвечает майор. И выводят строй отказчиков, человек двенадцать. «Работать не хотите... в рот?» А маузер уже в руке. Бах! Бах! Бах! Бах!.. – всех отказчиков уложил. Кто шевелится – свита достреливает. «А рекордисты, перевыполняющие норму, есть? Ударники?» – «Есть, товарищ начальник УСВИТЛа НКВД!» Радостный, весёлый строй ударников. Им-то нечего опасаться. Гаранин со свитой подходит к ним, а маузер в руке всё ещё держит, уже пустой, без патронов. Не оглядываясь, протягивает свите назад через плечо. Ему подают новый, заряженный, он кладёт его в деревянную кобуру, но руки с него не снимает. «Значит, ударнички? Нормы перевыполняете?» – «Да...» – отвечают. А он опять спрашивает: «Враги народа, а нормы перевыполняете. Гм... Враги народа проклятые. Врагов народа надо уничтожать...». Снова – бах, бах, бах, бах!.. Ещё с десятком людей лежит в лужах крови. А он, Гаранин, вроде и повеселел, глаза поспокойнее стали... Насытился кровью, стало быть. Начальник лагеря ведёт дорогих почётных гостей в столовую – пиром угощать. И радуется, что под пулю не попал. Гаранин и командиров стрелял, когда хотел... Произвол! Произвол страшный был, когда начальником УСВИТЛа был Гаранин. Люди мёрли, как мухи» [Жигулин 1996, 216].

В рассказе-воспоминании Матвея Максимовича об одном из своих знакомых по лагерю, условно названных Павлом⁷, тоже встречается имя Гаранина: «Но, располагая достаточным временем для размышлений, Павел всё же пришел к мысли, что помилование ему совершенно ни к чему. Расстрел – это быстрая смерть, а 10 лет в колымских лагерях – смерть долгая и мучительная. Вспомнил он, как начальник северо-восточных лагерей системы ГУЛага Гаранин приезжал однажды на прииск, потребовал выстроить все бригады заключённых и спросил у бригадира, сколько процентов даёт его бригада – разумеется, вопрос был задан не в столь вежливой форме: иначе как «хайло» Гаранин бригадира не величал. Бригадир был из воров, он тут же «сориентировался» и начал хныкать, что больше 75 процентов бригада не даёт, так как «враги народа» все саботажники, работать на «дорогую советскую власть» не хотят. Гаранин распорядился назвать «самых вредных» – и бригадир выкликнул самых слабых. *Тут же на месте Гаранин перестрелял этих несчастных – собственной рукой*» [Максимович 1982, 154].

В мемуарах Михаила Миндлина не говорится о «собственноручных» расстрелах Гаранина, но констатируется его активное участие в узаконенных убийствах: «Всеобщий произвол, творимый теми, кто имел власть над заключёнными, – от лагерных «придурков» до высокого начальства, – в этот период достигал «высшей точки». По лагерю распространился слух, что это результат руководства начальника Севвостлага Гаранина, по распоряжению которого расстреливались

⁷ «Условность» имени связана с нежеланием автора подвергать риску близкого человека.

без суда и отправлялись на «Серпантинку» («расстрельная» тюрьма на Колыме) сотни заключённых. Правдивость этих слухов подтверждалась многочисленными фактами, нередко на утренних разводах зачитывались приказы лагерного начальства о расстрелах за «контрреволюционный саботаж», выразившийся в намеренном выводе из строя тачек, коробов, инструментов, отказе работать и т. д.» [Миндлин 1999, 60–61].

Воспоминания Януша Бардаха объединяют обе эти версии: по одной из них, расстреливал Гаранин «собственноручно», по другой, расстреливал с помощью «подручных»: «Сотрудник НКВД Гаранин, занявший место Берзина, вошёл в историю Колымы как зверь и садист. Приятель, которого я встретил в больнице на двадцать третьем километре, рассказал, что однажды Гаранин, приехав в больницу, спросил, есть ли жалобы. Один заключённый пожаловался на нехватку еды и плохую одежду. *Гаранин пристрелил его на месте.*

Другой рассказ о Гаранине дошёл из лагеря на Сорок седьмом километре. Однажды ночью из Магадана прибыл грузовик с офицерами НКВД. На переключке заключённых разбили на десятки, каждого десятого отослали в барак. Потом начался издевательский суд над отобранными зеками: их обвинили в коллективном саботаже, подрывной деятельности и заговоре с целью покушения на Сталина. Всех расстреляли, а тела бросили гнить в лесу. После двух следующих переключек вокруг лагеря разбросали ещё сотни трупов. Гаранин и его люди разделили судьбу своих предшественников: их казнили в 1939 году» [Бардах, Глисон 2002, 151].

Справедливости ради отметим, что в воспоминаниях, наряду с нечеловеческой жестокостью, иногда обнаруживаются свидетельства, как это и ни громко звучит, гуманных поступков Гаранина, которые, впрочем, нисколько не отменяют его садизма: «<...> как-то вечером в большой половине палатки послышались шаги, и в просвете стал человек – бритый, откормленный, в кожаном пальто. Я узнала его сразу – это был полковник Гаранин. За ним стоял начальник нашего лагеря. И весь лагерный синклит.

Гаранин осмотрел наш куток: железная печурка посередине, двое крошечных детей, пылающая в жару Шура, и потом, глядя сквозь меня, такими же, как тогда, на разводе, стеклянными глазами, спросил: «Какие жалобы?» Я сказала, что нужно, чтобы палатку утеплили, регулярно снабжали дровами, чтобы дети получали молоко, больную Николаеву [т. е. Шуру] поместили в больницу. Он повернул голову и сказал стоящим сзади: «Запишите, чтобы всё было сделано». Потом обратился ко мне: «Что ещё?» Тогда я сказала, что на прииске, в 25 км отсюда находится мой муж, с которым я имела совместное проживание, и у которого остались мои вещи. Кроме того, он даже не знает, что у нас родилась дочь (это я, конечно, наврала, я пару раз писала ему через больницу. Но вещи, действительно, остались на прииске). Я сказала, что хочу иметь свидание с мужем. Он опять повернулся и сказал: «Запишите фамилию мужа, доставьте вещи, предоставьте свидание».

После этого он ушёл.

А примерно через час явился начальник УРБ и сказал, чтобы я собиралась: нас отправляют в Магадан. Никаких устройств, никаких вещей, никаких свиданий – отправляют немедленно. Личный приказ полковника Гаранина» [Иоффе 1992, 132–133].

Галина Нурмина тоже вспоминает давние собственные впечатления от встречи с Гараниным: Гаранин, тот самый начальник СВИТЛ (он приезжал в это время на «Эльген»), говорят, узнав, что женщин послали на такую тяжёлую работу, сделал удивлённое лицо. На вид он, вопреки общему теперь представлению, не был каким-то страшилищем. Он ещё спросил, имея в виду нас, направленных на лесоповал: «Чаю им там, что ли, организовать?» [Нурмина 1992, 17].

Из описанного выше видно, что свои приезды на прииски Гаранин старался сделать максимально «эффектными» и «эффективными», поэтому у многих заключённых эти посещения остались в памяти до самой смерти.

Несмотря на вариативность ряда деталей легенды о Гаранине у различных авторов, суть её недвусмысленна: в кровожадной системе действовал обыкновенный злодей, а вовсе не японский шпион, впоследствии павший жертвой самой системы. Правда, значительная часть мемуаристов говорит о расстреле Гаранина, как о свершившемся факте, но не о его действительной смерти – о которой они и не могли знать – в 1950 году в Печёрском лагере.

Все авторы (бывшие колымские заключённые), писавшие о смерти Гаранина, сходятся в одном: «расстрел» Гаранина – один из многих расстрелов в череде уничтожения и правых, и виноватых. Как писал в заметке *К истории* Юрий Домбровский: «Пало право и настал 37 год. Он не мог не настать. Сталинский конвейер – это сфинкс без загадки. Если уничтожать не за что-то, а во имя чего-то – то остановиться нельзя» [Домбровский 1993б, 679].

Наверное, нельзя не согласиться с Алексеем Лосевым, писавшим о том, что «чем личность замечательнее, тем более обрастает она в последующих поколениях разного рода мифами и сказками и тем труднее добраться до исторической правды» [Платон 1990, 5]. Конечно, полковника Гаранина едва ли можно отнести к числу замечательных личностей, да и не о Гаранине писал Лосев. Но, так или иначе, воспоминания колымских заключённых об одном из главных колымских душегубов приоткрывают часть почти уже забытой исторической правды о событиях недавнего прошлого.

В воспоминаниях Геннадия Тёмина речь идёт о «старом „воронке“ (...) времён Гаранина» [Тёмин 1995, 63], на котором заключённых возили расстреливать за посёлок. Геннадий Тёмин, показывая преемственность в злодействе и связь гаранинских расстрелов с послевоенными расстрелами на Колыме, акцентирует внимание на «воронке» времён Гаранина, а не Филиппова, к примеру, или Драбкина – других начальников УСВИТЛа (до- и послегаранинского периодов). В этом контексте, именно гаранинский воронок становится символом массовых расстрелов на Колыме.

Библиография

- Адамова-Слизберг О., 1993, *Путь*, Москва: Возвращение.
- Бардах Я., Глисон К., 2002, *Человек человеку волк: выживший в ГУЛАГе*, Москва: Текс.
- Билетов Н., 1994, *Из записок лагерного художника*, Волгоград: Б. и.
- Вагнер Г., 2004, *Из глубины взываю... (De profundis)*, Москва: Круг.
- Галицкий П., 1993, *Этого забыть нельзя!*, Санкт-Петербург: Б. и.
- Гинзбург Е., 1989, *Крутой маршрут: хроника времён культа личности*, т. 1, Москва: Курсив.
- Демидов Г., 2008, *Чудная планета*, Москва: Возвращение.
- Домбровский Ю., 1993а, *Факультет ненужных вещей*, т. 5, Москва: ТЕРРА.
- Домбровский Ю., 1993б, *К истории*, т. 5, Москва: ТЕРРА.
- Жигулин А., 1996, *Чёрные камни*, Москва: Культура.
- Иоффе Н., 1992, *Время назад: моя жизнь, моя судьба, моя эпоха*, Москва: Биологические науки.
- Максимович М., 1982, *Невольные сравнения*, London: Overseas Publication Interchange.
- Миндлин М., 1999, *Анфас и профиль: 58–10*, Москва: Возвращение.
- Нурмина Г., 1992, *На дальнем приiske*, Магадан: ГОБИ.
- Платон, 1990, *Собрание сочинений*, т. 1, Москва: Мысль.
- Перельштейн (Рубман) Т., 2003, *Помни о них, Сион...*, Иерусалим.
- Тёмин Г., 1995, *В тени закона: боль о пережитом*, Санкт-Петербург: Лики России.
- Шаламов В., 1998, *Собрание сочинений*, т. 1–2, Москва: Художественная литература.
- Яроцкий А., 2003, *Золотая Колыма, Железнодорожный*: РУПАП.

Summary

LEGENDS ABOUT COLONEL GARANIN IN KOLYMA'S EX-CONVICTS' MEMOIRS

This article is devoted to the Kolyma legend formed during Stalin's regime. The legend was spread amongst the convicts of Kolyma after Garanin's arrest at the end of 1938. Garanin was known as a chief of the USVITL (Dalstroj) from 1937 to 1938. A great number of Kolyma's convicts focused in their own memoirs on eternal problems, connecting ordinary events with totalitarian times: Garanin was an omnipotent chief for more than a year. After a short period of time he lost all his power and influence (he was arrested and died in prison).

«в литературоведческих исследованиях были справедливо названы „русским периодом” в творчестве Ф. Кафки, когда наиболее значительными для писателя становятся произведения Достоевского» [Данилкова 2002, 3]. Это подтверждают и дневниковые записи самого Кафки [Кафка 2009а, 451-505]. Также, по словам исследовательницы, написание триптиха *Кары* знаменовало собой «новый этап в творческом развитии» автора [Данилкова 2002, 3], отделяющий его совсем раннее творчество от времени создания основных, «зрелых» произведений, как и в случае со сборником Гомбровича «Мемуары периода созревания» (1933), в состав которого входит и рассматриваемый нами рассказ, – появление *Мемуаров...* также стало «преддверием» основного, «серьёзного» творчества польского писателя.

Интертекстуальная связь Кафки и Гомбровича с наследием Достоевского обнаруживается уже в самих названиях произведений. Так, наименование рассказа, открывающего кафковский сборник (рассказ «Приговор») в точности совпадает с названием монолога-очерка русского писателя [Достоевский 2014], а «имя» всего сборника напоминает о романе *Преступление и наказание* (*Кары* – в оригинале *Strafen*, что означает «Наказания»). К этому роману отсылает нас и название рассказа Гомбровича в его подстрочном переводе: оригинальное – *Zbrodnia z premedytacją*, что буквально означает «Преднамеренное преступление», а не «убийство», как в адаптированном переводе Л.В. Климовского. В содержании же этих произведений обнаруживается любопытная «цепочка» аллюзий, свидетельствующая не только о влиянии на творчество обоих авторов традиции Достоевского, но и о диалогичности рассказа Гомбровича по отношению к творчеству Кафки.

Обращение польского автора к кафковскому творчеству выражается в обилии интертекстуальных отсылок к его произведениям. Так, в рассказе *Преднамеренное убийство* создаётся скрытая диалогическая ситуация, экспликация которой становится возможной благодаря знакам и символам, создаваемым автором: Гомбрович выбирает такой же, как у Кафки, способ номинации героев – создание инициалов, причём члены семьи, находящейся в центре повествования, именуется как Антоний К., Цецилия К., господин и госпожа К., то есть инициалы их фамилии совпадают с инициалами главных героев самых известных и значимых романов Кафки – *Процесса* и *Замка* (Йозеф К., господин К.). Помимо этого, Гомбрович именует своего главного героя – следователем Г., что соответствует его собственной фамилии [Мальцев 2011, 389]. Подобным приёмом, как известно, пользовался и Кафка.

Необходимо сделать несколько замечаний о жанровом своеобразии кафковского сборника. Важным моментом является обнаружение притчевых черт в двух последних рассказах. И *Преображение*, и *В исправительной колонии* имеют притчевую структуру, их содержание двупланово: один план представлен изображением событий, претендующих на восприятие их как единственно возможной реальности, другой создаёт загадку, за разгадыванием которой кроется более обобщённый, символический смысл. Так, за страшным перерождением Грегора в насекомое мы можем разглядеть трагедию «маленького человека», его отверженности обществом, даже собственной семьёй, а в исправительной машине, созданной старым

комендантом колонии – жестокий механизм тоталитарной власти. При этом необходимо отметить, что ни *Превращение*, ни *В исправительной колонии* не содержат дидактизма, являющегося традиционной чертой жанра и не характерного для нового типа притч XX века [Лескова 2013, 124-128].

Первый рассказ сборника *Приговор* представляет собой редкий для кафковского творчества пример не полностью иносказательного произведения, а во многом – автобиографического, содержание которого относит нас к реальной жизни автора и его взаимоотношениям с отцом [Кафка 2009б, 416-445]. Однако элементы иносказания также присутствуют в нём: одним из наиболее ярких примеров этому является таинственная «казнь водой», к которой приговаривает героя его обезумевший отец. Она представляет собой то ли перевёрнутую аллегория христианского обряда крещения (не после рождения, а перед смертью), то ли иудейского «омовения», что и в том, и в другом случае представляет собой символ предсмертного очищения Георга, то ли всемирного потопа, к которому приговорил Господь своего нравственно падшего «сына» – человека, раскаявшись в его создании.

При всей алогичности, абсурдности, разорванности причинно-следственных связей в кафковском творчестве вообще и в сборнике *Кары* в частности, различие в степени открытости, мотивированности «преступления» героев всё же присутствует. В рассказах представлены специфические типы наказания (наказание-«приговор», наказание-«превращение» и наказание-«исправление»), каждый из которых находится в сложной диалектической зависимости от вины «осужденного» героя, от того, является она очевидной или скрытой (не утверждаемой, но предполагаемой фактом совершившегося наказания), или же искусственно навязывается довлеющей силой.

Так, в первом рассказе сборника — *Приговор*, дурные помыслы Георга, вменяемые ему в вину, — равнодушие к другу и желание избавиться от немощного отца, который, собственно, и судит героя («ты и лгал (...) все эти годы», «подмял отца под себя» [Кафка 2009в, 283]), а также соответствующее всему этому наказание («приговариваю тебя к казни водой!» [Кафка 2009в, 285]) провозглашаются прямо и от лица конкретного персонажа (что не исключает в то же время и сомнений в этой виновности, ввиду отсутствия её объективных доказательств).

В рассказе *Превращение* какое-либо объяснение произошедшего с героем несчастья полностью отсутствует. Даже в финале произведения мы не находим ответа на вопрос, за что же так жестоко наказан Грегор. Сам приговор также «непроницаем» и мистичен. Очевидны для нас лишь эгоизм семьи героя, для которой он внезапно «превращается» из единственного кормильца в тяжкую обузу, — «будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушёл бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память» [Кафка 2009в, 329], и беспричинная ненависть отца, закидывающего яблоками беззащитное «насекомое». Как пишет Ю. Данилкова, яблоки в данном случае являются двойным символом: они выполняют у Кафки функцию камней, которыми во многих религиях было принято закидывать нарушивших закон

(что, по мысли исследовательницы, является маркером его виновности) [Данилкова 2002, 102], и в то же время представляют собой «образ познания» [Данилкова 2002, 102], который, как мы видим, необходим и самому Грегору, и нам, как читателям, для прозрения смысла его загадочного и внезапного превращения.

Примечательно, что образ-мотив насекомого является одним из ярчайших и значимых мотивов в творчестве Ф.М. Достоевского: метафора насекомого в *Записках из подполья*, коричневый и скорлупчатый «гад» непонятного происхождения во сне Ипполита в *Идиоте*, многочисленные сравнения героев с разными видами насекомых – тараканами, клопами, фалангами, тарантулами в *Братьях Карамазовых*. В работе М.В. Киселёвой герои Достоевского и Кафки, подвергнувшиеся сравнению с насекомыми или же «превратившиеся» в них получили название – героев «обратной эволюции» [Киселёва 2012, 158], движущихся от образа человека не к более высокому уровню, а, наоборот, опускающихся вниз. Р. Бэлнеп, обращает внимание на сочетание образа насекомого у Достоевского с мотивом сладострастия, заимствованным, в свою очередь, у Шиллера («Насекомым-сладострастием, человеку-божий лик...») [Бэлнеп 1997, 41]. В кафковском *Превращении* этот мотив обнаруживает себя в вышеупомянутом символическом образе яблока. Не исключено, что этот образ может также являться авторским намеком на скрытую преступную сладострастность героя.

В последнем рассказе сборника – *В исправительной колонии* представлен смешанный тип наказания, при котором изначально причины расправы с заключенными никак не объясняются, – мы видим страдания ни в чём не повинных людей, подверженных действию механизма безжалостной системы. Однако принцип работы этого механизма таков, что, карательная машина сама «объявляет» виновность приговорённого, вырезая объяснение кровавыми ранами на его теле: «борона записывает на теле осуждённого ту заповедь, которую он нарушил. Например, у этого (...) на теле будет написано: Чти начальника своего!» [Кафка 2009в, 347]. Необходимо обратить внимание на кольцевую композицию триптиха: как и в первом рассказе сборника, *Приговоре*, в котором отец упрекает сына в отсутствии почитания его как родителя и как «старшего», в последнем, завершающем рассказе «В исправительной колонии» обнаруживается то же самое, только в более лаконичной формулировке.

Таким образом, кафковский сборник *Кары* представляет собой объединение рассказов, которые изображают три типа наказания и отвечают диалектической триаде – тезис-антитезис-синтез: *Приговор* – тип наказания, соответствующий явности, открытости вины героя, *Превращение* – тип наказания героя, вина которого остаётся скрытой, необъяснённой, *Исправление* – диалектический, открыто-закрытый тип наказания, при котором вина героя изначально не названа и озвучивается лишь к финалу. Из вышепредставленных типов наказания рассказ Гомбровича относится к третьему типу – наказание-исправление. Не осознающий своей вины преступник выступает жертвой ложного обвинения, затем при помощи следователя «дозревает» до её осознания, очищаясь через внутренние мучения

и тем самым исправляясь. Причём подозреваемый не только исправляется сам, но и производит своеобразную «поправку» в ходе следствия – создаёт недостающие улики, подтверждающие его причастность к смерти отца. Помимо мистического и неотвратимого наказания, настигающего героев, главной объединяющей мыслью триптиха *Кары* и рассказа Гомбровича становится общее, единое преступление, одинаковая вина героев – непослушание «старшему», за образом которого может стоять как отец или начальник, так и высший моральный Закон и его незыблемые основы. Это подтверждает и повторяющаяся в *Преднамеренном убийстве* деталь, являющаяся аллюзией Гомбровича на кафковское творчество, – дохлый таракан. Являясь, в отличие от кафковской метафоры насекомого, деталью реалистической, она выполняет в то же время и символическую роль в рассказе, – роль «проводника» мысли об отверженности семьёй и о сложных взаимоотношениях отца и сына: так же, как и в рассказе *Превращение*, к которому отсылает нас используемый Гомбровичем образ насекомого, герой рассказа – умирающий глава семейства, Игнаций К., оказывается в изоляции, семья отгораживается от него в роковую ночь, что иллюстрирует реальное и в то же время символическое «закрывание дверей».

Тема непростых взаимоотношений отца и сына, приводящих к трагическому финалу, подвергается рефлексии не только в произведениях Кафки и Гомбровича, – она представляет собой одну из основных проблем, поднимаемых в творчестве Достоевского. И *Приговор*, и *Преднамеренное убийство* отсылают нас к судебной речи Ивана из *Братьев Карамазовых*, представляющей собой квинтэссенцию противостояния «отцов и детей» в романе, к его (Ивана) печальному выводу-признанию: «Кто не желает смерти отца?» [Достоевский 1976, 158], что по-своему ретранслируется в произведениях Кафки и Гомбровича. Их герои, сами того не подозревая, оказываются равнодушными и даже жестокими к отцам в ситуации болезни (*Приговор*), о чём свидетельствует вырвавшееся у Георга «Хоть бы он упал и расшибся!» [Кафка 2009в, 285], и в ситуации смерти (*Преднамеренное убийство*), что выявляет показная скорбь Антония, замечаемая следователем.

Ещё одним примером обращения Гомбровича к творчеству Достоевского (намеренность которого последовательно доказывает Е. Яжембский [Jarzębski 1982, 395]) является использование следователем Г. психологического метода Порфирия Петровича из романа *Преступление и наказание*, суть которого, как пишет Л.А. Мальцев, «не «математически» доказать виновность, а «довести» преступника до того состояния, когда тот «сам придёт» [Мальцев 2011, 73]. Интертекстуальным «сигналом», по словам исследователя, является используемый Гомбровичем парфраз высказывания из *Бесов*: [...] как – говоря словами Достоевского – приготовить печень из зайца, если у вас нет зайца» [Мальцев 2011, 73], свидетельствующий о перевёрнутом представлении следователя о последовательности и уместности произведения наказания: «должно быть наказание, следовательно, нужно „измыслить, задумать, обдумать” преступление» [Мальцев 2011, 73].

Кафка же не демонстрирует так открыто своё «общение» с Достоевским, скрывая образ русского писателя (всё в том же рассказе *Приговор*) за таинственной

фигурой некоего «друга из России», из Петербурга, что является, на наш взгляд, не только намёком на самого классика, но и на изображаемых им самоубийц, в числе которых – и софист-парадоксалист из монолога-очерка *Приговор*, что подготавливает ожидания читателей одноимённого кафковского произведения к аналогичному трагическому финалу.

Косвенное «самоубийство» совершает и Антоний в *Преднамеренном убийстве*: внушаемое следователем чувство вины и желание быть наказанным приводит его к сотрудничеству с ведущимся против него следствием, – ради ускорения «процесса» он даже душит труп умершего своей смертью отца. Тем самым герой Гомбровича, равно как герои Кафки и Достоевского (в его рассказе *Приговор*) выступают одновременно и в роли жертвы, и в роли палача, причиной чего является их внутренняя борьба – осознание своей возможной вины (Георг, Антоний) или бессмысленности своего существования, лишённого цели (кафковский офицер, софист Достоевского), что постепенно приводит их вначале к моральному, а затем и к физическому самоубийству. Подобная трактовка преступления и наказания, заключающаяся в реализации суда над героем (в том числе и его собственного) без совершения им фактического преступления (так называемое наказание без преступления) представляет собой абсурдистский вариант этой проблемы.

Рассказ Гомбровича *Преднамеренное убийство* может считаться одним из ранних проявлений абсурдистского миропонимания писателя, предполагающим, как у Кафки, разрушение причинно-следственных связей преступление – наказание. Таким образом, Гомбрович оказывается «на стороне» Кафки, а не Достоевского. Однако у польского писателя отсутствует кафковская приверженность ветхозаветному мышлению, с которым связано представление об абсолютной авторитетности наказания. Человек у Гомбровича вовсе не является заложником некоей непонятной метафизической силы, он впутан в сложную игру с другими людьми. В отличие от Кафки, у Гомбровича любое осуждение или оправдание относительно, они зависят от характера, настроения участников следственной «игры», а также от множества мелких, даже ничтожных и случайных обстоятельств, из которых следователь Г. пытается составить «мозаику» обвинения. Нет никакой обреченности, никакого рока, во всем господствует случайность и все зависит от людей – участников действия, точнее от отношений, которые между ними складываются. Это сугубо «светская», даже атеистическая трактовка преступления и наказания, а не христианская (как у Достоевского), и не впитавшая опыт иудейской традиции (как у Кафки).

Библиография

- Брод М., 2000, *О Франце Кафке*, Санкт-Петербург: Академический проект.
Бэлнеп Р., 1997, *Структура «Братьев Карамазовых»*, Санкт-Петербург: Академический проект.
Гомбрович В., 1991, *Преднамеренное убийство*, Москва: Известия.
Давид К., 2008, *Франц Кафка*, Москва: Молодая гвардия.

- Данилкова Ю., 2002, *Проблема вины в творчестве Ф.Кафки*, Москва: Изд-во РГГУ.
- Достоевский Ф.М., 1976, *Братья Карамазовы // Полное собрание сочинений в 30 томах*, т. 15, Ленинград: Наука.
- Достоевский Ф.М., *Приговор*, <http://www.library.ru/text/4/p.1/index.html>.
- Кафка Ф., 2009а, *Дневники (1914-1923) // Собрание сочинений в 3 т.*, т. 3, Москва: Терра-Книжный клуб.
- Кафка Ф., 2009б, *Письмо отцу // Собрание сочинений в 3 т.*, т. 3, Москва: Терра-Книжный клуб.
- Кафка Ф., 2009в, *Приговор, Превращение, В исправительной колонии // Собрание сочинений в 3 т.*, т. 1, Москва: Терра-Книжный клуб.
- Киселёва М.В., 2012, *Понятие границы: рецепция Ф.М. Достоевского в австрийской литературе (Ф. Кафка и Р. Музиль)*, Москва: Изд-во РГГУ.
- Лескова Е.В., 2013, *Притчевое и параболическое начало в произведениях Ф.М. Достоевского «Великий Инквизитор» и Ф. Кафки «Перед Законом»*, *European Social Science Journal* (Европейский журнал социальных наук), , nr 11, t. 1.
- Мальцев Л.А., 2011, *Традиция экзистенциализма: польские варианты*, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
- Jarzębski J., 1982, *Gra w Gombrowicza*, Warszawa: PIW.

Summary

PUNISHMENTS BY F. KAFKA AND A PREMEDITATED CRIME BY W. GOMBROWICZ: THE TYPES OF PUNISHMENT AND THE TRADITION OF DOSTOEVSKY

This article investigates the role of Russian literary classics (the tradition of Dostoevsky) in Kafka's and Gombrowicz's modernist works *Punishments* and *A Premeditated Crime*, respectively; it also discloses the dialogic intertextual space that brings together the works by Dostoevsky, Kafka and Gombrowicz and the overall theme of "crime and punishment," inspired by the Russian writer.

Наталья Кожуховская

Кафедра русской и общей филологии Института гуманитарных наук
Сыктывкарский государственный университет

СУДЬБЫ УТОПИИ В ЦИКЛЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МИРГОРОД»

Key words: Gogol, *Myrgorod*, utopia, circle motif

Гоголь, писатель с ярко выраженным мессианским самосознанием, всю сознательную жизнь находился под непобедимым обаянием утопической идеи – от сказочно-фольклорного мира *Вечеров на хуторе близ Диканьки* он шел к дерзкому замыслу трехтомного эпоса о воскрешении «мертвых душ» и к откровенно учительному пафосу *Выбранных мест из переписки с друзьями*.

Особым (как представляется, переломным) этапом этого пути видится миргородский цикл.

Заглавие *Миргорода* всегда вызывало исследователей на то, чтобы усмотреть в нем символику: то ли город, сам для себя равный миру, то ли мир, сжатый до размеров города, весь выразившийся в нем. Имя города, впрочем, не фиктивное, и в первом эпиграфе к циклу Гоголь как раз это подчеркивает: «Миргород – нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет одну канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц». Перечисление солидных, полновесных объектов как бы закрепляет существование города в реальном пространстве. За этим следует второй эпиграф – «из записок одного путешественника»: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны» [Гоголь 1966, 5]. Бытовая частность, выхваченная из контекста и принимающая на себя в роли эпиграфа непосильное бремя многозначительности, обретает комически-важную интонацию, которая усилена ассоциацией «дырка от бублика». Бублик – эмблема города, чуть ли не его герб.

Как замечал Ю.М. Лотман, «пространство в художественном произведении моделирует разные связи картины мира: временные, социальные, этические и т.д.» [Лотман 1988, 252]. Анализируя с этой точки зрения миргородский цикл, исследователь обращает внимание на противопоставления: *Тарас Бульба / Старосветские помещики* – пространство открытое / замкнутое; а *Тарас Бульба / Повесть о том,*

как *поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем* – пространство связанное / хаотичное и раздробленное. Двоемирие (бытовое / фантастическое) *Вия*, на взгляд Ю.М. Лотмана, губительно тем, что миры проникают друг друга разрушительным для человека образом [Лотман 1988, 276, 281].

Однако в интересующем нас аспекте (утопия) здесь обнаруживается, прежде всего, актуальность и сквозной характер оппозиции «внешнее / внутреннее».

Очевидно, что среди гоголевских циклов *Миргород* отличается особенной внутренней «неоднородностью». Четыре его повести связаны контрастно-дополнительными отношениями. Темповое чередование напоминает симфонию: *Adagio* (*Старосветские помещики*), *Allegro maestoso* (*Тарас Бульба*), *Scherzo* (*Вуй*), *Andante* (*Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем*) с небольшой вспышкой оживления в кульминации и затуханием в финале.

Лейтмотив цикла – образ круга. Наиболее многообразно он реализован в *Старосветских помещиках*, где варьируется на уровне системы микрообразов: «уединенный», «окружающий», «частокол», «плетень», «осененный», «вокруг», «сфера», «свод». Вселенная *Вечеров...* сужается здесь до размеров сада, окружающего помещичий домик: не мироздание, а всего лишь маленький мирок, трепетно и тщетно пытающийся сохранить свою идиллическую цельность от вторжения внешнего мира. Существование героев вписано в целую систему концентрических кругов:

Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербою, бузиною и грушами. (...) Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. (...) Радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе [Гоголь 1966, 7-8, 11].

В этом замкнутом мире и время движется по кругу, как рыбка в аквариуме: вплоть до развязки это – настоящее неопределенное (своего рода русская версия *Present Indefinite Tense*), нигде на временной оси не закрепленное, бесконечно повторяющееся; абсолютно доминируют глагольные формы несовершенного вида и так называемые многократные глаголы: «говаривал», «закушивал» и т.п. Настойчиво крутятся обороты: «обыкновенно», «по обыкновению» и т.п. Все это признаки идиллии. Идиллия живет, пока она верна себе и не нуждается во внешнем мире: «ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик».

Но охранительные барьеры внушают сострадание своей ветхостью, своим чисто символическим характером. Столбики галереи уже почернели, частокол и плетень разваливаются, избы пошатнулись на сторону. Даже свод радуги назван «полуразрушенным». Автономия идиллии под угрозой: довольно ничтожного толчка, чтобы она рухнула, первой же прорехи в магическом кругу. Такой прорехой оказывается обидно прозаическая дыра под амбаром, через которую дикие коты

подманили серенькую кошечку Пульхерии Ивановны, «как отряд солдат подманивает глупую крестьянку». Бегство кошечки в этом мире приобретает статус события, притом единичного, т.е. преобразующего циклическое время в линейное; в повествование вторгаются глаголы совершенного вида, обозначающие законченное действие. Единожды двинувшись с места, время торопится наверстать упущенное: герои умирают, домик пустеет, крестьяне разбегаются.

В *Тарасе Бульбе*, самой крупной повести сборника, круг есть принцип организации системы персонажей. Коллективный герой повести – братство запорожских казаков, объединенное идеей защиты отчизны и православной веры. «Вот в какое время подали мы руку на братство, – говорит Тарас. – Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества...» [Гоголь 1966, 125].

В то время как круг идиллии занимает оборонительную позицию, круг героического эпоса атакует. Героико-патетический финал *Тараса Бульбы*, как и лирико-драматический в *Старосветских помещиках*, не отменяет трагического начала. Г.А. Гуковский, писавший в своей содержательной работе о том, как мир нормы, изображенный в *Вечерах...*, заменяется миром разрушения нормы во втором цикле, разглядел утопизм *Тараса Бульбы*, но относил его за счет противопоставления повести о соре двух Иванов: Тарас и его товарищи – это то, что «должно быть и могло быть с людьми Руси, а Иваны – это то, что есть»; раз такие люди были некогда, значит, есть надежда и на возрождение этих оцепенелых «мертвых душ» [Гуковский 1959, 124, 128]. Противопоставление действительно имеет место; но утопизм *Тараса Бульбы*, как нам кажется, существует несколько в иной плоскости.

Казаки Гоголя наиважнейшей своей задачей почитают содействовать наступлению такого времени, «чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами!» [Гоголь 1966, 121-122]. Однако в стремлении к своей цели они не просто воинственны – они воинственны агрессивно, нетерпимы, жестоки (как, впрочем, и их противники). Через всю повесть проходит тема преследования людей другого круга – «жидов», «ляхов». Когда в ответ на вопрос Тараса, много ли в городе «наших», еврей Янкель отзывается: «Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор...» – Тарас приходит в неподдельное негодование: «Что ты мне тычешь свое жидовское племя...» [Гоголь 1966, 103].

А когда Бульба в кругу товарищей провозглашает тост «за всех христиан, какие живут на свете!» – при этом совершенно очевидно, что поляки-католики, с которыми Сечь ведет непримиримую войну, таковыми по определению не считаются.

«Знаю, подло завелось теперь на земле нашей (...); свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке...», – говорит Бульба [Гоголь 1966, 125]. И здесь то же самое: осуждается не работоторговля (авторская аллюзия на крепостное право) как таковая, а разрушение единства внутреннего круга – «свой своего». Э. Бенвенист отмечал этимологическое родство индоевропейских корней в словах «свой» – «свободный»: принадлежность к собственной этнической группе «дает человеку привилегии, которых никогда не имеет чужестранец и раб» [Бенвенист 1974, 356].

При этом сам состав Сечи – пестрый, процедура приема новых «сечевиков» – формальная, и сыновья Тараса дивятся, что «при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут» [Гоголь 1966, 60]. По сути, описанное Гоголем казачество отвечает всем признакам того феномена, который Л.Н. Гумилев в работе *Этногенез и биосфера Земли* назвал «химерическим», или «химерным» этносом – и который является образованием прежде всего искусственным. Автор рецензии на работу Л.Н. Гумилева подчеркивал, что этнос такого типа порождает «хищническую практику», поиски искусственных (насильственных) решений возникающих проблем – и ему, как любому «больному» этносу, сопутствует «массовый психологический синдром, выражающийся в потребности во что бы то ни стало «переделать» – не устраивающую их природу и культуру, причем переделка эта, как правило, выливается в разрушение» [Бородай 1981, 82-83]. (Публикация заметки о «химерных этносах» в СССР, многонациональном государстве имперского типа, вызвала скандал и увольнение ее автора из Института философии Академии Наук.)

Эта мысль развивается Ю.С. Степановым, который в своем словаре концептов русской культуры *Константы* пишет об искусственном разделении советской идеологией понятий «интернационализм» и «космополитизм», по сути отличающихся только своей коннотацией (*положительное – отрицательное*), в основе чего лежит все то же разделение на «своих» и «чужих», людей иного круга. Единство людей хорошо, когда оно практикуется в своем кругу; попытки осуществить его во внешней среде изначально плохи, ибо тут же объявляются «непатриотичными». Роковым разделом является государственная граница [Степанов 2001, 144-145].

Такое положение вещей изначально заряжает повесть Гоголя глубоким внутренним конфликтом, ибо герои воспринимают себя в качестве ревнителей христианской идеи, т.е. идеи любви, терпимости и милосердия. Именно с этой стороны и оказывается уязвимым круг запорожского братства. Как и в «Старосветских помещиках», разрыв происходит «изнутри»: Андрий, более впечатлительный, чем его отец и брат, потрясенный страданиями осажденных и любимой им девушки, жертвует любви товариществом и верностью – а им, в свою очередь, жертвуют кровной связью, родительской любовью: Тарас убивает своего сына как изменника.

Характерно, что в литературоведческих интерпретациях советской эпохи это убийство всячески оправдывалось – и оправдание его приписывалось также автору: Тарас = Гоголь. Вот типичное высказывание: «хотя предательство выросло не на почве равнодушия, голого расчета, это не снимает с Андрия вины, даже не смягчает ее. Гибнет не человек, а *подлая собака*» [Докусов 1971, 156-157]. Опущено единственное словечко: «пропал бесславно, как подлая собака», – с горечью говорит Тарас, глядя на красивого мертвого юношу. Такое же отождествление (хотя с иных, осуждающих позиций) совершал и, например, М.Я. Вайскопф, писавший, что повесть Гоголя насыщена «неистовым русским национализмом и обострившейся враждой к ляхам-католикам» [Вайскопф 2002, 292]. Хотя еще Г.А. Гуковский, работавший над своей монографией о Гоголе в самые мрачные сталинские годы,

разводил автора и его персонаж и осторожно замечал, что Гоголь нисколько не восхищался «грубой жестокостью и дикостью эпохи» [Гуковский 1959, 141]. В конечном счете, правда, исследователь оказался вынужден списать мало-помалу накопившиеся в ходе анализа несообразности на то, что «Гоголь впадает даже в противоречие с самим собою», так как казаки декларируют свою веротерпимость «в пределах христианских учений», но «черной ненавистью ненавидят католиков» [Гуковский 1959, 152]. В действительности, разумеется, противоречие заключалось в вынужденной для автора монографии необходимости хоть сколько-нибудь «подтянуть» гоголевскую повесть к господствовавшей идеологической парадигме.

В *Тарасе Бульбе* много смертей. Но не они сами по себе трагичны – ни ужасная гибель Андрия, ни героическая и одновременно мученическая (под пытками и на костре) смерть его брата и отца. Трагично непримиримое противостояние равновеликих идей, трагичен выбор, перед лицом которого оказываются люди и который невозможно совершить без уничтожения некой абсолютной ценности; выбор, не оставляющий надежд на осуществление утопического идеала в реальности. Мир, в котором любовь может быть реализована только через предательство, а справедливость – через сыноубийство, – это мир, возможно, великолепный в замысле, но искаженный в его воплощении.

В *Вие* мотив круга реализован непосредственно в сюжете и принимает на себя главное его напряжение, когда Хома Брут вынужден ночью в церкви читать псалмы у гроба ведьмы-панночки: «В страхе очертил он около себя круг (...). Она (ведьма – Н.К.) стояла на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее...» [Гоголь 1966, 194-195].

Кульминационные моменты текста связаны с попытками темных сил прорвать магическую защиту. Но и в этом случае они остаются безрезультатными, пока не происходит встречное движение изнутри, всего лишь намек на капитуляцию:

« – Не гляди! – шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

– Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец» [Гоголь 1966, 204].

Демонические силы не могут завладеть человеком, не получив на то его внутреннего согласия: только оно и разрывает круг. Хома Брут в этом смысле – сам свой собственный убийца. Духи зла не прикоснулись к нему: «вылетел дух из него от страха». И в финале рассказчик подтверждает: «пропал он оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать» [Гоголь 1966, 205].

«Вий» моделирует ситуацию «искушения» в чистом виде, причем любопытство героя обладает заведомо негативной природой: он понимает его пагубность, но не в силах совладать с собой. М. Виролайнен отмечала, что у Гоголя страх перед разрушением замкнутости сопровождался «и на биографическом, и на творческом уровне – острейшей потребностью пересечения границ» [Виролайнен 2008, 655].

Сюжет всех трех повестей, таким образом, может рассматриваться как построенный на мотиве разрушения круга, которым обозначают свою сферу автономности

и полновластия частные жанры: идиллия, героический эпос, волшебная сказка. Барьер не выдерживает, и в жанр вторгаются, разрушая его, не свойственные ему проблемные повороты. В классической идиллии не мог бы возникнуть вопрос об осмысленности чисто частного существования, как в классическом эпосе – вопрос о цене верности и героизма; классическая сказка не должна завершаться гибелью главного героя.

Нечто неожиданное происходит в *Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем*. Перед нами опять замкнутый на себя мир: на сей раз это мир бытовой повести, обладающий также собственным, тщательно прописанным пространством и собственным летоисчислением: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! (...) Он шил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев» [Гоголь 1966, 206]. Очевидно, дата исторического путешествия Агафии Федосеевны используется как точка отсчета вместо Рождества Христова: «до» и «после»; Киев для миргородцев куда более важен (и, во всяком случае, более известен), чем какой-то там Вифлеем.

Миргород позиционирует себя прямо-таки как рай земной, хотя сквозь простодушные восторги рассказчика неизменно просвечивает авторская насмешка: «Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее [Гоголь 1966, 230-231]. Здесь возникают, во-первых, превращенные мотивы *Старосветских помещиков* (обогащенные гоголевским сарказмом), во-вторых – в ретроспективе – совсем уже травестированные пейзажи *Вечеров...*, где самые вдохновенные страницы были посвящены описанию Днепра, по чьим берегам «толпятся» прибрежные леса с полевыми цветами, не в силах наглядеться на его светлые воды. Лужа как бы задает масштаб мира четвертой повести; а где лужа, там и свиньи, – и свинья действительно скоро появляется, чтобы похитить донос Ивана Никифоровича на Ивана Ивановича. Впрочем, и к двуногому населению города, как очевидно любому читателю, ничто не препятствует применить данное в сердцах определение Городничего из *Ревизора*: «свинные рыла вместо лиц». Чего стоит одна приснопамятная Агафия Федосеевна, прославившая себя тем, что «откусила ухо у заседателя».

Живут миргородцы точно на другой планете, и отзвуки внешних событий доходят до них лишь в виде мифа, внушающего подозрение, что реален только Миргород, а за его пределами – фиктивный, придуманный мир. Поговаривают, что три короля объявили войну «нашему царю», чтобы заставить его принять турецкую веру. В этой форме до Миргорода дошли слухи о войне с Францией, Пруссией и Швецией.

И бытовой повести удается то, что не удалось ни идиллии, ни эпосу, ни даже сказке. Она сохраняет эту свою обособленность благодаря полнейшему, ничем непоколебимому равнодушию. Спустя два года после ссоры Иванов (которая по-

лучает в повести эпическую датировку – «сего 1810 года июля 7 дня») происходит великое событие: городничий дает ассамблею, на которой предпринята безуспешная попытка помирить бывших приятелей. В самые трагические дни войны 1812 года (как было подмечено Г.В. Ивановым) город поглощен перипетиями их дурацкой ссоры [Иванов 1985, 98]. Не существует ни России, ни Наполеона – весь мир заключен в пределах провинциальной дырки от бублика.

Именно этот мир не несет в себе никакого нравственного оправдания: в нем нет ничего живого, осмысленного, значительного. Нет места конфликту ценностей, потому что нет ценностей: есть мертвый застой, гниение. Спустя еще десять лет рассказчик проезжает через Миргород и видит, как догнивает этот закупоренный мирок, по-прежнему сохраняя status quo. Время уже не просто замыкается в кольцо, как это было в *Старосветских помещиках*, а вообще как бы истаивает: «С этого дня палата извещала, что дело решится завтра, на протяжении десяти лет» [Гоголь 1966, 263].

Миргород является художественным доказательством принципиальной нестабильности любой утопии. Она рано или поздно ассимилируется внешним миром, предпосылки к чему заключаются в людях, ее населяющих, ибо природа вещей, а более того – человека нестабильна по самому своему существу. Утопия уязвима изнутри больше, чем извне – осуществляется ли прорыв благодаря страху перед переменами (*Старосветские помещики*), стремлению к захвату «внешнего» пространства (*Тарас Бульба*) или просто благодаря слабодушию героя (*Вий*).

Последнюю повесть цикла населяют мертвые души: в этом случае импульса к ассимиляции нет. Здесь утопия застывает, коллапсирует и превращается в антиутопию. Позже Гоголь попытается найти выход в воскрешении «мертвых душ», но судьба его замысла общеизвестна. Если бы и удалось ему воскресить чичиковых и плюшкиных, то участь того прекрасного нового мира, который им предстояло создать, выглядела более чем сомнительной в свете логики *Миргорода*. Очевидно, к моменту завершения работы над вторым томом Гоголь уже отчетливо это понимал, что могло послужить одной из причин уничтожения уже написанного текста.

Библиография

- Бенвенист Э., 1974, *Общая лингвистика*, Москва.
- Бородай Ю.М., 1981, *Этнические контакты и окружающая среда // Природа*, № 9, 82-83.
- Вайскопф М.Я., 2002, *Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст*, Москва.
- Виротайнен М., 2008, *Мифы города в мире Гоголя // Гоголь в русской критике. Антология*, Москва, 652-662.
- Гоголь Н.В., 1966, *Собрание сочинений в семи томах*, т. 2., *Миргород*, Москва.
- Гуковский Г.А., 1959, *Реализм Гоголя*, Москва-Ленинград.
- Докусов А.М., 1971, *«Миргород» Н.В. Гоголя*, Ленинград.
- Иванов Г.В., 1985, *В контексте времени. Заметки о скрытом смысле некоторых «попутных» упоминаний и авторских характеристик // Вопросы историзма и реализма в русской литературе XIX – начала XX века*, Ленинград, 94-107.

Лотман Ю.М., 1988, *Художественное пространство в прозе Гоголя // В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь*, Москва, 251-293.

Степанов Ю.С., 2001, *Константы: Словарь русской культуры*, Москва.

Summary

DESTINY OF UTOPIA IN NIKOLAI GOGOL'S CYCLE *MIRGOROD*

This article analyzes the leitmotif of the circle that appears in *Mirgorod* at different levels (the image, the system of characters, plot, time-space) and supports the “utopian” theme of the cycle. The motif of “breaking the circle” in the first three stories leads to the collapse of the attempts to create a “perfect space”; in the fourth story, a blocking border destroys the isolated world from the inside. In the light of this collection it can be regarded as an artistic proof of the instability of any utopia.

Anna Sakowicz

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku

ЧАСАВА-ПРАСТОРАВЫ КАНТЫНУУМ У АПОВЕСЦІ АЛЯКСЕЯ КАРПЮКА «БЕЛАЯ ДАМА»

Key words: Belarusian prose, historical novel, time and space category, mythology, captivity

Узаемаадносiны часу i прасторы ў мастацкiм творы з'яўляюцца адным з найцiкавых i важкiх параметраў мастацка-эстэтычнай рэчаіснасцi. Гэтыя катэгорыi будуюць межы здарэнняў, якія разгортваюцца ў прадстаўленым piсьменнiкам свеце, а затым пераймаюць на сябе функцыi „іstnienia świata przedstawionego i procesów w nim zachodzących” [Kulawik 1997, 257]. Асаблiвай увагi, безумоўна, заслугоўваюць назiраннi над гэтай праблемай рускага даследчыка Мiхаiла Бахціна. Варта ўспомнiць, што яшчэ ў 1963 годзе ў сваёй кнiзе “Вопросы литературы и эстетике”, ён увёў у тэорыю лiтаратуразнаўства для вызначэння часавай прасторы асобае паняцце “хранатоп”. Кнiга прынесла вучонаму славу i была ў хуткiм часе перакладзена на шмат iншых моў, у тым лiку на польскую. У раздзеле „Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści” знакамітай кнiгi рускага лiтаратуразнаўцы чытаем: „Czasoprzestrzeń w literaturze artystycznej jednocy cechy przestrzenne i czasowe w ramach znaczącej i konkretnej całości. Czas nabiera tutaj gęstości, nieprzejrzystości, staje się czymś artystycznie widzialnym; przestrzeń wciągnięta w ruch czasu, fabuły, historii nasycy się ich energią. Cechy czasu odsłaniają się w przestrzeni, zaś przestrzeń znajduje w czasie swój sens i miarę. To krzyżowanie się porządków i złączenie cech stanowi o charakterze czasoprzestrzeni artystycznej” [Bachtin 1982, 279]¹.

Невыпадкава, што пераклад кнiгi М. Бахціна з'явіўся ў 1982 годзе. Якраз у 70-ыя гады актывізаваўся ўвага да ролi прасторы ў лiтаратуры ў польскiм лiтаратуразнаўстве [Bartoszyński 1976; Jarzębscy 1976; *Przestrzeń i literatura* 1978; Sławiński 1980; Markiewicz 1984; Krawiec-Złotkowska 2009]. Ва ўступным слове да кнiгi *Przestrzeń i literatura* [1978] польскi лiтаратуразнаўца Януш Славiнскi сцвяр-

¹ Bachtin w oryginale swojej książki posługuje się słowem „chronotop”, którego tłumacz nie uwzględnił w swoim przekładzie.

джаў, што праблема літаратурнай прасторы будзе ў недалёкай будучыні займаць важнае месца ў паэтыцы, падобна як нядаўна яшчэ было з праблемай апавядальніка, часу, фэбулы ці дыялогу [Sławiński 1978, 9–10]. Далей польскі даследчык канстатуе, што ў кожнай з вышэй пералічаных праблем быў улічаны прасторавы параметр мастацкага свету, толькі ён быў абмяркоўваемы ў другарадным, далейшым плане. З часам сітуацыя ў гэтай іерархіі памянлася і цяпер прастора бярэ адплату за свае разнастайныя падпарадкаванасці. У сучаснасці гэтая галіна навуковых зацікаўленняў паэтыкі перамяшчаецца на пярэдняе месца [Sławiński 1978, 10].

Польская даследчыца Анна Мартушэўская выдзяляе важкія патрэбы спалучэння часу і прасторы: „Potrzeba łączenia kategorii czasu i przestrzeni stosowanych jako narzędzie do badania powieści występuje zwłaszcza przy analizie dystansu narratora w stosunku do świata przedstawionego, dystansu określanego zarówno przez perspektywę przestrzenną, jak i czas wypowiedzi w stosunku do jej przedmiotu. Drugim elementem powieści, w którym się te obie kategorie wiążą, współwystępują bowiem bądź się wzajemnie zastępują według jednakowych podstawowych zasad, jest jej świat przedstawiony, u którego podstaw leży koncepcja czasu i przestrzeni właściwa dla określonego typu przedstawionej rzeczywistości. Trzecim wreszcie jest rola czasu i przestrzeni jako jednego z wielu czynników kreowania postaci literackiej” [Martuszevska 1977, 69–70].

Такі падыход даследчыкаў да часовай прасторы нярэдка дае магчымасць убачыць складаныя ўзаемазвязі жыццёвых абставін і чалавека ў плыні гістарычнага часу, вызначыць заканамернасці грамадскага развіцця, а таксама ролю асобы ў ім.

Сувязь жа паміж часам і прасторай, відаць, найяскравей выяўляецца ў авантурна-прыгодніцкіх творах. Беларуская даследчыца Вольга Шынкарэнка, аналізуючы творчасць Уладзіміра Караткевіча, сцвярджае, што ва ўласна гістарычных раманах выяўляюцца: „Воstrae адчуванне часу, прыкметы якога раскрываюцца ў розных прасторавых вымярэннях, пачынаючы ад маштабных падзей і заканчваючы самымі тонкімі зрухамі ў душы героя” [Шынкарэнка 1995, 119].

Беларускі пісьменнік Аляксей Карпюк у сваім мастацкім наробку мае творы на розныя тэмы: пра каханне – аповець *Данута*, пра нямецкі лагер ваеннапалонных і партызанскае жыццё – *Пушчанская Адысея*, пра вёску і горад – *Карані*, пра дзейнасць рэлігійнай арганізацыі Аляша Клімовіча на Падляшшы – *Вершалінскі рай*. Відавочна, у гэтай галерэі не хапала займальнага твора на гістарычную тэму, якая ў другой палове XX стагоддзя карысталася асаблівай увагай не толькі беларускага чытача. Такім чынам, па словах Міхася Тычыны: „Свядомае імкненне многіх маладых праявілі выкарыстоўваць прыёмы сучаснага заходняга рамана, у прыватнасці трылера, у творчасці А. Карпюка выявілася натуральна і лагічна: ён заўсёды аддаваў перавагу займальнасці перад змястоўнасцю, але ў большасці выпадкаў не на шкоду апошняй. Тут ён хутчэй збліжаецца з Уладзімірам Караткевічам, аўтарам займальных раманаў пра нашу блізкую і даўнюю гісторыю” [Тычына 1995, 24–25]. Вось таму не выпадкова, што А. Карпюк ужо ў вельмі сталым узросце звяртаецца да гістарычнай тэматыкі.

Распрацоўка гістарычнага сюжэта якраз давала Аляксею Карпюку магчымасць спалучэння розных часавых і прасторавых планаў. У аповесці *Белая Дама*, засяродзіўшыся на лёсе магнаткі Кацярыны Валковіч, пісьменнік звяртаецца да падзей XVII стагоддзя. Галоўная гераіня паходзіла з багатага і слаўнага шляхецкага роду рускіх ліцвінаў з Путрышак, „якія гавораць па-тутэйшаму, літары выводзяць па-польску, а калі і па-руску, то пішуць лацінкай” (263). Брат Кацярыны Нічыпар закончыў езуіцкі калегіум у Гародні, а бацькі жанчыны былі працавітымі і гаспадарлівымі. „З дзяцінства абкружалі мяне рэчы моцныя і дабротныя, зробленыя ці пашытыя з запасам, бо калі выразалі нават у нас кій, то – чым больш важкі. Немцамі нас з-за гэтага прызывалі” (268).

Гаворка пра лёс Кацярыны Валковіч вядзецца на аснове дзённікаў самой гераіні. Аднак перш чым перайсці да разгортвання гістарычнага сюжэта, пісьменнік тлумачыць, што стала штуршком для стварэння аповесці. Ад нейкага часу наратар чуў пра таямнічую Белую Даму, якая з’яўлялася ў мурах базыльянскага кляштара. Факт, што рэстаўратары гэтага былога ўніяцкага будынку за сцяной, збудаванай з цэглы з сямнацатага стагоддзя, знайшлі „тамы ды шыткі з цвёрдай паперы ў мешкавіне” (253), зацікавіў дырэктара Музея атэізму. Ён зрабіў з іх сабе фотакопіі. „Затым на пару тыдняў адключыўся ад іншых клопатаў і адбіткі пачаў штудзіраваць, адчуваючы ўздым ды цікаўнасць шкаляра, які ўпершыню схпіў *Рабінзона Круза* ды зашыўся з ім у кусты” [Карпюк 1992, 255]. Такім вось чынам фабульны час у аповесці *Белая Дама* пачынаецца ў другой палове XX стагоддзя ў Гародні, а знойдзеныя шыткі-дзённікі паслужаць імпульсам для перанясення падзей у сямнацатае стагоддзе.

Апавядальнік, перш чым перанесці нас на тры стагоддзі назад, пад уплывам роздумаў аб таямнічай Белай Даме вяртаецца ў дзіцячыя гады, у прастору 20 – 30-ых гадоў XX стагоддзя, калі ён быў паглыблены ў зачараваны свет народных павер’яў і забабонаў: пра нячысціка, Баравую Цётку, вядзьмарак, Змяінага цара, папараць-кветку, Лысую гару. Увядзенне гэтых вобразаў у аповесць невыпадковае, бо яны паказваюць іншую, нерэальную прастору ўнутранага света героя, які, нягледзячы на пражытыя гады, знаходзіцца ў палоне міфалагічнага свету. Успаміны пра дзяцінства з’яўляюцца таксама крыніцай першых апавядаў пра герояў, хаця толькі казачных.

А. Карпюк, які паходзіць з-пад гарадоцкага Страшава, што пад Беластокам, не хавае сваёй любові да роднага кутка: „Бываючы зрэдку ў сваім Страшаве, кожны раз за сабой назіраю заўсёды тое самае. Нейкая магутная сіла мяне там піхае на край поля, за хату хроснага бацькі Аўдакіма Парэмскага. Адбіваючыся ад камароў, лезу там на Лысую гару ды адчуваю, як кожная клетачка майго цела, кожная малекула ва мне бытта пачынае гаварыць пра даўніну. Адразу зашчыміць маркотна сэрца. Раблюся ўжо сур’ёзным ды дзіўлюся. Як праз такія быліцы ўсім сваім філагенезам я навечна з’яднаны з продкамі. З гэтымі камарамі, з хвойнікам, лесам ды тарфяніскам. Якое ад гары распасціраецца да Гарадка, Міхалова, Меляшкоў і, напэўна, злучаецца з Палессем. А забраўшыся на гару, я там ўсё шукаю і шукаю слядоў шабашу тых вядзьмарак.

Я – матэрыяліст і адукаваны чалавек, дасканала ведаю, што да чаго, але з’яўляюся ў Страшаве наступным разам і з такім жа хваляваннем зноў лезу на Лысую гару...” [Карпюк 1992, 203]. Успаміны аб родным кутку А. Карпюка ўпісаны ў “аўтабіяграфічную” прастору. Прапушчаная праз фільтр часу рэальнасць становіцца прыгажэйшай, змiфалагізаванай.

Казачна-мiфалагічная, абстрактная прастора займае важнае месца і ў жыцці галоўнай гераіні аповесці – Кацярыны Валковіч, якая ў сваіх успамінах неаднойчы пераносіцца думкамі ў свет дзяцінства, дзе прысутнічалі розныя народныя легенды: „Тата казалі – на ўласныя вушы чулі не раз і не два, як пад ракетай да самай раніцы зычна Лясун рагоча, гукаюць сычы, дудзіць і дудзіць той самы дзесяціпудовы камень.

Напэўна, і зараз пад вадой млынар сабе адсыпаецца. Цікава было дачакацца ў каго-небудзь на вёсцы глыбокай ночы і паслухаць, ці гудуць тыя камяні зараз...” [Карпюк 1992, 47].

З мiфалагічнай прасторай звязана патроенае абвінавачанне Кацярыны ў вядзьмарстве. У сямнаццатым стагоддзі людзі баяліся вядзьмарак, як, напрыклад, у згаданай у аповесці Бусліхі з Путрышак, якая „такое слова ведае, што чалавека забіць можа” [ibid., 266]. Галоўная гераіня не чаравала, а проста ўмела лячыць ад розных хваробаў дамашнімі спосабамі, якія перадавалі сабе жанчыны і знала народныя павер’і: „Умею толькі падзьмухаць, калі хто жыватом хварэе. І вядзьмарку магу пазнаць, як урачэ мяне каторая-небудзь. Гэта проста. Лью малако праз напаленае жалеза і тады яе бачу. Яшчэ карысна глядзець у віры над млынова кола. Невыразна тады бачу, нібы праз дым, але мне дастаткова і адразу скажу – хто гэта, не выкруціцца аніяк. Нават Цябе, сыне, магла б усяму навучыць, каб пад бокам жыў” [Карпюк 1992, 266–267].

Кацярыне прыйшлося шмат перацярпець ад неапраўданых закідаў у чарах, стаўленых ёй як перад палонам, так і пасля яго. Катаванні такіх асоб былі страшэнныя. Перад пакараннем смерцю гераіню двойчы ратавалі сумленныя людзі. У канцы аповесці апавядальнік падкрэслівае, што хаця вядзьмарак сустракаем і ў цяперашнім часе, але аднак яны не напаўняюць ужо людзей жудасным страхам як раней. Наратар клапоціцца лёсам К. Валковіч: „Невядома, і, найхутчэй, ніколі не даведаемся, абвінавачаная ў ерасі трэці раз ці зноў удалося магнатцы адкупіцца?” [Карпюк 1992, 451].

Заўважаецца, што А. Карпюк з’яўляецца свядомым канструктарам часава-прасторавых параметраў аповесці *Белая Дама*. Ён словам стварае мiфалагічны свет. Парадкаванне прасторы адбываецца ўжо ў моўнай сферы, у тым ліку праз метафарычнае значэнне зваротаў, розны сэнс слоў, уласцівых для дадзенай культуры. Як напрыклад: „Адным словам, перад ёй Садык-бей распушыў пёркі, а хочаш мець яйкі, як вучыла яе Анюта, дай курыцы пагдакаць” [Карпюк 1992, 351].

Невыпадкова А. Карпюк у пачатку аповесці *Белая Дама* звяртаецца і да свайго ваеннага вопыту. Узгадваюцца страшэннага, антыгуманнага часу і прасторы Другой сусветнай вайны служыць, зароўна як высвятленню неапраўданасці тэорыі аб

фосфарных агенчыках, якія мелі быць прывідам Белай Дамы, так найперш узгадванні аб ваенных ахвярах. Письменнік абапіраецца на жорсткі вопыт Беларусі.

Ужо Уладзімір Караткевіч, які стварыў шмат шэдэўраў на гістарычную тэматыку, папярэджаў сваіх чытачоў, што калі чалавецтва не навучыцца рабіць высновы з вопыту сваіх продкаў, то будзе змушана перажываць яго яшчэ раз. Так і галоўная гераіня аповесці *Белая Дама* лічыць, што яе запісы не толькі ёй душакарысныя, але будуць прыкладам для сына як паступаць у жыцці: „Каб Табе, сыноч, тыя быліцы не здаваліся звычайнымі прымхамі цёмных, поўных забабонаў людзей, раскажу яшчэ пра што мама мая апавядалі” [Карпюк 1992, 269].

Часава-прасторавы кантынуум аповесці *Белая Дама* ўражае сваёй разнастайнасцю, спецыфікай якой з’яўляецца між іншым і тое, што ў творы дзейнічаюць два апавядальнікі – наратар, якому належыць сучаснасць і галоўная гераіня, якая вядзе аповяд маналог-споведзь пра свае жыццё ў XVII-ым стагоддзі. Першы апавядальнік часта ўмешваецца ў расказы другога наратара, што тлумачыць прысутнасцю ў нататках гераіні шматлікіх паўтораў, недарэчнасцей тыпу, як напрыклад, зварот да памерлай на руках Кацярыны сяброўкі Ганны. „У многіх месцах увогуле нельга было ўцяміць, чаго тая самая Кацярына Валковіч хоча” [Карпюк 1992, 256]. Таму апавядальнік, праштудзіраваўшы сшыткі, вырашыў частку дзённіка магнаткі Кацярыны Валковіч пакінуць у форме яе асабістых успамінаў, а частку зрэдагаваць і апрацаваць самому: „(...) узяўшы за аснову знойдзены тэкст і яго стыль, усё пастараюся перадаць сваімі словамі” [Карпюк 1992, 260].

Польская даследчыца Анна Мартушэўская сцвярджае, што зменліваць прасторавага пункту бачання, якая звязана з займаннем розных становішч апавядальніка адносна героя – ад знешняга бачання вобраза да гледжання разам з ім, з’яўляецца характэрнай рысай часава-прасторавай дыстанцыі адносна прадстаўленага свету. У *Белай Даме* прыкладам першага тыпу дзеяння прыняццю ёсць апісанне дарогі ў палон: „Татары вялі іх адно некалькі тыдняў, хоць паланянкам і такі тэрмін здаўся вечнасцю. (...) Затым усіх паланянак перадалі турэцкім воям. (...) Неўзабаве апынуліся яны аж у Грэцыі. (...) Пераправілі ўсіх цераз Басфорскую цясніну на судне і праз месяц прыгналі аж у Палесціну – тую самую, апісаную ў святой Бібліі” [Карпюк 1992, 298]. Сцэна, калі Кацярына праз шчыліну плеченага шалаша прыглядаецца да арабаў, паказана вачыма гераіні: „На панадворку сядзела двое старых з белымі чалмамі на галовах. З-за кашары тырчэлі зады іхніх аслоў – аблезлыя і ў калючках. (...) Побач лазілі мурзатыя дзеці. Чорныя і бліскучыя валосікі на галовах дзяўчынак былі заплеченыя на многа тоненькіх косак” [Карпюк 1992, 306].

Вышэй узгаданы прыныцы займання розных пазіцый наратарам адносна гераіні звязаны таксама з адным са спосабаў увасаблення, да якіх – паводле рускага даследчыка Д. Ліхачева [Лихачев 1979, 334] – залічваюцца паскарэнне і рэтардацыя апавядання, парушэнне храналагічнай паслядоўнасці праз рэтраспекцыю, прагнозы будучага, перарывістасці і бесперапыннасці, перапляценне часоў. Такое багатае спалучэнне метадаў асабліва карыснае пры адлюстраванні чалавечага духу, пачуццяў, самога дзеяння ў яго гістарычнай перспектыве.

Фабульны час аповяду пра Кацярыну Валковіч пачынаецца з падраздзела ў другой (з чатырох) частцы аповесці: „Хто такая аўтарка і яе келля,” калі яна дажывае апошнія дні ў кляштары: „Простая ежа. Спакойны сон уначы. На душы спакой і слодыч ад радасці, што летапісанне, за якое так горача і натхненна ўзялася ды вяду каторы год – душакарысная, богаўгодная справа, што рабіць гэта ніхто мне не перашкаджае і перашкодзіць не зможа, бо тут я – сама сабе гаспадыня” [Карпюк 1992, 261]. Пры дапамозе часавай рэтраспекцыі даведваемся кім была Кацярына.

Такім чынам, у мемуарах галоўнай гераіні маем дачыненне з не храналагічнай падачай падзей. Кацярына Валковіч пачынае дзённік запісам з чацвёртага лютага 1659 года ў Гародні. Аднак гэта не дата яе шчаслівага вяртання на Радзіму, бо яна пачала пісаць успаміны не адразу пасля звароту з чужыны, а нашмат пазней. Паміж заканчэннем прыгод гераіні і іх узнаўленнем, творчым асэнсаваннем прамінула амаль дзесяць гадоў. Відаць, патрэба выказацца мусіла выспеліцца з гадамі.

Пабудова гісторыі *Белай Дамы* носіць кальцавы характар – пачынаецца ўспамінамі апавядальніцы пра родны кут: „Кацярынін дом, радня і быт”, і заканчваецца апавяданнем: „У гасцях у дзяцінства”. Фабульны час пераказу гісторыі лёсу Кацярыны пачынаецца ад яе прабывання ў сталых гадах у келлі, затым адбываецца вяртанне ў дзяцінства, потым наступныя этапы, як маладосць, замуства і палон, а заканчваецца апавяданнем зноў апошнімі хвілінамі гераіні на зямлі. Толькі інфармацыя, што гераіня выйшла замуж ў шаснаццаць гадоў, можа паслужыць арыенцірам часу, якога ж яна была ўзросту калі захапілі яе ў палон. Улічыўшы яе цяжарнасць, а таксама факт, што малому было чатыры годзікі, калі іх разлучылі, можна вылічыць, што Кацярыне было недзе каля дваццаць аднаго года, калі яна патрапіла ў ясыр. Дзякуючы інфармацыі, што ў палоне яна была каля дзесяці гадоў, і што пасля наступнай дэкады пачала пісаць свае ўспаміны, можам прыблізна вызначыць гады жыцця гераіні.

У аповесці *Белая Дама* шмат разнастайных, канкрэтных назваў-тапонімаў: Путрышкі, Верцялішкі, Гродна, Львоў, Збараж, Грэцыя, Александрыя, Палесціна, Турцыя, Стамбул, Басфорская цясніна, Італія, Рым, Варшава. Рыцараў з Гародні называюць “наднёманскімі воямі”. Варта адзначыць, што, на думку польскай даследчыцы Анны Мартушэўскай, выкарыстоўванне рэальных назваў гарадоў дазваляе індывідуалізаваць прадстаўленую прастору.

Трэба падкрэсліць, што падзеі ў аповесці *Белая Дама* адбываюцца ў рознай часавай прасторы – у першай частцы аповесці месцам дзеяння з’яўляецца тэрыторыя цяперашняй Беларусі ў XX стагоддзі ў розныя перыяды: 20 – 30-ыя гады, Другая сусветная вайна – аж да 80-ых гадоў. Потым наступае зварот у гісторыю Вялікага Княства Літоўскага ў XVII стагоддзе, а затым ў вышэй пералічаныя мясцовасці – таксама ў XVII стагоддзі. Апрача выдуманых персанажаў героі аповесці А. Карпюка згадваюць такіх гістарычных асоб як: Ян Казімір Ваза, Густаў Ваза, Ярэма Вішнявецкі, Багдан Хмяльніцкі. Такім чынам, у аповесці А. Карпюка *Белая Дама* назіраем узаемную сувязь паміж аўтэнтчнымі геаграфічнымі назвамі з гістарычнымі фактамі (напр. асаду польскіх войск у Збаражы). У выніку стварэння

разнастайнасці часу і прасторы ў гістарычнай аповесці А. Карпюка чытач можа пераканацца, што ён сустракаецца з апісаннем акрэсленага адрэзку гістарычнага часу і існуючай рэальна прасторы [Matuszewska 1977, 76].

Вызначэнне тапаграфіі рэальна існуючых дзяржаў, гарадаў, агульнавядомых помнікаў з'яўляецца часта сустракаемым прынцыпам пабудовы прасторы, які нават пры адсутнасці акрэсленых дат фарміруе час. У аповесці *Белая Дама* гэта назіраем пры апісаннях Кацярынай Валковіч Базыльянскага кляштара ў Гародні, Гродзенскага замка, царквы Барыса і Глеба, званай Каложскай. Адным словам, старажытных беларускіх помнікаў, якія захаваліся ў Гародні да сённяшняга дня. Асаджанасць падзей і помнікаў ў сямнаццатае стагоддзе і ў цяперашні час сведчыць аб разнастайнасці часовай прасторы. У аповесці *Белая Дама* А. Карпюка на роўных правах існуе мінулае з сучаснасцю, гістарычны час – з цяперашнім днём.

Апісанні гістарычных помнікаў Гародні – падобна як апісанне жыцця ў кляштары, успаміны пра сумленных людзей, напрыклад дзядзьку Герасіма з Путрышак, панамара Яўхіма, наднёманскіх вояў, мае яшчэ і дадатковае значэнне, а менавіта служыць затрыманню мастацкага часу. Прыкладам з'яўляецца запіс Кацярыны, у якім яна набліжае сыну: „слаўных вояў, што выбавілі яго мамуську з пекла. Каб памянуў іх сяды-гады добрым словам, калі ж загляне ў царкву ці касцёл, каб абавязкова памаліўся за наступных” [Карпюк 1992, 358]. І тут наступае асобасны пералік сяброў герайні і іх кароткая характарыстыка на дзве старонкі. Запіс заканчваецца словамі: „Але вернемся да падзей на судне” [Карпюк 1992, 360].

Паводле А. Мартушэўскай, прадстаўленая ў мастацкім творы прастора можа “ўпраўдападабняцца” працякаючым часам, які канкрэтызуецца зваротам, напрыклад, да пор года і дня. У аповесці *Белая Дама* сяброўкі па нядолі – Кацярына Валковіч і яе зямлячка Ганна – адбываюць гутаркі-маналогі паміж сабой, у якіх адлюстраваны працэс прамінавання часу паводле гадавога календара. Сябровка здзівіла, што: „Было ўжо каля Новага года, а надвор'е стаяла такое, бытта на Гродзеншчыне пад канец жніва. Нават і трава месцамі гэтаксама пажукла” [Карпюк 1992, 298].

Кацярына і Ганна ўзбагачаюць часавыя змены параўнаннямі беларускай і араўійскай фаўны і флоры па кантрасту: роднае з чужым (топас “сваё” – “чужое”). Ацэнка сябровка надае каштоўнасць радзімай прыродзе, а абясцэньвае тую, што ў далёкай чужбіне: „Цяпер – чэрвень. У нас там усё зараз аж буць! На падворку унь тут усюды пясочак, як прысак гарачы – курыца яйка знясе, і яно адразу спячэцца. Альбо голы ток, а ў Верцялішках цяпер на нашым падворку – суцэльны дыван з рамонку. А пахне як, а зеляніць! Там такі зараз пах, што галава кругам ходзіць, праўда?” [Карпюк 1992, 304].

У аповесці *Белая Дама* значнае месца займае прастора дарогі, якую даследчыкі (між іншым М. Бахцін, ці польская даследчыца Я. Абрамоўская) акрэсліваюць як найбольш распаўсюджаную ў сусветнай літаратуры. „Droga – nawet pusta – niejako oczekuje i domaga się kogoś, kto będzie nią szedł; tak więc literacki opis drogi implikuje obecność postaci, a także zdarzeń, wobec których wędrownik spełnia rolę bohatera (...). Wędrowka stanowi jeden z najbardziej do dziś produktywnych typów organizacji

czasoprzestrzennej w powieści, przybierając niejednokrotnie postać samodzielnego schematu fabularnego [lub quasi-fabularnego], a może też wystąpić jako temat, motyw i topos” [Abramowska 1978, 126].

У падраздзеле пад назваю „Галгофа” дарога паказана як напрамак перамяшчэння гераіні з аднаго пункта ў другі, калі татары вядуць паланянак у Аравію. Колькі часу трывала забойчая для многіх жанчын дарога ў ясыр, гераіня дакладна сама не ведае, бо дні зліліся з начамі, а тыдні з месяцамі: „Усё змяшалася ў адзін жах і якоесьці крывавае месіва. У памяці запалі адно аддзельныя віскі, бяссільны жаночы энк, адчайны лямант над пасечанымі шаблямі цэламі, свіст нагаек ды дзікія выкрыкі заваёўнікаў, пасля якіх чалавек, не паспеўшы нават што-небудзь зразумець, бяздумна кідаўся ўбок, уперад, назад. А то і падаў на зямлю там дзе стаяў, абхапіўшы галаву рукамі, утуліўшы шыю, з заміраннем сэрца чакаючы ўдару – таго, апошняга.

Запамыталіся голад, слабасць, закарэлы бруд, смага ды лёсавы пыл, пыл, пыл і пыл” [Карпюк 1992, 290]. Побач з дарогай гераіні ў палон ў аповесці выступае і прастора “марской дарогі”, у час уцёкаў з няволі.

Прасторы стварае чалавек і гэта ад яго залежыць, у які рад яна будзе пастаўлена: далёкі (чужы) ці блізкі (родны). Кожная прастора мае значэнне, выклікае розныя эмоцыі, асацыюецца з нейкімі людзьмі, прадметамі. У аналізуемай аповесці беларуская прастора насычана міфалагічнымі адценнямі, любоў’ю да беларускай прыроды, а перад усім, пераклікаецца з біяграфіяй аўтара *Белай Дамы*. Польская даследчыца Маргарыта Чэрмінская лічыць, што пры стварэнні прасторы мастацкага твора ўласны вопыт пісьменніка з’яўляецца вельмі важным: „Doświadczenie osobiste, opowieść o zdarzeniach z własnego życia działa jak pryzmat, rozszczepiający pojedynczy promień światła na wielość jego barwnych składników. Oczom czytelnika ukazuje się obraz okolicy dzieciństwa, tej małej ojczyzny, obraz zmierzający do uchwycenia czegoś – co chciałoby się nazwać osobowością geograficzno-kulturową regionu. Nawet jeśli jest to zabieg szkicowy, niepełny czy marginesowy, autobiografie pisarzy odtwarzają z reguły niepowtarzalny klimat regionu, aurę czasu i miejsca” [Czermińska 1978, 239].

Менавіта тэрыторыя Гародні ў аповесці *Белая Дама* з’яўляецца першараднай у адносінах да аравійскай, хаця не адзінай у кампазіцыйнай сувязі твора. Падзеі пачынаюцца ў прасторы гродзенскай зямлі і там заканчваюцца.

У сваім артыкуле Юрый Яжэбскі, услед за філасофіяй Гастона Бахеларда, падзяляе чалавечы свет на інтымную прастору, якую акрэслівае “прасторай шчасця”, і на чужую – агрэсіўны космас [Bachelard 1958, 57–58; cyt. za Jarzębscy 1976, 52]. Дамашняя прастора герояў прыналежыць да замкнёнай, („locus amoenus”) уласцівай сферы сакрум, якая асацыюецца з бяспечнасцю, а вакол яе – невядомы і небяспечны хаос, беспарадак.

На жаль, гэты сакральны дзіцячы рай Кацярыны быў знішчаны. У час апошняга настальгічнага вяртання гераіні ў родныя Путрышкі даведваемся, што прастора, дзе яна нарадзілася і ўзрасла ўжо не існуе: „З нашай сям’і бы не засталася нічагутка.

Будынкi ўшчэнт згарэлі яшчэ пры шведскай навалe (...). На тым месцы, дзе калісьці жыла, працавала ды радавалася так шчаслівая, здавалася б, вялікая наша сямейка – чысцюткае поле, гладкае, як бубен. Нават і знаку не знайшла, дзе стаяў наш калодзеж. (...) На колішнім нашым падворку красавалася толькі груша – як не стравіў агонь і яе, ведае адзін Бог і Прасвятая Мацер Божая. У садок да сябе яе ніхто не ўзяў – каму патрэбная дзичка, – стаіць самотна, яшчэ больш адзічэлая. Дрэва нават нечым нагадала мне сябе, і я абняла адзінага, живога сведку дзіцячых маіх гульняў, а сэрца зашчыміла ад успамінаў” (448 – 449). Гібель шчаслівай Аркады паглыбляецца весткай, што тата з мамай памерлі, брат загінуў на вайне, а сёстры параз’язджаліся і няма звестак ці ўвогуле жывуць.

Сапраўды, характар гістарычнага твора дае падставы для стварэння вельмі разнастайнага часава-прасторавага кантынуума, што яскрава пацвярджаецца і ў аповесці *Белая Дама*. Менавіта гэтая сфера гістарычнай аповесці А. Карпюка якраз вельмі незвычайная і складаная.

Bibliografia

- Abramowska J., 1978, *Peregynacja // Przestrzeń i literatura*, red. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
- Bachelard G., 1958, *La poetique de l'espace*, Paris.
- Bachtin M., 1982, *Problemy literatury i estetyki*, przeł. Grajewski W., Warszawa.
- Bartoszyński K., 1976, *Problem konstrukcji czasu w utworach epickich // Problemy teorii literatury*, seria 2, Wrocław, 195–251.
- Czermińska M., 1978, *Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie // Przestrzeń i literatura*, red. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
- Jarzębscy T. J., 1976, *Uwagi o semantyce czasu i przestrzeni w prozie Brunona Schulza // Studia o prozie Brunona Schulza*, Katowice.
- Krawiec-Złotkowska K., 2009, *Przestrzenie Wacława Potockiego*, Słupsk.
- Kulawik A., 1997, *Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego*, Kraków.
- Markiewicz H., 1984, *Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych // Wymiary dzieła literackiego*, Kraków.
- Martuszevska A., 1977, *Czas i przestrzeń // Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876–1895)*, Wrocław.
- Przestrzeń i literatura*, 1978, red. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Wrocław.
- Sławiński J., 1978, *Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości // Przestrzeń i literatura*, red. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Wrocław.
- Sławiński J., 1980, *Organizacja świata przedstawionego w dziele literackim // Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. Studia literaturoznawcze*, red. Porębina G., nr 349.
- Карпюк А., 1992, *Белая Дама*, Мінск.
- Лихачев Д.С., 1979, *Поэтика древнерусской литературы*, Москва.
- Тычына М., 1995, *Адысея праўдалюбца. Жыццё і творчасць Аляксея Карпюка // Роднае слова*, № 4.
- Шынкарэнка В., 1995, *Пад ветразем дабра і прыгажосці (Жанрава-стылявая асаблівасці прозы Уладзіміра Караткевіча)*, Мінск.

Summary

SPACE AND TIME IN THE NOVEL *BIAŁA DAMA* BY ALAKSIEJ KARPIUK

This article is devoted to the analysis of Alaksiej Karpiuk's novel *Biała Dama*, containing the elements of detective and historical novels. In particular, the categories of time and space are discussed. Aspects of these categories are interestingly presented in the considered novel. The events connected with the explanation of the mystery of the eponymous Biała Dama concern contemporary times and the territory of the Polish-Belarusian borderland, whereas the story of Katarzyna Wałkowicz's fate takes the reader to the second half of the 17th century and to the territories of various countries.

Konrad Stefan Rachut

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

TŁUMACZENIE JAKO AKT KOMUNIKACJI
MIĘDZYKULTUROWEJ.
NA PRZYKŁADZIE TŁUMACZEŃ
TYTUŁÓW FILMÓW ANGLOJĘZYCZNYCH
NA JĘZYK POLSKI I JĘZYK ROSYJSKI

Key words: translation, intercultural communication, movie titles, translation choices

Człowiek jest ze wszystkich stron otoczony przestrzenią, której w procesie postrzegania nadaje znaczenie. I pomimo tego, że oba te byty stoją po przeciwnych stronach barykady, to są one sobie wzajemnie niezbędne. Granice pomiędzy jednym i drugim stanowi zaś język, czyli filtr przetwarzający rzeczywistość obiektywną na jej subiektywną postać wyrażoną w słowach. Okazuje się, że staje się on pryzmatem, poprzez który użytkownik danego kodu musi spoglądać na świat. Innymi słowy, punkt widzenia reprezentanta obszaru kulturowego nie pozwala mu na dostrzeżenie całości – krytycznie rzecz ujmując, jest to wręcz niemożliwe. Postulat ten jest fundamentalnym założeniem kognitywizmu, podkreślającego ważkość faktu **entymematyczności postrzegania** [Lipiński 2000, 39]. Mamy tu zatem do czynienia z dwiema fazami ekscerpowania elementów składowych otoczenia: najpierw spoglądamy na rzeczywistość ze swojej indywidualnej perspektywy, a później kategoryzujemy ją werbalnie.

Problem polega jednak na tym, że każdy z istniejących języków, poprzez specyficzny dla siebie sposób opisywania świata i budowania relacji pomiędzy jego częściami składowymi, tworzy odrębny wymiar. I pomimo tego, iż dany obiekt może być semantycznie tak samo kategoryzowany w różnych językach, to sam fakt, że są to odmienne słowa, świadczy o ich nieprzystawalności. Owa niewspółmierność kodów językowych powoduje, że wypowiedzi uczestników aktu mownego muszą być tłumaczone, co staje się niesłychanie intrygującym zderzeniem odseparowanych od siebie środowisk. Przez to, że proces komunikacji w tłumaczeniu zachodzi na styku nieidentycznych wymiarów lingwo-kulturowych, uniknięcie zgrzytów światopoglądowych jest celem trudnym do osiągnięcia.

Dlatego zdecydowaliśmy się poddać analizie kwestie związane z tą materią, opierając się na komparatywnym zestawieniu tytułów filmów anglojęzycznych z ich polskimi i rosyjskimi odpowiednikami. Oczekujemy, że rezultaty przeprowadzonego badania staną się namacalnym dowodem na to, jak odmiennie, w zależności od języka, może brzmieć nazwa dzieła, która przecież zawsze stanowi zawężenie horyzontu interpretacyjnego jego adresata i narzuca mu jego pojmowanie. Zobrazuje to nam **naturę nazwy jako tekstu**, który posiada swoją implicytnie zakodowaną głębię semantyczną [Rutkiewicz-Hanczewska 2006], będącą kluczowym punktem odniesienia względem procesów zachodzących w umysłach widzów podczas odbierania przekazu twórczego.

Przed bezpośrednim przejściem do dyskusji związanej z istotą tłumaczenia, konieczne będzie nakreślenie zarysu jej podstaw teoretycznych. Wypada zatem zacząć od stwierdzenia, że osiągnięcie porozumienia w procesie komunikacji wymaga od jej uczestników zdania sobie sprawy z tego, że każda jednostka patrzy na świat z innej perspektywy. Wszak interakcja werbalna sprowadza się do względnie współmiernego pojmowania wykorzystywanych elementów składowych kodu językowego. Fakt niezależnego rozwoju języków i kultur sprawił jednak, iż borykamy się z sytuacją, w której przedstawiciele różnych społeczeństw nie są w stanie przekazywać sobie informacji bez swoistego typu pośredniczenia. W tym miejscu wypada podkreślić, że przenoszenie conceptów z jednego kodu do drugiego nieuchronnie prowadzi do zaistnienia różnic pomiędzy komunikatem wyjściowym a docelowym, do których odniesiemy się później.

Do celów podejmowanej tutaj dyskusji przywołamy postulat, zgodnie z którym percepcja warunkuje występowanie procesu pojmowania. Widzenie może być błędnie definiowane jako działanie polegające wyłącznie na odbieraniu bodźców wzrokowych; w rzeczywistości jest ono powiązane z automatycznym przyporządkowywaniem postrzeganych elementów świata zewnętrznego do odpowiadających im kategorii. A owo klasyfikowanie odbywa się na podstawie języka i kultury, będących zjawiskami nierozzerwalnie związanymi ze sobą, które się wzajemnie odzwierciedlają, dopełniają i warunkują [Salehi 2012, 78]. Z tego wynika, że należy je rozumieć w kontekście ogólnie ustalonych zasad, determinujących zachowanie członków określonej grupy ludzi.

Jeśli weźmie się wszystkie wymienione spostrzeżenia pod uwagę, to można stwierdzić, że przedstawiciel społeczności nakłada na obiektywną rzeczywistość tak zwaną **siatkę znaczeń** [Sakellariou 2011, 231]. Oznacza to, iż stanowi ona specyficzny wzorzec przyporządkowywania etykietek semantycznych, który zawiera się w kodzie językowym danego etnosu. Poddawanie się, zwykle nieświadome, lokalnemu paradygmatowi interpretacyjnemu prowadzi ostatecznie do sytuacji, w której procesy umysłowe oddzielnych grup społecznych kierowane są przez nieprzystające względem siebie modele obrazowania rzeczywistości; taki unikalny sposób postrzegania określa się zwykle mianem językowego obrazu świata. W istocie rzecz sprowadza się do tego, że procesy poznawcze człowieka faktycznie podlegają bezpośredniemu wpływowi kategorii lingwistycznych, a w konsekwencji są werbalnie subiektywizowane.

Zgodnie z założeniami teorii B. Whorfa [1956], prekursora koncepcji relatywizmu językowego, język uważa się za niezbywalną płaszczyznę egzystencji istot ludzkich,

czego konsekwencją jest niemożność pozbawienia człowieka zwyczaju językowego przetwarzania otoczenia. Mając na względzie szerokie spektrum języków, rozrzuconych po całej kuli ziemskiej, nie da się nie dojść do wniosku, że w każdym przypadku użytkownicy danego kodu słownego będą dysponowali unikalną paletą potencjalnych spojrzeń na świat. Idąc dalej, w myśl radykalnej wersji hipotezy Sapira-Whorfa, „Światy, w których żyją różne społeczeństwa, są odrębnymi światami, nie zaś tym samym światem, tylko opatrzonym odmiennymi etykietkami” [Sapir 1929, 69].

Pomimo tego, że skrajność owego stwierdzenia była swego czasu ostro krytykowana, to w dalszym ciągu jego przesłanie uzmysławia nam znaczenie oddziaływania konwencji komunikacyjnej, panującej na terenie konkretnego obszaru geograficznego, na to, w jaki sposób jego reprezentant rozumie otaczającą go rzeczywistość. Jeśli się przyjmie, że założenie to jest rzeczywiście zgodne z prawdą, otrzyma się wtedy sposobność zrozumienia natury konfliktów, występujących w momencie, gdy dochodzi do interakcji między reprezentantami odmiennych kultur. Kierując się logicznym tokiem rozumowania, należałoby postulować tezę, zgodnie z którą utopijny koncept rzeczywistości obiektywnej staje się względnie osiągalny tylko w takiej sytuacji, kiedy zsumowałoby się wszystkie istniejące językowe obrazy świata.

W myśl postulatów, proponowanych przez teoretyków tekstu, przestrzeń słowna stanowi byt niezależny i zamknięty, w obrębie którego panują specyficzne dla niego zasady [Dobrzyńska 2001]. Tendencja ta znajduje swoje odzwierciedlenie również w kwestii nazw, w tym tytułów dzieł kinematograficznych, które są niejako bramami do światów denotowanych przez nie. Ukierunkowują one procesy myślowe człowieka w określoną stronę, czyli, innymi słowy, zawężają jego horyzont interpretacyjny [Rzetelska-Feleszko 2001]. Oprócz tego, ich pochodzenie jest zwykle związane z konkretnymi **determinantami**, warunkującymi decyzję konkretnego podmiotu odnośnie wyrażenia jego intencji w taki, a nie inny sposób. W tym miejscu warto się zastanowić, jakie relacje zachodzą między szeroko rozumianym pojęciem tekstu a kulturą, w której został on utworzony, i jakie odciska ona na nim piętno. Jest to bez wątpienia kluczowy aspekt tłumaczenia, które przecież jest nastawione na przeniesienie sensów z jednego obszaru kulturowego na grunt odmienny.

Podkreślmy więc raz jeszcze, że będziemy rozumieć tekst w kategoriach bytu słownego posiadającego swojego nadawcę i skierowanego do pewnych odbiorców. Każdy akt mowny jest z natury rzeczy **głęboko zakorzeniony w swoim kontekście**, którego znajomość warunkuje poprawne jego odczytanie. Wymaga to posiadania określonej wiedzy, w znaczącym stopniu wynikającej z funkcjonowania w obrębie danego kontekstu. Stwierdzenie to nawiązuje w sposób jednoznaczny do **aluzji**, czyli informacji przekazywanej w wypowiedzi w sposób implicytny, co jest w opozycji do eksplicytnego wyrażania myśli [Wojtasiewicz 1992, 76].

Wiedza, na którą zwróciliśmy uwagę, została usystematyzowana przez S. Halla w jego słynnej **triadzie kulturowej**. Wpływ piętna, odciskanego przez tło kulturowe na umyśle człowieka, został trafnie porównany do lodowca, którego 90% znajduje się pod powierzchnią wody – w rezultacie owo tło pozostaje niedostrzegalne [Katan 2009, 78].

Taka sama reguła dotyczy kompetencji światopoglądowej, będącej integralną, a więc i wymaganą, częścią pasma przekazu językowego. Dla uczestników konkretnego aktu mownego, zachodzącego w określonej sytuacji, informacje te są czymś zgoła oczywistym, widzianym jak na dłoni [Sakellariou 2009, 232], przez co prawdopodobieństwo niezrozumienia utrzymuje się na względnie niskim poziomie. Jeśli mówić natomiast o przenoszeniu intencji autora w procesie przekładu z jednego kodu na drugi, to wtedy, już po przeformułowaniu wyrażanych myśli, odbiorcy wtórni borykają się z wiadomością, która w oryginale nie była do nich skierowana. Oprócz tego, realia pewnego regionu kulturowego opisuje się za pomocą środków językowych, które nie były do tego domyślnie przeznaczone [Lewicki 2002].

Zauważmy zatem, iż każdy komunikat jest kodowany przez jego nadawcę zgodnie z konwencjami kodu kulturowego obowiązującymi w jego społeczeństwie. Ów zestaw niepisanych reguł werbalnego obcowania konkretyzuje się w wiadomości w postaci elementów kulturowych, które tworzą w obrębie jej przestrzeni tekstowej **konstelacje kulturowe** [Floros 2007, 10]. Wobec tego, odrębny system kulturowy, istniejący poza tekstem, powiązany jest z samym tekstem, który jest nim niejako przesiąknięty oraz wyraża go poprzez swoją zawartość – dlatego nadajemy mu miano wycinka realiów kulturowych konkretnego obszaru. Aby jednak owe elementy w ogóle zidentyfikować i poprawnie zinterpretować, należy posiadać odpowiednią wiedzę. Jest ona warunkiem koniecznym zaistnienia **presuponowanej recepcji tekstu**. Innymi słowy, oryginalny nadawca wychodzi z założenia, że pewne fakty są już z góry zakodowane w umysłach adresatów wypowiedzi, przez co nie uważa za konieczne jednoznaczne wyrażenie ich. Jednakże, nierzadko może zdarzyć się tak, że autor mylnie oceni potencjalną kompetencję poznawczą odbiorców nawet w sferze przedstawicieli tej samej grupy społecznej, w wyniku czego ostatecznie może dojść do nieporozumienia.

Istotnym z tego punktu widzenia jest fakt, że konstelacje kulturowe występują w komunikacie na dwóch płaszczyznach [Floros 2007, 13]. Z jednej strony są to konstelacje jawne, wyrażone bezpośrednio w tekście, zawierające się zarówno w formie, jak i w treści komunikatu (implicytnie i eksplicytnie). Z drugiej strony natomiast, są to konstelacje ukryte, które odnoszą się do informacji nieumieszczonych w komunikacie, a jedynie do nich nawiązujące. Dzięki temu, w procesie wydzielenia z tekstu podstawowych elementów znaczących można wyłuskać z niego wszystkie fragmenty nawiązujące do kultury. Takie jawne wyeksplikowanie tych detali daje możliwość porównania ich z zawartością kultury docelowej, przez co ustala się poziom ich kompatybilności – stopnia, w jakim się one zazębiają.

Wniosek płynący z dotychczasowych rozważań można zawrzeć w stwierdzeniu, że każdy komunikat składa się z dwóch płaszczyzn: znaków językowych oraz elementów kulturowych. Sęk tkwi w tym, że do poprawnego zrozumienia komunikatu konieczne jest wyłowienie każdej aluzji, ponieważ wpływają one w nie mniejszym stopniu na sens wiadomości, niż same słowa. Oznacza to, że tworzą one drugie dno wypowiedzi, które może zmienić jej znaczenie w diametralny sposób. Zawiera się to w koncepcie filtru kulturowego, który dotyczy faktu przynależności odbiorców inicjalnych i wtórnych do

oddzielnych kultur. Niektóre elementy, specyficzne dla danej rzeczywistości, które będą doskonale znane odbiorcom inicjalnym, będą całkowicie obce dla obiorców tekstu przekładu. Mając na względzie rzeczony dysonanse światopoglądowe, tłumacz musi podjąć określone działania, które sprawią, że kwestie problematyczne staną się zrozumiałe.

Mając ustaloną odpowiednią bazę teoretyczną, przejdziemy do sprawdzenia, w jaki sposób wszystkie opisane wcześniej zjawiska wyrażają się w przekładzie. Jak już wspominaliśmy, kontekst dyskursu jest jednym z kluczowych czynników oddziałujących na podjęcie wyboru o zastosowaniu konkretnych schematów interpretacyjnych. Tekst finalny będzie zatem zawsze dostosowany do jego odbiorców, aczkolwiek sposób, w jaki zostanie to osiągnięte, wynika ze strategii przyjętych przez danego tłumacza i jednostkowych własności docelowego kręgu adresatów. Jednakowoż, w głównej mierze komunikacja opiera się na odnajdywaniu punktów wspólnych, a takie światopoglądowe nakładanie się określane jest w przekładoznawstwie mianem **inwariantu**. Chodzi o to, żeby wykoncytować, które treści konieczne należy przekazać, bowiem identyczne oddanie całokształtu własności wypowiedzi jest rzeczą w zasadzie niemożliwą.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w rezultacie czytelnik przekładu ma do czynienia z interpretacją tekstu oryginalnego, ponieważ tłumacz dokonał wyboru i **z wielu potencjalnych odczytań wybrał to konkretne**, formułując je przy pomocy wybranych środków językowych. Do zobrazowania niniejszych postulatów posłużą nam przykłady tłumaczeń tytułów filmów anglojęzycznych na język polski i rosyjski. Zebrany przez nas materiał zawiera 65 pozycji, lecz ograniczenia objętościowe naszej wypowiedzi pozwoliły skupić uwagę na najbardziej typowych zachowaniach translatorskich.

Przykład 1. Tytuł oryginalny: *The Hangover*. Tłumaczenie polskie: *Kac Vegas*. Tłumaczenie rosyjskie: *Мальчишник*.

Jeśli mówić o pierwszym z przypadków, to wypada zaznaczyć, że akcja pierwszej części tej komediowej trylogii rozgrywa się w mieście Las Vegas. Z tego względu stwierdzamy, że polski tłumacz w zmyślny sposób połączył dosłowne tłumaczenie tytułu angielskiego z nazwą miasta. Oprócz tego, polska wersja jest niezwykle zgrabna pod względem brzmieniowym, gdyż wyraz *kac* i *Las* mają tę samą ilość liter i są zbieżne w kwestii ich wymowy.

W związku z powyższym mamy ostatecznie do czynienia z zachęcającym sloganem, sugerującym alkoholową przygodę w rajach hazardzistów. Jak się jednak okazuje, pomimo tego, że dwie następne części odbywają się już w zupełnie innych zakątkach świata, polscy dystrybutorzy postanowili i tak zachować formę tytułu pierwszej części, dodając jedynie odpowiednie modyfikacje do niego: *Kac Vegas w Bangkoku* i *Kac Vegas 3*. Z jednej strony więc tytuł nie pasuje już do faktycznej zawartości utworu, ale z drugiej strony może oznaczać, że bohaterowie są niejako prześladowani przez wydarzenia z pierwszej części i zmuszeni do zmierzenia się z tym samym szablonem wydarzeń.

Natomiast tłumaczenia rosyjskiego nie można uznać za zbyt trafnie dobrane, gdyż sugeruje ono, że akcja filmu skupiona jest na przebiegu wieczoru kawalerskiego, a w rzeczywistości chodzi tam o doświadczanie skutków tego wydarzenia.

Przykład 2. Tytuł oryginalny: *Friends with Benefits*. Tłumaczenie polskie: *To tylko seks*. Tłumaczenie rosyjskie: *Секс по дружбе*.

Tytuł oryginalny: *No Strings Attached*. Tłumaczenie polskie: *Sex Story*. Tłumaczenie rosyjskie: *Больше чем секс*.

Oba tytuły filmów rozpatrujemy jednocześnie z racji tego, iż poruszają one tę samą tematykę i mają niezwykle zbliżoną linię fabularną. Opowiadana jest w nich historia mężczyzny i kobiety, którzy postanawiają się spotykać tylko i wyłącznie dla seksu, już od samego początku ustalając, że nie będzie ich łączyło nic więcej, ale ostatecznie jednak zakochują się w sobie. W związku z tym należy zaznaczyć, że w obu oryginalnych tytułach seks nie jest eksplicytnie wzmiankowany, a jedynie implicytnie przemycony, jako że wyrażają one niebezpośrednio koncept „związku bez zobowiązań”.

Tym bardziej intrygujące jest to, że w obu wersjach tłumaczenia zarówno jednego, jak i drugiego tytułu pojęcie seksu zostaje jednoznacznie wyeksplikowane, przez co klóci się to z niedosłownością tytułu oryginalnego. Sformułowanie zawarte w polskim tłumaczeniu tytułu pierwszego z filmów bez wątpienia brzmi jak zarzekanie się i nawiązuje do fabuły, ale jeśli chodzi o polskie tłumaczenie drugiego z nich, to jest to tłumaczenie wręcz kuriozalne. Nie można tego zabiegu nawet nazwać przekładem, ponieważ polscy dystrybutorzy po prostu wymyślili nową angielską nazwę filmu. Dopatrujemy się tutaj zawołanego nawiązania do kultowego *Love Story*, które jest niezupełnie trafne. Wygląda na to, że Polacy w przypadku tych filmów chcieli uczynić je bardziej atrakcyjnymi poprzez jednoznaczne odniesienie do stosunków damsko-męskich.

Rosyjskie zabiegi tłumaczeniowe były najprawdopodobniej podyktowane tymi samymi zapatrywaniami. I jeśli wersja *Секс по дружбе* nawiązuje do oryginału napomknięciem o znajomości, to drugi film w środowisku rosyjskim będzie sugerował coś całkowicie przeciwnego, niż ma to miejsce w pierwowzorze.

Przykład 3. Tytuł oryginalny: *Silver Linings Playbook*. Tłumaczenie polskie: *Poradnik pozytywnego myślenia*. Tłumaczenie rosyjskie: *Мой папень – ncux*.

Teraz pochylimy się nad tytułem filmu, w którym zawarty jest angielski idiom *every cloud has a silver lining*. Zadowalającym ekwiwalentem tegoż frazeologizmu będzie w języku polskim wyrażenie mówiące o *promyku nadziei* lub o *światelku w tunelu*. Innymi słowy, chodzi tu o to, że w każdej sytuacji, nawet pozornie bez wyjścia, zawsze istnieje jakiś cień szansy. W tym zawiera się kluczowa różnica, bo powiedzenie angielskie sugeruje samoistne działanie świata zewnętrznego, a polskie tłumaczenie tytułu ewidentnie podkreśla podmiotowość działania. Ogólnie rzecz ujmując, dwójka bohaterów, borykających się z problemami życiowymi, ostatecznie pozbywa się prześladowającego ich nieszczęścia poprzez wspólne ćwiczenia do konkursu tanecznego.

Dlatego też fakt, że istnieje prawdopodobieństwo szczęśliwego zakończenia ma niewiele wspólnego z pozytywnym myśleniem, które to sugeruje nam tłumaczenie polskie. Jest wręcz odwrotnie – bohaterzy postępują i myślą w taki sposób, którego nie można by było nikomu polecić. Podczas prac nad polską wersją tytułu najprawdopodobniej zasugerowano się znaczeniem słowa *playbook* (zbiór strategii) i postanowiono dołożyć do tego w pewnym stopniu równoważny znaczeniowo zwrot, by tytuł uzyskał atrakcyjne dla potencjalnego widza brzmienie.

Dystrybutorzy rosyjscy podeszli do angielskiego dzieła kinematograficznego z zupełnie innej strony, bowiem w swoim wariacie tytułu implikują oni, że główne postacie były ze sobą w związku. W rzeczywistości jednak wcale tak nie było. Stało się to faktem dopiero na samym końcu filmu, po wyżej wspomnianym konkursie i po swego rodzaju przemianie, która w nich zaszła. Natomiast, jeśli stwierdzić, że „парня” określa się tutaj mianem szaleńca, to jest to spostrzeżenie trafne, jednakowoż to samo można by było powiedzieć o jego dziewczynie. Tytuł rosyjski niewątpliwie w znaczącym stopniu odbiega tak znaczeniowo, jak i strukturalnie od oryginału.

Przykład 4. Tytuł oryginalny: *Limitless*. Tłumaczenie polskie: *Jestem Bogiem*. Tłumaczenie rosyjskie: *Области тьмы*.

Tytuł oryginalny: *Lawless*. Tłumaczenie polskie: *Gangster*. Tłumaczenie rosyjskie: *Самый пьяный округ в мире*.

Przechodzimy do kolejnej pary tytułów angielskich, które są ze sobą związane pod względem nie tyle treści, co formy. Chodzi tu mianowicie o sufiks *-less*, który w języku angielskim oznacza fakt bycia czegoś pozbawionym. Jego polskim ekwiwalentem na płaszczyźnie zarówno semantycznej, jak i gramatycznej jest prefiks *bez-*. Dlatego też, kierując się tą zasadą, pierwszy można przetłumaczyć dosłownie jako *bezgraniczny*, a drugi jako *bezprawny*. Jak widać, zarówno polscy, jak i rosyjscy dystrybutorzy nie zdecydowali się jednak na ten krok i zaproponowali swoje niezależne od oryginału wersje.

Polskie tłumaczenie tytułu *Limitless* brzmi nieco górnolotnie. Z drugiej strony, trafnie sugeruje, że główny bohater stał się zadufany w sobie przez to, że mógł przekroczyć granice możliwości ludzkiego umysłu. Trzeba też zauważyć, że tytuł polski może kojarzyć się, szczególnie przedstawicielowi młodszego pokolenia widzów, z filmem *Jesteś Bogiem*. Zachodzi tutaj więc niepożądany zgrzyt skojarzeniowy, gdyż te dwie produkcje poruszają zgoła odrębne tematy. Co się zaś tyczy wersji rosyjskiej, to można odnieść wrażenie, iż nie ma ona powiązania z głównym wątkiem filmu. Mówi ona raczej o tym, co się działo z bohaterem przed tym, jak trafił on na cudowny specyfik, gdyż wówczas faktycznie znajdował się w stanie „umysłowego zaćmienia”.

Jeśli chodzi o drugi film, to opowiada on o trzech braciach zajmujących się nielegalną produkcją i dystrybucją bimbrow. W związku z tym nazwa angielska jest w pełni uzasadniona, jako że protagoniści w rzeczy samej byli wyjęci spod prawa. Tłumaczenie polskie niejako zmienia punkt widzenia widza poprzez zwrócenie uwagi na inny, aczkolwiek nie mniej istotny, wątek filmu – aspiracje najmłodszego z braci do stania się takim, jak dwaj pozostali członkowie grupy. Wyczuć tu można nieco ironiczną intencję, gdyż ostatecznie młodzian ten okazał się być całkowicie innym pod względem usposobienia, pomimo jego szczerych chęci i podejmowanych prób. W przypadku rosyjskiej wersji tytułu stwierdzamy, że jego brzmienie nadaje filmowi odcień komediowy, co w istocie jest dalekie od stanu faktycznego. Jeśli chodzi o wyrażone znaczenie, to jako jedyna z rozpatrywanej tutaj trójki jednoznacznie nawiązuje do problemu alkoholu.

Podsumowując nasze rozważania na temat przekładów tytułów filmów, dostrzegamy, że na ich płaszczyźnie dochodzi do konfrontacji kultur i języków, wyrażającej się w ewidentnym dyskursie językowych punktów widzenia. Tę tezę staraliśmy się potwierdzić w przeprowadzonej analizie, z której wynika, że w obrębie każdego obszaru lingwo-

kulturowego dzieło będzie miało **odmienne konotacje** właśnie ze względu na inaczej brzmiący tytuł. Jest on tutaj nazwą głęboko zakorzenioną w swojej pierwotnej kulturze, w związku z czym przeniesienie wszystkich jego własności na kod docelowy staje się nieosiągalne. Urzeczywistnia się to w wykorzystaniu różnorodnych strategii translator-
skich, niemniej jednak wariant tłumaczeniowy i tak zawsze będzie wtórny w porównaniu z pierwowzorem, dodatkowo jeszcze zawężając wyjściowy horyzont konceptualny. Szczególnie problematycznym jawi się oddanie przesłania zwrotów natury frazeologicznej, co przejawia się w tłumaczeniach nawiązujących w sposób bezpośredni do fabuły utworu, w znaczący sposób zaniedbujących płaszczyznę estetyczną tytułu oryginalnego. Można tę tendencję uzasadnić tym, że zarówno tytuł oryginalny filmu, jak i jego tłumaczenia rzeczywiście stają się **sloganami**, jako że w dobie kapitalizmu muszą zapadać w pamięć potencjalnemu widzowi.

Bibliografia

- Dobrzyńska T., 2001, *Tekst // Współczesny język polski*, red. Bartmiński J., Lublin, 293–314.
- Floros G., 2007, *Cultural Constellations and Translation // Proceedings of the Marie Curie Euroconferences MuTra: LSP Translation Scenarios*, red. Gerzymisch-Arbogast H., Budin G., (http://www.euroconferences.info/proceedings/2007_Floros_Georgios.pdf) [15.12.2014].
- Katan D., 2009, *Translation as intercultural communication // The Routledge Companion to Translation Studies*, red. Munday J., Londyn, 74–92.
- Lewicki R., 2002, *Obcość w przekładzie a obcość w kulturze // Przekład – Język – Kultura*, red. Lewicki R., Lublin, 43–52.
- Rutkiewicz-Hanczewska M., 2006, *Nazwa własna jako tekst*, *Polonica XXVI–XXVII*, 299–317.
- Rzetelska-Feleszko E., 2001, *Nazwy geograficzne // Współczesny język polski*, red. Bartmiński J., Lublin, 411–429.
- Sakellariou P., 2011, *Translation, Interpretation and Intercultural Communication*, *The Journal of Specialised Translation* 15.
- Salehi M., 2012, *Reflections on Culture, Language and Translation*, *Journal of Academic and Applied Studies* 2, 76–85.
- Sapir E., 1929, *The Status of Linguistics as a Science*, *Language* 4.
- Whorf B.L., 1956, *Language, Thought and Reality*, Cambridge.
- Wojtasiewicz O., 1957, *Wstęp do teorii tłumaczenia*, Wrocław.

Summary

TRANSLATION AS INTERCULTURAL COMMUNICATION. SOME REMARKS ON THE BASIS OF TRANSLATIONS OF ENGLISH MOVIE TITLES INTO POLISH AND RUSSIAN

This paper focuses on the analysis of the issue of equivalence in translation of movie titles. Bearing in mind the discrepancies between English, Polish and Russian linguistic and cultural systems, the author tries to find probable reasons for choosing to translate a given title in a particular way. The problem of a dissimilar effect that the translations have on their recipients boils down to the fact that they need both to fit the norms of communication within the given public sphere and to be catchy enough to draw viewers' attention.

Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В ОЦЕНКЕ ЧЕСЛАВА МИЛОША

Key words: Czesław Miłosz, imperialism, “a little homeland”, Central Europe, Dostoyevsky, Pasternak, Solzhenitsyn, Brodsky

Конец 2013 года и очередные месяцы 2014 – это доминирующие в средствах массовой информации комментарии о тревожных происшествиях на Украине и трудно объясняемой роли, которую в этих событиях играть начала Россия. Мир и прежде всего страны Центральной Европы начали беспокоиться появляющимися мнениями о попытке возрождения президентом Владимиром Путиным советской империи. Молниеносно проведенная Россией аннексия Крыма, поддержка сепаратистских настроений части населения в восточных районах Украины, а также проведение широкомасштабных маневров российских войск вблизи границ не только Украины, но и других западных соседствующих стран, привели к тому, что конгресс США и страны Евросоюза приняли законопроект о применении санкций против Российской Федерации. Все эти события обусловили политический кризис, напоминающий времена холодной войны.

Позволим себе не поднимать вопрос политики, понимая, что решения представителей власти, как показала это неоднократно история, не всегда совпадали с мнением обыкновенных людей. Однако в случае разыгрывающихся на наших глазах украинско-русских проблем, невозможно не заметить решительной поддержки общества, которую получает на каждом шагу своей деятельности Путин. СМИ показывают, что не только старшее поколение граждан Российской Федерации разделяет мнение о том, что политика их государства должна принимать направление, напоминающее жесткие решения секретарей Советского Союза. Молодые люди, которые родились уже после распада СССР, часто также выдвигают лозунги, подчеркивающие необходимость доказать всему миру, что их родина не забыла о своей имперской истории. Необходимо, однако, добавить, что слово «имперский» не до конца связано с переосмысленным миропониманием граждан родины Пушкина.

Во времена Советского Союза прилагательные «имперский» или «империалистический» связывались чаще всего либо с историей царской России, конец которой наступил в 1917 году, либо со странами западной Европы и США, с добавлением эпитетов: «капиталистические», «буржуазные» и т.п. Таким образом, разделяя точку зрения о необходимости присоединить к Российской Федерации все те районы бывшего Советского Союза, где большинство населения – русскоязычные граждане, никто не думает в контексте империалистического покорения соседей.

Тяготение к великорусской, все-таки империалистической советской истории, заставляет задуматься над вопросом русского национального менталитета. Ответа не стоит искать, опираясь исключительно на появляющиеся в СМИ сообщения о новейшей русско-украинской истории. Ценнейшим источником является русская литература, которая многократно доказала, что всегда была незаменимым зеркальным отражением русского характера. В этом контексте, мы хотим обратить внимание на лауреата Нобелевской премии, польского поэта Чеслава Милоша, который, по словам Виктории Ушинскене, «книги о России не писал, однако размышления и эссе об истории и культуре этой страны, о пресловутой “русской душе” и русском национальном характере занимают в его творчестве особое место» [Ушинскене 2011, 77]. В одном из интервью Милош сказал: «Хотел бы способствовать добрососедским отношениям между странами в нашей части Европы, а именно между Польшей, Чехией и Словакией, Польшей и Украиной, Польшей и Беларусью, Польшей и Литвой (...). Как я писал в книге *Поиск отчизны* (*Szukanie ojczyzny*, 2001), под старость это стало моей гражданской службой» [Брио online]. Писатель имел в виду также статус стран Центральной Европы в контексте их соседства и доброжелательных взаимоотношений с Россией.

Важно, что Милош, как подчеркивает Рената Горчинская, всегда с любовью относился к «маленьким отчизнам» [Bieńkowska 2007, 182]. Поэт родился в Шетейнях Ковенской губернии, то есть на землях, которые в прошлом входили в состав Великого Княжества Литовского. Его семья принадлежала к польско-литовскому шляхетскому роду, а история послужила причиной того, что с детства он был гражданином Российской империи. Милош вспоминал это так: «Я родился в Российской империи, где детям в школе запрещалось говорить на других языках, кроме русского (...). В детстве русский проникал в меня во время скитаний по России в Первую мировую войну, а затем в Вильнюсе (...). Мне кажется, русификация Вильнюса и окрестностей шла весьма успешно, особенно после 1963 года» [Miłosz 2010, 42]. Как подчеркивает Валентина Брио, «таким же образом впитался и язык, естественно, спонтанно, так что мальчик даже не ощущал своего билингвизма. Эта почти на подсознательном уровне впитанная аура давала позднее, как кажется, глубину и многомерность понимания России» [Брио online].

В 2010 и в 2011 годах в Польше были изданы два сборника текстов Милоша, полностью посвященные его многолетним (если можно так сказать) отношениям с Россией. Их содержание под заглавием *Rosja. Widzenia transoceaniczne* (*Россия: трансокеанические видения*) убеждает читателя в том, что тексты были написаны

специалистом, великолепно знающим русскую проблематику. Автор писал о России не как историк литературы, а как эссеист. Можно согласиться с Малгожатой Шумной, утверждающей, что Милош специально воспользовался литературной формой эссе, так как видел в ней хорошее вместилище идей, к которым неоднократно возвращался. Писатель мог многократно цитировать те же слова, без опасений относительно того, как повлияет это на общий стиль. Самым важным для автора была привилегированная мысль, которую он намеревался донести до читателя [Szumna 2011, 101]. Стараясь увидеть, как автор *России: трансокеанического видения* описал русский национальный характер, попытаемся в этом контексте обратить внимание, прежде всего, на его оценку Бориса Пастернака, Александра Солженицына и его многолетнего друга, Иосифа Бродского. В процессе анализа высказываний польского лауреата Нобелевской премии о выдающихся русских писателях, награжденных за свое творчество также премией Шведской Королевской академии наук, мы воспользуемся постколониальной критикой, являющейся субдисциплиной культурологии. Этот исследовательский метод, получивший свою популярность в восьмидесятые и девяностые годы XX века, показывает, как представления о мире могут конструироваться, опираясь на слова Михала Павла Марковского, с имперской (т.е. доминирующей политически и культурно) точки зрения. Милош с позиции гражданина государства, которое в недалеком прошлом было разделено, определенным способом раскрывал свое отношение к России. Постколониальная критика является полезной в оценке мировоззрения польского поэта в связи с имперской историей родины Достоевского, в контексте колониальных устремлений царской России и с учетом политики Советского Союза по отношению к странам и народам, которые находились под его прямым влиянием.

Милош, который никогда не отказывался от своего польского происхождения, свое миропонимание, касающееся России, формировал в вильнюсской среде. В студенческие годы, в Университете Стефана Батория он вслушивался в лекции профессора Мариана Здеховского, который прививал юному литератору «интерес к русской теософии, в частности – к идее богоискательства. «Впрочем, осознание того, насколько лекции Здеховского повлияли на понимание Милошем различий между православием и католицизмом, по признанию самого поэта, пришло гораздо позже, с обретением собственного опыта» [Ушинскене 2011, 78]. Необходимо учесть, что в академические дискурсы широким руслом вливалась также brutальная политика, которая своими волнами перебрасывала представителей молодой интеллигенции раз на левую, раз на правую стороны идеологического мышления. О студенческих годах Милоша интересно пишет Емиль Пасерски, который подчеркивает в своей статье *Młody Miłosz wobec Rosji*, что тщательный обзор вильнюсского познания России Милошем указывает на глубоко укоренившиеся причины подозрительности, о которой поэт вспоминал много лет спустя. Однако эта подозрительность не связывалась с предубеждением. Опиралась она на основательные знания, передаваемые научными и моральными авторитетами, а также на богатый жизненный опыт его самого и опыт близких ему людей. В будущем, как пишет Пасерски, уже в США,

на университетской кафедре литературы в Беркли, Милош доказал своими выступлениями, что эту подозрительность он старался всегда преодолевать [Pasierski 2011, 200]. В 1959 году в главе *Россия* своей книги *Родная Европа* (2001) (*Rodzinna Europa*) Милош написал: «Полякам, не исключая, известно о русских то, о чем те и сами подозревают, но не хотят себе в этом признаться, - и наоборот. Поэтому неприязнь к полякам у националиста Достоевского – что-то вроде самообороны» [Miłosz 2010, 19]. В чем состоял смысл этой «самообороны», Милош старался описать в своих знаменитых лекциях об авторе *Братьев Карамазовых*. Именно в этой книге Достоевский создал карикатурный портрет поляков и Милош попытался понять, в чем суть ненависти знаменитого русского романиста к западным соседям. На каторге в Омске, где Достоевский встретил польских участников списка князя Сцегенного с 1846 года, по мнению поэта, возникло что-то вроде недоразумения. Достоевский в *Записках из мертвого дома* пишет о польских ссыльных, в общем доброжелательно. Поляки, которые в Омске создали замкнутый круг, отгораживаясь от других ссыльных, что Достоевский оправдывает тяжелым их положением и тоской по родине, совсем не понимали автора *Преступления и наказания*. Они удивлялись, что его революционные взгляды с демократией не имели ничего общего; что он восхищался авторитарной властью и расхваливал территориальную экспансию Русской империи. Как пишет Ушинскене, «сомнительные политические взгляды Достоевского происходили, по мнению Милоша, из его опасений за будущее России, несчастья которой он предчувствовал, в то же время веруя, что именно она должна стать спасительницей мира» [Ушинскене 2011, 81]. Славянофильские убеждения Достоевского утверждали его в том, что, как справедливо замечает Моника Вуйцак, западная наука, технический прогресс, культ денег, принесут миру только апокалипсис. В перспективе приближающегося XX столетия Достоевский увидел угрозу для всего человечества [Wójciak 2005, 33-34]. Пророческие предпосылки Достоевского сопутствовали его выступлению против тех, которым близки были окцидентальные идеи. Достоевский не пощадил ни евреев, ни поляков, ни родную русскую интеллигенцию, обвиняя всех за измену простому народу и православной вере. По словам Милоша, Достоевский был уверен, что ненавистный социализм надвигается на Россию с Запада, является он творением атеизма, который, в свою очередь, был творением католицизма. От социализма, точно так же, как и от Наполеона, мир спасти могла только Россия, принося «на штыках» российского Христа [Miłosz 1983, 7-8]. Христологию Достоевского Милош оправдывает тем, что русский мессианизм был автором *Идиота* выдвинут «на силу» из-за отчаяния [Miłosz 1983, 9]. Похвала признаваемого Достоевским права на свободу совести, не позволяет Милошу оценить русского писателя согласно фрейдовской теории как «великого психолога». Достоевский, сын традиции гностицизма и герменевтики, близок мистицизму Эммануила Сведенборга. Так же, как и шведский ученый-естествоиспытатель, Достоевский, по словам Милоша, отбрасывал мировоззрение, опирающееся на науку. Отвергал гегелевский, а также марксистский исторический детерминизм, подчеркивая, что за каждую жертву истории придется расплатиться [Venclova 2011].

Достоевский со своим творчеством стал великолепным учителем очередных выдающихся представителей русской литературы. Его мировоззрение, в том числе специфический национальный характер, подшитый имперским мышлением, стали частью художественного величия Пастернака, Солженицына и Бродского. Необходимо добавить, как справедливо констатирует Ева Зажицка-Берард, что вера в империю как в «космос» народов, культур, богов, империю как окно на мир, вера в имперскую мощь и силу – все это найдем в русской литературе. Однако веры в государство и власть у упомянутых литераторов XX столетия читатель не найдет: ни один из них не стал послом своей страны, а даже председателем Союза писателей [Zarzycka-Berard 2012, 230]. Понимал это Чеслав Милош, неоднократно подчеркивая, что он сам очень любил русских, любил говорить по-русски, не любя одновременно Российской империи как той старой, так и новой. Этот тезис он объяснял тем, что, по его мнению, лучше уважать жителей России, причем, прежде всего за то, что они много вытерпели, что вынуждены были искать способы, как давать отпор несчастью. Для миллионов людей большевистская революция стала космическим катаклизмом, и только немногочисленное меньшинство высказалось за либо против [Miłosz 2011, 32].

В этом аспекте Милош оценил Бориса Пастернака. Польский лауреат Нобелевской премии обратил внимание на пастернаковского *Доктора Живаго* не в контексте его художественных ценностей, как замечает Марек Корнат, а как на своеобразный союз автора с широкой исторической панорамой, напоминающий в какой-то степени *Войну и мир* Льва Толстого. Милош поставил тезис, что автор романа сосредоточился на специфической русской философии, усматривающей в России «мистическое тело», распятого человека, т. е. символ коллективного терпения [Miłosz 2011, 30]. Обращая внимание на поэзию Пастернака, в том числе на стихотворения, вошедшие в сборник *Новое рождение*, Милош не мог не заметить похвалы жизни периода 1929-32 годов и отсутствия осуждения действительности, в которой происходил геноцид украинского населения, наказанного голодом за попытку неприятия коллективизации. Может быть, Пастернак ни о чем не знал или не хотел знать. Автор *Родимой Европы* оценил русского писателя как юридического, который для того, чтобы смыть привкус гражданской темы в поэзии написал *Доктора Живаго*. Роман был хорошо принят на Западе, но в то же время, строго осужден в России. Пастернак, так же, как Достоевский и Толстой, захотел стать проповедником и совестью народа, и поэтому решил включить в свой роман мотив христианский (т. н. стихотворения Живаго). Однако не сумел сделать это, так как Достоевский, который со всей силой входил с читателем в полемику. Христология Пастернака является покорной, как оценил ее Милош в очерке *Trzeźwe spojrzenie na Pasternaka*, 1970 (*Трезво о Пастернаке*) [Miłosz 2011, 246-262]. Книга *Доктор Живаго* «далека от всякого ревизионизма. Ее послание аккумулирует опыт Пастернака-поэта: если кто-то вступает в полемику с мыслью, воплощенной в государстве, он сам уничтожает себя, становится опустошенным человеком. С новым Цезарем нельзя дискутировать, ибо это означает согласиться на встречу на его территории»

[Miłosz 2011]. Такой способ поведения приводит Милоша к простому выводу: Пастернак был советским писателем, вполне одобряющим сталинские времена.

Совестью современного мира и восстановителем великой русской прозы является Александр Солженицын, хотя, как подчеркивает Януш Добешевски, ему также не чужды авторитарные инклинации [Dobieszewski 2012, 33]. Исследователь ссылается в своей оценке на Милоша, для которого автор *Архипелага Гулага* был примером особенного бунтовщика, разделяющего все ценности, признаваемые большинством жителей России. Этими ценностями являются: патриотизм, солдатское мужество, посвящение для других, дисциплина, вера в исключительную миссию своей родины. В очерке *O Solżenicynie. Pytania, 1973 (О Солженицыне. Вопросы)* [Miłosz 2011, 263-272], Милош замечает, что русский писатель бунтовался, если эти ценности подвергались искажению. Сильная приверженность Солженицына к традиции делает его консерватором, который не мог на Западе найти себе места. Милош называет даже Солженицына «писателем XIX столетия», идущим вслед за славянофильством и духовным учителем Достоевским. Внимания заслуживает факт, что Солженицын не предпринимает попыток оправдать империалистических планов государства. Милош обращает внимание на *Нобелевскую лекцию по литературе, 1972*, в которой Солженицын констатировал: «Писатель – не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он - совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы, - то бурые пятна навек зашлепали лицо писателя» [Солженицын online]. Для Милоша, в контексте затронутой в нашем тексте империалистической проблемы, слова автора *Ракового корпуса* очень важны. Вытекает из них то, что каждый народ, даже самый маленький, перед престолом Бога имеет своего ангела, а писатель берет на себя ответственность именно перед этим ангелом.

В 1972 году в США приехал Иосиф Бродский и с этого момента можно говорить о начавшейся дружбе русского лауреата Нобелевской премии с Чеславом Милошем. Этой дружбе посвящена интересная книга Ирены Грудзинской-Гросс *Milosz i Brodski. Pole magnetyczne, 2007*, в которой особого внимания заслуживает глава *Rosja i Ameryka – dwa imperia* [Grudzińska-Gross 2007, 163-214]. Грудзинская-Гросс описывает в ней сложный мотив, присущий дружбе поэтов, касающийся отношения к России. Стараясь преодолеть извечные национальные конфликты и предрассудки, каждый из поэтов оставался при своем мнении. Ученая подчеркивает, что хорошим примером разногласий между Милошем и Бродским стало обсуждение понятия «Центральная Европа». Этот термин, по словам Сьюзен Сонтаг, создали писатели-эмигранты, в том числе Милош Кундера, Данило Киш, Дьёрдь Конрад и Чеслав Милош. Утверждали они, что Центральная Европа – это, если не территориальная, то духовная общность, включающая «страны, находящиеся в сфере советского влияния, но культурно тяготеющие к Западу. Только политическая тирания, по их мнению, удерживала эти страны внутри тоталитарного “Востока”» [Грудзинская-Гросс online]. С такой точкой зрения не соглашался Бродский, для которого разделение Запады и Востока при учете вмешательства политики в культуру

было непонятным миропониманием. В *Roku myśliwego*, 1990 (*Год охотника*) Милош вспоминал, что в мае 1988 года, на конференции в Лиссабоне, целью которой было сближение эмигрантских и «местных» писателей из Советского Союза и стран центрально-восточной Европы, возникло острое разногласие. Россию представляли Лев Аннинский, Сергей Довлатов, Татьяна Толстая и Иосиф Бродский. «Неприятие русскими Центральной Европы, писал Милош, название которой они услышали впервые, вызвало недоумение. (...) Они не отдают себе отчета в том, насколько имперское или, как выкрикнул из зала Рушди, колониальное у них мышление» [Грудзинская-Гросс online]. На аргументы Бродского, что название взглядов русских писателей «империалистическими» или «колониальными» является пренебрежительным отношением к культурной и политической реальности, Милош ответил, что в русской литературе существует табу, и табу это – империя. Милош добавил, что термин «империя» в поэзию ввел, одним из первых, именно его друг Иосиф Бродский. Автора *Элегии к Джону Донну* выбросили из империи, но в этой империи он ведь воспитался, и поэтому термин «Центральная Европа» он считал антисоветским, а даже антирусским. Как считает Эльжбета Савицкая, такой подход свидетельствовал о его великорусском мышлении [Bieńkowska 2007, 186]. Ответ на вопрос: тосковал ли Бродский по империи, которую вынужден был покинуть, очень трудный. Прощаясь с Россией, он приехал в новую империю – США. Очень быстро поэт пришел к выводу, что две империи лежат на том же самом земном шаре и отличий между ними почти нет. Империя для Бродского – это внеисторический, внеполитический организм, «молох, с которым человек сталкивается лицом к лицу, в одиночку, из всех средств самозащиты обладая лишь независимостью и индивидуализмом. (...) Империя – неустанный распад, в ней видна нагота человека и государства» [Grudzińska-Gross 2007, 213].

Проблема столкновения личности с империей несовместима с высказываниями Бродского на тему независимости Украины. В 1996 году в письме Ежи Гедройцу, затрагивающем вопрос антиукраинских высказываний автора *Колыбельной Трескового мыса*, Милош написал, что у Бродского были «условные рефлексии русского, а никакая сила не заставит русского признать украинцев самостоятельным народом» [Miłosz 2011, 138; Милош online]. Такое мнение Милоша было вызвано также стихотворением Бродского *На независимость Украины*, 1991, в котором поэт с сарказмом провозгласил:

«Скатертью вам, хохлы, и рушникам дорога,
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,
По адресу на три буквы, на стороны все четыре.
Пусть теперь в мазанке хором гансы
С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы» [Miłosz 2011, 417–418].

В этих злобных строках поэт определенную роль отвел полякам. Если присмотреться к эссеистике Милоша на тему взаимоотношений между народами и странами в нашей части Европы (без разницы как мы ее назовем: по Милошу – Центральной Европой или по Бродскому – Восточной) то увидим, что польский

поэт всегда имел в виду «маленькие отчизны», о чем мы уже вспоминали. Помнил он об истории Латвии, Литвы и Эстонии, которые после пакта Риббентроп-Молотов перестали существовать как самостоятельные государства [Miłosz 2010, 54]; описывал неоднозначное поведение Советской Украины, которая после сталинской индустриализации, включавшей коллективизацию, приветствовала вторжение на свою территорию фашистской армии [Miłosz 2010, 63]; не забыл, какие решения были выдвинуты против антирусских тенденций, касающихся этнических меньшинств: вывоз целого народа крымских Татар с Крымского полуострова [Miłosz 2010, 66]. В очерке *O naszej Europie*, 1986 (*О нашей Европе*) Милош подчеркивает, что во времена антиколониализма, когда распались британская и французская империи, независимые государства половины Европы превратились в колонии, контролируемые извне. Фундаментальным фактором являются границы империи и гарнизоны ее армии; в то же время менталитет доминирующего народа воспринимается покоренными народами как чужой, непонятный и варварский [Miłosz 2011, 120]. Попытки ассимилировать и советизировать в 1956 году Венгрию, в 1968 году Чехословакию и в восьмидесятых годах Польшу, как показала история, не осуществились. Но Милош предостерегает, что русские танки находятся в полной боевой готовности, чтобы преподать урок.

Размышления Милоша с новой силой прозвучали в контексте разыгрывающегося на наших глазах столкновения между Украиной и Российской Федерацией. Политическую поддержку, предоставленную Польшей Украине, объяснить можно обращением автором *Нашей Европы* внимания на историю. В 1920 году Юзеф Пилсудский мечтал о свободе и независимости Украины и Белоруссии, что в результате союза с этими странами должно было полностью укрепить независимость Польши. Вытекает из этого известный лозунг *За вашу и нашу свободу*.

Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что Чеслав Милош разделял точку зрения, что настоящий поэт – это поэт, являющийся совестью своего народа, а это вынуждает часто говорить даже очень горькую правду. В своих высказываниях на тему России он подчеркивал, что острые комментарии должны сопутствовать откровению, пониманию и доверию между русскими и поляками. Оценка творчества выдающихся русских писателей, с одной стороны, делала из него строгого критика, а с другой – заинтересованного читателя, для которого ценным было натуральное укоренение в литературе восточных соседей философии, религии и метафизики. В Достоевском, Пастернаке, Солженицыне и Бродском видел он настоящих патриотов, переживающих несчастья своей родины. О дружбе с Иосифом Бродским и Томасом Венцлавой Милош сказал, что делала она больше, чем политика. Сопутствовала она дружбе между нашими народами. Разделял эту точку зрения и Бродский, который подчеркивал, что польские поэты не только повлияли на его творчество. Они дали ему настоящий урок упорства и сопротивления [Grudzińska-Gross 2007, 154].

Библиография

- Брио В., *Между Россией и Европой. Чеслав Милош о Польше, России, Европе, Иерусалим*, <http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?article117&lang=fr> [24.03.2014].
- Грудзинская-Гросс И., *Милош и Бродский. Магнитное поле*, пер. Алексеев М., <http://magazines.russ.ru/inostran/2011/7/ir7.html> [17. 04. 2014].
- Грудзинская-Гросс И., *Россия и Америка – две империи // Грудзинская-Гросс И., Милош и Бродский. Магнитное поле*, пер. Алексеев М., <http://magazines.russ.ru/inostran/2011/7/ir7.html> [17. 04. 2014].
- Милош Ч., *Добро - это мы, зло – это Россия*, <http://inosmi.ru/poland/20120223/186537802.html> [17. 04. 2014].
- Солженицын А., *Нобелевская лекция по литературе*, http://www.lib.ru/%3E%3C/PROZA/SOLZHENICYN/s_nobel.txt [26. 04. 2014].
- Ушинскене В., 2011, *К столетию Чеслава Милоша*, „Slavistica Vilnensis”, № 56 (2), 77.
- Bieńkowska E., 2007, *Głosy o książce Ireny Grudzińskiej-Gross „Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne”*, Zeszyty Literackie, R. 25, nr 2, 2007, 182.
- Dobieszewski J., 2012, *Słodkie prawdy*, „Nowe książki”, nr 5, с. 33.
- Grudzińska-Gross I., 2007, *Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne*, Kraków.
- Miłosz Cz., 1983, *Źródła leżą w Zachodniej Europie*. Czesław Miłosz odpowiada na pytania Zbigniewa Podgórcza, Literatura na świecie, nr 3 (140).
- Miłosz Cz., 2010, *Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny*, Warszawa, пер. Кузнецов Н., <http://www.novpol.ru/index.php?id=1801> [12. 01. 2014].
- Miłosz Cz., 2010, *Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny*, Warszawa, пер. Дубин Б., <http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/ross.html> [14. 02. 2014].
- Miłosz Cz., 2011, *Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom II. Mosty napowietrzne*, Warszawa.
- Pasierski E., 2011, *Młody Miłosz wobec Rosji*, Zeszyty Literackie, R. 29, nr 1, 200.
- Szumna M., 2011, *Godna podziwu monotonia*, Dekada literacka, R. 21, nr 1-2, 101.
- Wójciak M., 2005, *Miłosz, Dostojewski i Rosja*, „Polonistyka”, R. 58, nr 1, 33-34.
- Venclova T., *W poszukiwaniu rajy na ziemi*, Tygodnik Powszechny – Kultura, nr 5 (3212), 2011, <http://tygodnik.onet.pl/kultura/w-poszukiwaniu-raju-na-ziemi/8mpvm> [30. 05. 2014]
- Zarzycka-Berard E., 2012, *Poezja i imperium*, Zeszyty Literackie, R. 30, nr 1, с. 230.

Summary

THE NATIONAL CHARACTER OF RUSSIAN PEOPLE ACCORDING TO CZESŁAW MIŁOSZ

The assessment of our eastern neighbour made by Czesław Miłosz seems to be very interesting especially in the context of current events in Russia and Ukraine as well as mass media comments on the attempts at the recreation of the Russian empire. Our Nobel Prize winner knew Russia and Russian people very well. He was an expert at Russian literature and wrote numerous essays about this country. Miłosz as an advocate of “a little homeland” was concerned about Russian imperial attitudes. He took it into consideration while evaluating the achievements of Russian writers, thinkers and Nobel laureates in literature. It was also the reason for a heated dispute with Joseph Brodsky.

